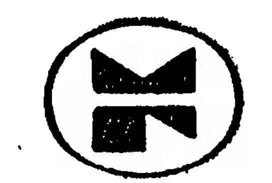
Василий Шукшин

3





Василий Шукшин



Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

Василий Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

РАССКАЗЫ
1972–1974 годов

ПОВЕСТИ

ПУБЛИЦИСТИКА

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

Составитель
Л. ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

Комментарии
Л. АННИНСКОГО, Л. ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

Рисунки на полях рукописей и автографы
В. ШУКШИНА

Ш $\frac{4702010200-313}{078(02)-85}$ Свод: пл. подписных изд. 1985

Рассказы

1972-
1974 гг.



БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

— Куда я переквалифицируюсь-то? — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года. — Легко сказать — переквалифицируйся... Что я, боров, что ли, — с боку на бок переваливаться? — Она поняла это «переквалифицируйся» как шутку, как «перевались на другой бок».

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении, — все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый... К концу-то огляделись — да он умница, этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он — умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое — теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он — редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем

это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты — и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут, — рассуждал Баев. — А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!.. — Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: «сево?» — Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего. В учетном деле и называется — смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь, — на пятистенок едва-едва. Просадит силенки до тридцати годов, пашумит, наорется, а дальше — пшик.

Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в горбольнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало...

— Неверов, Василий Ильич. А тогда что. С молокопоставками не управились — ему хоть это... хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: «Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» — «Ну-ка», — говорит. «У нас,

мол, колхозники-то все вытаскали?» — «Вроде все, — говорит. — А что?» Я говорю: «Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?»

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья. — Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное — на молоканку. Да ведь планы-то какие были... безобразные!

— Ты вот слушай! — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке.

«Все, мол, вытаскали-то? Или нет?» Он вызвал девку. «Принеси, — говорит, — сводки». Посмотрели: почти все, ерунда осталась. «Ну вот, — говорит, — почти все». — «Теперь так, — это я-то ему, — давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?» Он мне: «Ты, — говорит, — мне мозги не... того, говори дело!» Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров. — Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. — Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы — такой-то. — Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. — Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами — не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

— Да господи! — воскликнул Баев. — Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, — как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел...

А я — в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вот когда попал!

— А чего?.. Заболел, што ли?

— Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а... как это выразиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все думал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал — полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну ладно, думаю, желание мое исполняется.

— Дак чего, просто вот полежать, и все? — никак не могла взять в толк Марья.

— Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил — больше интересуются: «Что болит? Где болит?» Сердце, говорю, болит — иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей-то мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: «Здравствуйте, мол, ребята!» И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: «Надо анализы собирать». — «Какие анализы?» — «Калу, — говорят, — девятьсот грамм и поту пузырек». Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

— Ну и как? — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. — Собрал?

— Стали сперва собирать пот, — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. — Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать — туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы: идет такая страшенная война, их, как механизаторов, на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то

нету. Нет, они начинают выдумывать черт-те чего. Думает он, лежит, что у него — жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

— Дак, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли? — Вытерла опять глаза. — Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

— Вот то-то и оно — ничего сделать с собой не можем, — обиделся Баев. — Живем безалаберно — ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем — ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем — опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки. — Баев по-живому обозлился. — Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный — да колом бы, колом бы всех бы подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь? — сказала она. — И рад бы душой — помочь, а как?

— Никак, — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями — одной, другой, — поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие... — вздохнул Баев. — Все зрячие, да не все умные. — Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. — Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это же ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только

в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же ишо приходская школа-то была... Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только ни просил: в ногах у него валялся, ревмя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский. Эх-х!.. — Баев еще помолчал горестно. — Дак я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели.

— Дак а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: «Прости, Колька, учиться тебе препятствовал...» И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачиватся. «Ладно, — говорю, — чего теперь?» Вот как душа затвердела! А потому что — обидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, «прости» говорил.

— Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: «Напиши, ради Христа, прошение», или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду — мне плевое дело прошение-то составить: где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. «На, хлопочи, ехай». Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг — счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю... Эх-х! Ладно. — Баеву правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. — Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот счас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церковноприходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня — на других ревизором! Молчал уж...

— А ведь вот дал же бог такое стремление — учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья. — Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность, — пояснил Баев. — Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Ишо карапуз был, а, бывало, зайду по колена в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось — залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от бога. Это уже не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же, — с уважением опять сказала Марья. — А мне вот — хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

— Я уж, грешным делом, думаю... — Баев даже оглянулся и заговорил тише. — Я уж думаю: не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?

— Господь с тобой! — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. — Тетка Анисья-то! Да ты что, Ферапонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

— Ну!.. — Баев полез опять за пузырьком. — А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тут тада рылись — искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

— Дак, а похож-то?

— Ну!.. Похож! Потрись с малых лет возле человека — будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять... — ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило. — Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался. — Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там... буянить на праздники. Нет! В огороде своем копаться не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...

— Дак оно бы и все-то так посиживали — в тепле да на почете, — вставила Марья.

— Садись! — воскликнул с сердцем Баев. — Чего ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

— Посиживай...

— Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца?

— Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

— В войну-у! — перебил Баев. — С наганами-то бегать да горло драть — это ишо не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже — храбрец из храбрецов считался...

— Ну сравнил!

— Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

— Кыса — разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

— Это... все так, — вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья — спорить, неглубоко берет баба своим рассудком. — Конечно, командир, ордена... трень-брень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так — куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь — наискосок — домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом — день шумливый, суетной, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать — испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

— Ферапонтыч, — выдохнула она с ужасом, — гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок... Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье. — Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека... «Стреляй»! Как?! Ты што?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.

— Царица небесная, матушка,—зашептала Марья,—конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья. — Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья. — А ты что, за четвертинкой в сельмаг?

Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь — ночь.

— Заспал...

Баев пришел наконец в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а, — сказал он. — Пить так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья. — А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью — то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.

— У него голова болит, — с сердцем посочувствовал Баев. — Эх-х... Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. — Мне счас внучка книжку читает: Александра Невский землю русскую защищал.., Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев. — Выдумал... и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

— Это же исторический факт, — сказал Петька. — Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

— Не было.

— Вот как! — Петька качнул больной головой. — Хм...

— С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.

— Если уж счас с вами ничего сделать не могут — со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески, — то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам — поискал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

— Пиши в газету, — посоветовал он. — Опровергай.

И встал и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

— У их, наверно, свадьба, — сказала Марья. — Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?

— Черт их теперь знает. И знать не хочу... Сброд всякый. — Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно — как ватные сделались. Все же испугался он сильно. — Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

— Они, ночи-то, вон какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то — видит, светло, и дунул в сельмаг.

— Это ж... он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась.

— Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завин-

тил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

— Пойду. Спокойно тебе додежурить.

— Будь здоров, Ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу — напекем.

— Напекем, напекем, — сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко — Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара. — Мм?.. — И, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бóга, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое

счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь захапал!»

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была — рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: «Кто на перевязку — заходите». И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Серега от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сереги где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась: «Больно?!»

— Да иди ты!.. — с трудом выговорил Серега. — Делай свое дело. — Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд — что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут — от фонаря работаем, — сказал Серега сердито. — Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что, что?

Ну, и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его — Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался «вареный какой-то», они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был «вареный», ходил, выпятив

грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его — капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира, — посоветовал Серега одному такому умнику. — Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек, — говорила жена Клара. — Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови. — Чего вам еще? Он занят делом.

— Дак а ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужниной, матушка! Покрути-ка его деньденьской (Серега работал трактористом) — руки-то какие надо! Он же не двужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем, — сказала на это Клара. — Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?

— Господи, батюшка!.. — опешила мать. — И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать. — Он и до тебя не шибко пил, чо ты с пьянкой-то? Заладила: «пьянка, пьянка».

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать, — объявила Клара. И даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу — «скажу». Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете? — Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь. — Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как ксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжело хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи, — только и сказала мать. — Вот какие нынче пошли жены-то! Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем! — мило капризничала Клара. — Что за странности какие-то?

— Я прошу, — настаивал Серега. — Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется. — Он показывал под сердце. — Я прошу, Кларнетик. — Он ее называл — Кларнетик. Или — Кларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь, — показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите. — Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал «врача» в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у, — противилась Клара, — врача-то!.. — Ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

«Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату. — Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе».

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная, воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так — о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо, — говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают, — мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточнил: конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди, — возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка. — Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — Это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он. — Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же шарлатанство, — при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только...

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда, — напористо, и сердито, и назидательно заговорила Клара, — что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник. — Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». И это — при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: «Что, съели?! А вякали!..» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потянулись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса. — А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю. — Четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником,

а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю...

Клара не задумывалась над ответами. Вообще казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это, — Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце, — всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну, она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, што... На, закуси лучше.

Серега — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес, — покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: «Вот — живу. Хорошо».

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что

голоса, или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой, — ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара, — да что же ты так торопишься-то? Дай я тебя... — Чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко... — Славненький мой. Чудненький мой... — Чмок-чмок. — Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Серега пропускал его слова, — Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах, ты, шалунишка! Поцелуй меня в носик.

«Так вот это как бывает, — с ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега. — Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя, — все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. «Ну, теперь все равно», — подумал Серега. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый, — вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега. — А я вас счас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались; когда она махнула через прясло, ее рыжая грива вздыбилась над головой... Этакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то! Что же делается?» — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега

бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега. — При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут — добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга, — поинтересовались, — а вот ты же это... любил ее... А если б счас приехала, простил бы?

Серега промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли, — приедет.

— А что? Подумает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортился, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с серодки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово. — Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева — тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: «А зачем пить много разрешал!» Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то.

Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

МНЕНИЕ

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, «шефуни», как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

— Боженька мой! — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер.

Телефон сразу откликнулся:

— Да. Яковлев.

— Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

— Читаю.

— Заходи, общнемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол — небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету, небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились,

как ему хотелось, — небрежно, он делал вид, что не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча — небрежно — пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружились его красивые носки.

— А? — спросил Кондрашин, кивнув на газету. — Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом. — Он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг этаким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще и — совсем уж некстати — слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

— Не говори, — сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

— Черт знает!.. — воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой. — Если нечего сказать, зачем тогда писать?

— Откликнулся. Поставил вопросы...

— Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

— Ну как же? Там даже есть фразы: «Мы должны напрячь все силы...», «Мы обязаны в срок...»

— О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане — конкретнее хоть. А то именно — фразы.

— В ресторане — это само собой, это потом.

— И ведь не стыдно! — изумлялся Кондрашин. — Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

— Черт с ним, чего ты волнуешься-то? — искренне спросил Яковлев. — Дежурная статья...

— Да противно все это.

— Что ты, первый год замужем, что ли?

— Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!.. — И Кондрашин вполне по-русски помянул «мать». — Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

— Что ты сегодня? — изумился теперь Яковлев. — Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

— Не знаю... — Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету. — Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбесила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот, — Кондра-

шин кивнул на газету, — дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

— Да, — только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

— У Семена не был вчера? — спросил Яковлев.

— Нет. Мне опять гостей бог послал...

— Из деревни?

— Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонишь же.

— А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

— Из горкомхоза?

— Да.

— Знаю.

— Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину — и никс проблем.

— Да неудобно... Как-то, знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались. Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От «шефуни».

— Дмитрий Иванович просит вас зайти, — сказал в трубку безучастный девичий голосок.

— У него есть кто-нибудь? — спросил Кондрашин.

— Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас.

— Хорошо, — сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой — привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень нравилось Кондрашину в других, — вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал, — губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул

хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь «шефуни».

— Там еще, — сказала секретарша. — Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой — губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью — и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все «шефы», «шефуни», «надшефы» и даже «подшефы». Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища «шефов», но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Примитивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, «шефуня», был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

— Садитесь, — сказал Дмитрий Иванович. — Читали? — И пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что «шефуня» прямо с этого и начнет — с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал еще, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

— Читал, — сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

— Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили — срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: «Мои демократы мне за это шею намылят». Ни в какую. Давайте, говорите теперь — постфактум. Мне нужно знать мнение работников.

— Ну, это понятно, почему они торопились, — начал

Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза «шефуни». — Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

— То есть? — не понял Дмитрий Иванович.

— По духу своему, по той... как это поточнее — по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна. — Кондрашин так смотрел на грозного «шефуню» — простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: «А что, кому-нибудь неясно?»

— Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами...

— Так она вся — предложение! — перебил начальника Кондрашин. — Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас — одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример — это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же тогда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья. — И Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

— Вот именно, — сказал «шефуня». — Примеров у меня — вон, полный стол. — И он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

— Пусть приходят к нам в отделы — мы их завалим примерами, — еще сказал Кондрашин.

— Как с отчетом-то? — спросил Дмитрий Иванович.

— Да ничего... Все будет в порядке.

— Вы там смотрите, чтоб липы не было, — предупредил Дмитрий Иванович. — Консультируйтесь со мной. А то наворочаете...

— Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? — Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

— Ну-ну, — сказал Дмитрий Иванович. — Хорошо. — И кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

— Все хорошо?

— Да, — ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть — так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось.

Он даже придержал шаг, но тут же подумал: «Но это ж деньги, деньги!..» И сказал: — Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

— Да уж... прямо, — застеснялась Наденька.

«Совсем дура, — решил Кондрашин. — Зеленая».

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перилине ладошкой. И вдруг негромко, зло, даже остервенело, о ком-то сказал:

— Кр-ретины.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова — ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, — не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, — то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы

моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно — от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне, с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то — поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... «Ну-ну-ну — легче, матушка, легче, — с удовлетворением думал молодой Ваганов. — Подожди пока цыпляток считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как...»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки

в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно запыла... В проем осторожно просунулась стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте. — Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь, — велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

— Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? Причем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра коекак побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка, дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то

и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же? — удивился Попов. — Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила! — воскликнул доверчиво Попов. — Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело! — опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный мужской. — Тебя, говорит, посажу, а сама — назло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно «назло» и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну, не знаю... — Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду. — Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну, слушайте! — с раздражением сказал Ваганов. — Вы уж прямо как... паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу, — твердо сказал Попов. — Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б был маленько поласковей, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские кспертизы обои прошли... Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?
— Чтоб они закрыли дело.
— А характеристика-то зачем?
— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого!
— Здорово избил-то?
— Да где здорово! Шуму больше, крику...
— А без битья уж не мог?
Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.
— Не сдюжил...
— Опять не сдюжил! Ах ты, господи, — какие ведь мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов, даже при своем небольшом еще опыте, научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно. — Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?
— Да, чего уж, — согласился Попов.
Некоторое время они молчали.
«Ну что вот делать? — думал Ваганов. — Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а... Эхма!»
— Как вы поженились-то?
— Как?.. Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну — сошлись. Я ее и раньше знал.
— Вы здешний?
— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.
— А жена где сейчас?
Попов вопросительно посмотрел на следователя.
— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.
— На работе сейчас?
— На работе.
— Тебя кто научил с характеристикой-то?
— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, на-

встречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать? — Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило. — Фу ты, черт! — с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал: «Вечером напишу».

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося: «Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил...»

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да... — Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше. — Безобразник. Что он, не знает, что сейчас за это — строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом, такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?..

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут — к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайла-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работат.

— Он что, одинокий?

— Да они так: переехать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеват-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь, — жадничат, в основном.

— Так, так... — Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести. — Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу». — В «характеристике» не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. — Было такое?

— Это он так написал?! — громко возмутилась Попова. — Нахалюга! Надо же!.. — Женщина даже посмеялась. — Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

«Да, уверенная бабочка, — со злостью уже думал Ваганов. — Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделашь. Пусть посидит.

— А не жалко? — невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле? — спросила она.

— Да я так, — уклонился Ваганов. — Идите. — Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась, озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела, — сказала она. — Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите, — еще раз сказал Ваганов. И положил руку на «бумаги». — Во всем... — он подчеркнул это «во всем», — во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да, — вспомнил еще следователь, — а кто такой... — он сделал вид, что поискал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было, — кто такой Николай Королев?

— Господи! — воскликнула женщина у двери. — Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то?! — Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну, хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где — живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь

вдруг ясно и просто подумалось: «А может она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-э, — с досадой подумал про себя Ваганов, — повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решить теперь такое — т а к о е! — в своей не простой, не маленькой, как хотелось и думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... «Вечером напишу, — решил Ваганов. — Дурацкое дело — наверно по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол — писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, — вот что спутало мысли и чувства. «Ну, хорошо, — вконец обозлился на себя Ваганов, — если уж ты трус, то так и скажи себе — трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя — такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому

неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!» — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский!»

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там, тоже, наверно, врожденная, трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров... Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уж и так-то во всем копаться... это же тоже — пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

...Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, — все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю

(как на допросе!): что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос: что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу!.. Слизняк». Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь — он готов был и на это пойти, — никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? «А что, Майя? — съязвил он еще раз со злостью. — Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя».

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у...» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен он сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее — накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, — думал он про себя с искренней злостью. — Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи! — Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Попов.

— Не говорил с женой?

— Мы с ей неделю уж не разговариваем.

— Не заметил в ней никаких перемен?

— Заметил. — Попов усмехнулся. — Вчера вечером до-олго на меня смотрела, потом говорит: «Был у следователя?» — «Был, — говорю. — А что, тебе одной только бегать туда?»

— А она что?

— Ничего больше. Молчит. И я молчу.

— Возьмут они свои заявления назад, — сказал Ваганов. — Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.

— Хорошо бы, — просто сказал Попов. — Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...

— Павел, — в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило, — хочу с тобой посоветоваться... — Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно, и вроде не смешон. Что уж тут смешного! — Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять... — Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение — оттого, что бестолково начал. — Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

— Чего так? — спросил Попов.

— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы — побоку, а только ублажай ее.

— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов. — Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость — тоже...

— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это я все знаю.

— А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов, — понял наконец Попов. — С той стороны, с женской, — оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос. — Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом. — Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов. — Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она — друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной, — он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так, — проговорил Ваганов. — Ну, нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, — ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да, — согласился Ваганов. — Это верно. Ну хорошо. — Он встал. Попов тоже встал. — До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил Попов. — Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — нашумел... Хожу, кляузами занимаюсь — рази ж не совестно?

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету — все мое ношу собой. Встречу. Георгий».

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке...» Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто, во весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славнецкий — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцвело, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — бу-

дущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день — впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: «Приезжай».

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали? — спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл, — соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился! — подумал о себе, как о ком-то — отчужденно. — Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

НАКАЗ

Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли? Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали.

Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его Максим Думнов, пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка «на взводе», заявился шумно.

— Обмыва-ать! — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу. — А-а?.. Как мы тебя — на руках подсадили! Сиди! Сиди крепко!.. — Он весело смотрел на племянника, гордый за него. И за себя почему-то. — Сам сиди крепко и других — вот так вот держи! — Максим сжал кулак, показал, как надо держать других. — Понял?

Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай — обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную, Григорий не сразу и согласился на нее... Но это не суть важно, важно,

что тебя — выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие слова... Теперь изволь набраться терпения, благодарности — послушай, как надо жить и как руководить коллективом.

Максим сразу с этого и начал — с коллектива.

— Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, кто вам? Вот так: сядь, мол, и сиди. И слушай, что я тебе говорить буду.

Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть — покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя. Но он почему-то вдруг возмутился.

— Почему крыть-то? — спросил он, не скрывая раздражения. — Что за чертова какая-то формула: «крой всех!..» И ведь какая живучая! Крой — и все. Хоть плачь, но крой. Почему крыть-то?!

— А как же? — искренне не понял Максим. — Ты что? Как же ты руководить-то собрался?

— Головой! — Григорий больше и больше раздражался, тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышленыша.

— Головой я руководить собрался, головой.

— Ну-у!.. Головой-то многие собирались, только не вышло.

— Значит, головы не хватало.

— Хватало! Не ты один такой умница, были и другие.

— Ну? И что?

— Ничего. Ничего не вышло, и все.

— Почему же?

— Потому что к голове... твердость нужна, характер.

— Да мало у нас их было, твердых-то?! От кого мы стонали-то, не от твердых?

— Ладно, — согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто. — Ладно. Вот, допустим, ты ему сказал: «Сделай то-то и то-то». А он тебе на это: «Не хочу». Все. Что ты ему на это?

— Надо вести дело так, чтоб ему... не знаю — стыдно, что ли, стало.

Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот.

— Так... Дальше?

— Не стыдно, нет, — сказал Григорий, поняв, что это, верно что, не аргумент. — Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически.

— Так, так, — покивал Максим. И, не задумываясь,

словно он держал этот пример наготове, рассказал: — Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... «Не хочу!» И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? Нигде. А он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой: как нам теперь быть?

— Ну, и как вы?

— Пасем пока по очереди... Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но так ведь дальше-то тоже нельзя.

— А где этот Климка?

— Гуляет, где! Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его, по-хорошему-то, гнать бы надо в три шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид.

Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней.

— Погоди. Ну, а как бы ты поступил, будь ты хозяин... то есть не хозяин, а...

— Понимаю, понимаю. Как? Пришел бы к нему домой, к подлецу... От него дома-то все плачут! «Вот что, милый друг, двадцать четыре часа тебе: или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни». Все.

— Как же ты так? Сам же говоришь, он инвалид...

— Нам известно, как он инвалидом сделался: по своей халатности...

— А как?

— На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Нашел бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали бы к нему на коляске: «Садись, поедем протокол составлять об твоем выселении». Я же знаю Климку: сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси — бесполезно. Экономику эту он тоже... у него своя экономика: он рублей триста домой отдал, семье, а двести с лишним себе оставил и прикинул, на сколько ему хватит. Недели на две хватит: он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана шиш кого угостит.

Григорий задумался. Ведь и правда, завтра же перед ним станет вопрос: как быть со стадом колхозников? А как быть?

— Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать?

— А кого?!— воскликнул Максим.— Мужики помоложе да покрепче, они все у дела — все почти механизаторы, совсем молодой — тот посовестится пастухом, бабу какую-нибудь?.. У каждой семья, тоже не может. Вот и беда-то — некому больше. Я бы пошел, но староват уже гоняться-то там за имя́ по косогорам. Вот видишь, я тебе один маленький пример привел, и ты уже задумался. — Максим весело посмотрел на племяша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу. — Не журись! Однако прислушайся к моему совету: будь покруче с людями. Люди, они ведь... Эх-х! Давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло: целую речь тут тебе закатил.

Григорий хотел позвать жену из горницы, чтоб она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил:

— Не надо, пусть она там ребятишек укладывает. Мы сами тут чего-нибудь...

Григорий достал что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.

— Я ведь по глазам вижу, Гриша: сперва окрысился на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну и посоветовать... Я как-никак жизнь доживаю, всякого повидал. — Максим склонил массивную седую голову, помолчал... И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его, правда, повидал всякого: две войны отломал, на последней был ранен, попал в плен. Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен... А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их. И вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес. — Да, — сказал Максим, — вот такие наши дела. Давай-ка...

Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, он вернулся к разговору:

— Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии... Само собой, гоняли нас на работу, а работать приходилось с ихными же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут... хошь

не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он ни-когда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет: с такого-то часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведет аккуратно — честь по чести, — они работать умеют, и свою выгоду... экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют, такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условиев особых нету ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено... Другой только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: «Генк, да неужель ты это работой щитаешь?» — «А что же это такое?» — «Это, мол, у нас раньше называлось: смолить да к стенке становить». Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет: и эта-то, такая-то работа, — через день! Во как!

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего. Ну, ладно, другой бы, раз такое дело, по дому бы чего-то делал. Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропадает — рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит... Даже завидки берут, ей-богу. Теперь — другой край: ты Митьшу-то Стебунова знаешь ведь? — Максим сам вдруг подивился совпадению: — Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Хэх... Вот тебе и пример к моим словам: один всю жизнь груши околачивает, другой... на другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни — ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И думаешь, из-за жадности? Нет — такой характер. Я его спрашивал: «Чего уж так хлещесся-то, Митьша?» — «А, — говорит, —

больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя». Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...

— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?

— Так и говорит: «Если уж, говорит, пить так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие... заковыристые. — Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку... Качнул головой: — Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника!.. Она доведет нас, что мы — или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать лет в сорок. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные! Стыд и срам глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая. «Передай привет, три года не вижу». Ведь он тебе счас километра пешком не пройдет — на машине, на мотоцикле. А как бывало... Мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота — с девками поиграть. А покосы-то вон где были! — за вторым перешейком, добрых пятнадцать верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем — и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься — и опять на покос. Придешь, бывало, а там уж поднялись — косить налаживаются. И опять на полдня...

— Когда же вы спали-то?

— А днем. В пекло-то в самое не косили же. Залезешь в шалаш — и умер. Насилу добудются потом. Помню, Ванька... Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им не делали!.. Штаны сняли, по поляне катали — спит, и все. Тятя разозлился: «Счас, говорит, бич возьму да бичом скорей добужусь!» Я уж щекотать его начал, ну, кое-как продрал глаза. А то никак! — Максим посмеялся, покачал головой, задумался: вспомнил то далекое-далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался: он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран, Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали.

— Да, — сказал Григорий. — Но с техникой — это ты зря. Что же, весь свет будет на машинах, а мы... в ночь по тридцать верст пешака давать? Тут ты тоже... в крайность ударился. Но про середку — это, пожалуй, не лишено смысла. А?

— Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хошь?

— Нет, нет! Давай историю.

Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.

— Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, эту историю держал в голове, расскажу, думаю, Гришке — сгодится. Это даже не история, а так — из детства тоже из нашего. Но она тебе может сгодиться — она тоже... как сказать, про руководителя: каким надо быть руководителем-то. — Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо... Григорию показалось — насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководители. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. «Сколько же, оказывается, передумала эта голова! — изумлялся он, взглядывая на Максима. — Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал, с чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал».

— Было нам... лет по пятнадцать, может, поменьше, — стал рассказывать Максим. — Деревня наша, не деревня — село, в старину было большое, края были: Мордва, Низовка, Дикари, Баклань...

— Это я еще помню, — подсказал Григорий.

— А, ну да, — согласился Максим. — Я все забываю, что тебе уж тоже за тридцать, должен помнить. Ну, вот. И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при Советской власти это утихать стало. А тогда просто... это... страшное дело что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с Мордвой, и мордовские нас били: больше их было, что ли, потом они все какие-то... черт их знает — какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали... У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит — до того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра перещитают. И вот приехал к нам один парнишечка, наш годок, а рости-

ком куда меньше, замухрышка, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно! — Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтоб племяш слушал внимательно. — Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка... Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но — русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой — шшербатенький, невысокого росточка, как я сказал, но — подсадистый, рука такая... вроде не страшная, а махнет — с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз споминал этого Ваньку, перед глазами он у меня стоял: душа была стойкая. Ах, стойкая была душа! Поселились они в нашем краю, в Низовке, ну, мордовские его один раз где-то прищучили: побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уже подружился. И один раз и говорит: «Чо эт вы от мордовских-то бегаете?» — «Да оно ведь как, мол? — привыкли и бегаем». — Максим без горечи негромко посмеялся. — Счас смешно... Да. Ну, давай он нам беса подпускать: разжигать начал. Да ведь говорить умел, окаянный! Разжег! Оно, конечно, пятнадцатилетних раззудить на драку — это, может, и нехитрое дело, но... все же. Тут мно-ого разных тонкостей! Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать, потом — это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли! Сошлись мы с имя на острове... спроть фермы островок был, Облепишный звали. Счас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать — перебродить-то. Перебрели мы туда... Договорились, что ничего в руках не будет: ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, и полосовались же! Аж спомнить — и то весело. Аж счас руками задвигал, ейбогу! — Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко кхэкнул — помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом: — Как мы ни пластались, а опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку... Те за нами. И тут, слышим, наш шшербатенький Ванька ка-ак заорет: «Стой, в господа, в душу!.. Куда?!» Глядим, кинулся один на мордовских... Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал.

Ведь не то что напролом человек пер, как пьяные, бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздьто заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прямо подставил одного, другого вокруг себя — с боков, со спины — не допускайте, говорит, чтоб сшибли, а то развалимся. Как, скажи, он училище какое кончал по этому делу! Ну, полоскаемся... А в протоке уж дело-то происходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался — глядят. А нам уж ни до чего нет дела — целое сражение идет. С нас и вода и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас — откуда сила взялась! Прямо насмерть схватились! Не знаю, чем бы это дело закончилось, может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька шшербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает: «Ах, ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова». Опять достанет: «Ах, ты, милашечка ты мой, а хлебни-ка водицы!» Нам и смех, и силы вроде прибавляет. Загнали мы их опять на остров... И все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука, Григорий! Один завелся — и готово дело, все перестроил. Вот это был — руководитель. Врожденный.

— Мда, — молвил Григорий; история эта не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной. Но он не стал огорчать дядю. — Интересно.

Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал.

— Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой... Но, знаешь, я и на войне заметил: вот такие вот, как тот Ванька, мно-ого нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Перед теми, кто только на словах-то, перед имя же не совестно, а перед таким вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, делом доказывай... Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст. Конечно, история... не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители, дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? — Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся. — Ничего, поймешь что к чему. Пойме́шь.

— Что потом с этим Ванькой стало? — спросил Григорий.

— А не знаю. Уехали они опять куда-то. Вскорости и уехали. Да разве дело в том Ваньке! Их таких много. Хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово. Прямо обожал его. А он еще и... это... не нахальный был. Жили они бедновато, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю... чего-то мотались по свету... Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет. «Брось, — говорит, — зачем?» Застесняется. Я люблю таких... Уехали потом куда-то. А я вот его всю жизнь помню, вот же как.

— История твоя не лишена, конечно, смысла, — сказал Григорий.

— Не лишена, нет. — Максим кивнул головой согласно. Но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, както даже отрезвел и погрустнел. — Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать: не трусь. Как увидют, что не трусишь, так станут люди поддерживать...

— Ну, одной смелости тут тоже, наверно, мало.

— Мало. — Максим опять кивнул. Подумал. — Но смелый хоть не врет. — Максим снова посмотрел в глаза Григорию. — Не додумается врать, смелый-то. Чуешь? А голова... что же, какая есть. Какую бог дал. Голова у тебя неплохая. Но... бывает... — Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился. — Заговорился я чего-то. Ладно. Лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша. Спите. — Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы... И спросил шепотом: — Как жена-то?

— Что? — не понял Григорий.

— Не ворчит, что в деревню увез из города?

Григорий улыбнулся... Не сразу сказал, и сказал тоже тихо:

— Всякое бывает.

Это Максиму понравилось: ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать нетяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорей уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени. И там только ступил всей ногой... И на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе:

— Экая темень-то! В глаз коли...

МЕДИК ВОЛОДЯ

Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы — на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов сто водки — такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл, как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его... Стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирал наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля... Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его:

— Володя?.. Ой, здравствуй!

— Хелло! — воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь — и это «хелло», и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые: «Каким ветром? Откуда? Куда?»

— Как?.. На каникулы.

— А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? — Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. — До сентября? Или до октября?

Девушка — это было видно по ее глазам — отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте: «Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты», а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

— Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не

осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений.

— Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

— А мы тоже!.. Мы говорим: «А можно, мы дома отработаем?»

— Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку, и все. — Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же — совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли... чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

— А не опасно со справкой-то? — спросила девушка. — Могут же... это...

— Я умоляю! Отработал — и все. Возил навоз на поля. — Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

— Вас куда в прошлом году возили?

— В Заозерье. Но мы там пожили неплохо... — Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую справку он не собирался доставать дома.

— А мы ездили в Красногорский район, — тоже не без удовольствия вспомнила девушка. — Тоже неплохо было. Хохми-или-и!..

— А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

— Да чем? За ягодами ходим... — Девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально — за ягодами. — Вообще, скучно.

— Скооперируемся? — навернул Володя. — А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего... четырнадцать километров, да? Сядем на вéлики...

— Давайте, — легко согласилась девушка. — У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но... Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то — раз! — и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

— Это вполне понятно, — сказал Володя. — Этого надо было ожидать. Это — один к одному.

— Но почему? — очень притворно удивилась девушка.

— Разошлись дороги... И разошлись, как в море корабли. — Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу. — Это так же естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце. — Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

— Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

— Почему? Нет, отсев, естественно, происходит... — Володе нравилось слово «естественно». — Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» И повалилась...

— В обморок?

— Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

— Обидно, наверно, да?

— А у вас... стабильное положение?

— У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

— Кинотеатр. В прошлом году. Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов не понял — бубнеж какой-то: бу-бу-бу... Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

— Да нет, тоже... Я везу кое-что с собой.

— Ой, что, а?! — выдал Володя показушный великий голод.

— «Путешествия Христофора Колумба». Это, знаете, дневники, письма, документы... Я же — географичка.

— Так. Еще?

— Еще кое-что... А у вас есть что-нибудь?

— У меня кое-что специальное тоже... «Записки врача» этого... Как его, врач тоже был?..

— Чехов?

— Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения... Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?

— Нет. А вы любите читать про медиков?

— Да нет... Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

— Нет, нету.

— Ну, так как мы будем бороться со скукой? — весе-

ло спросил Володя. — Как вы себе это представляете? — Ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэдбери...

— Общими усилиями как-нибудь... — тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала...

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой... Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел — так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне.

— Вплоть до того, что... — хохотал Володя, — вплоть до того, что — поставим... — Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. — Поставим шалаш и...

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

— Как Робинзоны... на этом... да?

Володя только кивнул головой — не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

— Ребята, у меня ребенок спит — потише бы...

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

— Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! — И голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

— Не спится юному ковбою, — громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: — Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору — прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней; чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось».

Девушка ушла аж в тамбур — от греха подальше.

— Ой, правда, мы расшумелись, — сказала она, поправляя волосы. — Люди спят уже...

Володя закурил... Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она — совсем рядом — вскинула вверх и назад оголенные свои руки... Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его... И молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку... Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела — вопросительно, чуть удивленно, — он понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступать было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал — приглашал и не приглашал: можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама... Жуткий наступил момент, наверно, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся...

— Что ты? — спросила девушка серьезно.

— Начнем? — сказал Володя.

Девушка убрала его руку.

— Что начнем? Ты что?

— О боже мой! — воскликнул Володя. — Чего ж ты уж так испугалась-то?.. Пичужка. — И он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: — Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? — И ринулся в наружную дверь тамбура — вон отсюда.

— Завтра поедем вместе? — спросила вдогонку девушка.

— Да! Обязательно! — откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось.

Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать... Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку — Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне... Он за-

ворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли — сам мелко напаскудил. Эта Лариса теперь расскажет всем... Они любят рассказывать — смеются всегда! — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам. Приврет еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке... пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул — страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции — дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно... Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался... И вдруг вспомнил вчерашнее... И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся... И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно только. Ну, может, пройдет как-нибудь. Володя выглянул в окно на привокзальную площадь... И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов — высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь — домой-то охота. Но ведь какая настырная — стоит, ждет!

КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки... И вот — заболела. Друзья Федо-

ра Кузьмича — у него были влиятельные друзья, — видя его горе, нагнали к нему домой докторов... Но там и один участковый все понимал: воспаление легких, лечение одно — уколы. И такую махонькую — кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры, на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице, и там пережидал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала — слабенькая, горячая... Смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжко обидел жену, мать девочки: упрекнул, что та — недосмотрела за дитем. «Тряпками больше занята, а не ребенком, — сказал он ей на кухне, как камни-валуны на стол бросил. — Все шкафы свои набивают, торопятся». Жена — в слезы... И теперь, если и не ругались, — нелегко было бы теперь ругаться, — то и помощи и утешения не искали друг у друга, страдали каждый в одиночку.

Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорей поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если она, пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорей выздороветь.

Федор Кузьмич присел перед кроваткой дочери.

— Доченька, чего бы ты вот так хотела бы?.. Ну-ка, подумай. Я все-все сделаю. Сам не смогу, попрошу волшебника, у меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка? С огоньками!..

Девочкина ручка шевельнулась на одеяле, она повернула ее ладошкой кверху, горсткой, — так она делала, когда справедливо возражала.

— Еечка зе зимой бывает-то.

— Да, да, — поспешно закивал седеющей головой папа. — Я забыл. А хошь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим? Много-много!..

— Мне незя много, — сказала умная Верочка. — Папа, — вдруг даже приподнялась она на подушке, — а дядя Игой казочку ясказывай — п'о зайку... Ох, хоесенькая!..

— Так, так, — радостно всполошился Федор Кузьмич. — Дядя Егор тебе сказочку рассказывал? Про зайку?

Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели.

— П'о зайку...

— Тебе охота бы послушать?

— Как он етай на саиках...

— Как он летал на шариках? На каких шариках?

— Ну, на саиках!.. Дядя Игой пиедет?

— Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе... Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним: на каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался?

— Да не-ет! — У Верочки в глазах показались слезы. — Вот какой-то... Ветей подуй, он высоко-высоко поетей! Пусть дядя Игой пиедет.

— Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать... На поезде: ту-ту-у! Или на самолете лететь...

— А ты яскажи?

— Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел?

Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинкой ясной перекатилась через переносье и упала на подушку.

— Доча, — взмолился отец. — Я счас узнаю, не плачь. Счас... мама, наверно, помнит, как он летал на шариках. Счас, доченька... Ладно? Счас я тебе расскажу.

Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась.

— Что?

— Да нет, ничего... Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?

— На шариках? — не поняла жена. — Какой зайка?

Федор Кузьмич опять рассердился.

— Француз-зайка, с рогами!.. Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?

Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы.

— Ладно, ладно...

— Прямо, как преступница, сижу здесь... — выговаривала жена. — Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь?

— Ладно, ладно, — говорил Федор. — Ну, прости, не со зла... Голову потерял — ничего не могу придумать.

— Какую сказку-то?

— Про зайку какого-то... Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал... Э-э! — вдруг спохватился Федор. — А я счас позвоню Егору! Пойду и позвоню с почты.

— Да зачем с почты? Из дома можно.

— Да из дома-то... пока их допросишься из дома-то... Счас я сбегаю.

И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем другая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навыдумывает всяких... Сегодня четверг, завтра крайний день, отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолете... Еще так думал Федор: это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам «дядя Игой» — она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала.

Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома — пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот — заболела дочка... и так далее.

— Егор! — кричал в трубку Федор. — Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке! Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику!..

— Да нет! — тоже кричал оттуда Егор. — Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались...

— Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя... У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча...

— Да я-то рад душой... Слышишь меня?

— Ну, ну.

— Я-то рад бы душой, но... — Егор что-то замялся там, замолчал.

— Егор! Егор! — кричал Федор.

— Погоди, — откликнулся Егор, — решаем тут с женой...

«Э-э! — догадался Федор. — Жена там поперек стала».

— Егор! А Егор! — дозвался он. — Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич! — донесся далекий вежливый голосок. — Что, у вас доченька заболела?

— Заболела. Валентина... — Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал, и забыл. И переладился на ходу: — Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет — на два дня! Всего на два дня! Валенька, я в долгу не останусь, я... — Федор сгоряча не мог сразу придумать, что бы такое посулить. — Я тоже когда-нибудь выручу!

— Да нет, я ничего... Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра — хотели там...

— Валя, прошу тебя, милая! Долго счас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валь!..

— Да, Федор. Я это, — отозвался Егор. — Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня.

— Ох, Егор... — Федор помолчал. — Ну, спасибо. Жду.

А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой.

— Господи! — сказала жена Валя. — Все бросай и вылетай девочке сказку рассказывай.

— Ну болеет ребенок...

— А то дети не болеют! Как это — чтобы ребенок вырос и не болел.

Егору и самому в диковинку было — лететь чуть не за полторы тысячи километров... рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос, у него слезы слышались в голосе — нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке.

— Первый раз собрались съездить... — капала жена Валя. — Большаковы вон ездили, говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней...

— Ну так бы и сказала ему! — вскипел Егор. — Чего ты ему так не сказала?! Чего ты... Уже ж посулился, нет, давай душу теперь травить!

— Ладно, не ори — душу ему растравили. Что я, голоса лишенная, — свое мнение высказать?

— Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему.. А то... туда же, посочувствовала: «У вас доченька заболела?» — Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверно, и сказки-то мастер был рассказывать: передразнивал всех зверей,

злых и добрых, а особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу.

— Ехай, ехай! — махнула рукой жена Валя. — Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!..

— А случалось, что эти господа и тебе помогали! — Егор с укоризной посмотрел на жену. — Забыла?

Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. Нет, не забыла! Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь! Но и расстроилась она очень, и не показать этого она тоже не могла.

Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были — дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевки в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе... Умел только работать. Но ведь... что же? Кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор также давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно: вскипит, посверкает глазом да досыта паматерится в душе, и все. Так-то лучше — не бунтовать вовсе, не протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких.

Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода сорок рублей и ушел. «Хорошо, что не надо чемодан брать... Гостинцев бы захватить? Но... ладно: раз уж так все — с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал», — думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва — впопыхах — не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка, а теперь, когда поехал, понял до конца: глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха (Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили), и тот беспрекословно отпустил его: знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше.

В аэропорту, в кассе, Егору сказали, что билетов в Н-ск нету.

— Ну, может, один как-нибудь... — робко попросил он.

— Что значит «один как-нибудь»? Нет билетов, — повторили в окошечке строго.

Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом... И еще раз сунулся к ней:

— Мне очень нужно, девушка... А? Там это... ребенок...

— Гражданин, я же вам сказала: нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь...

— Да понятно-то понятно... — Егору захотелось передразнить женщину в окошечке, он бы сумел это сделать... «Э-э! — вдруг вспомнил он. — А этот-то, кому стеллажи-то делал... он же говорил: что будет нужно, обращайтесь ко мне». К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке... Нашел!

Долго, подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки...

— Куда билет-то нужен? — вышел из терпения могучий товарищ.

— В Н-ск.

— Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?

— Один. На сегодня. Я уже здесь... понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю: да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого...

— Перезвоните минут через десять, — опять прервал уверенный басок.

Егор понял, что улетит сегодня.

Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил.

— Подойдите к кассе номер три и возьмите билет, — сказал басок.

— Вот спасибо-то! — кинулся Егор с благодарностями. — А то я уже стал сомневаться... А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, он поэтому так переживает. Я ее тоже люблю, девочку-то, такая смышленая, все сказками интересуется...

— Ну, до свиданья, — сказали на том конце. — Счастливо долететь.

— До свиданья, — сказал Егор.

Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине, в окошечке... Сказал бы: «Значит, все же нашелся один билет? Эх, вы... Как же так получается, уважаемая? А сидишь — строгую из себя изображаешь, справедливую. «Вам же сказали: нет билетов!» А один звонок — и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить: «Для вас —

нету». А вид-то, вид-то — не подступись! А такой же — нуль, только в пилотке». Ну, может, не так бы едко сказал... А может, и не сказал бы вовсе: правда что — нуль, чего и говорить.

...В Н-ск Егор прибыл под утро, часов в пять. А в шесть был уже у брата.

Позвонил... Открыла хозяйка, Надежда Семеновна.

— О-о! — удивилась она. — Так рано?

— С билетом удачно вышло, — радостно сказал Егор. — Прямо сразу улетел... Как Верочка-то?

— Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста...

— Конечно! — тихо воскликнул Егор. — А Федор-то дома?

— Дома.

— Ну, мы на кухне пока посидим... Пусть он на кухню придет.

Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате, Егору даже смешно стало.

— Ты прямо как поп в ем, — сказал он, здороваясь.

Брат Федор покривил в ухмылке губы.

— Как долетел?

— Хорошо!

— А чего там жена-то? Возражала, что ли?

— Да на дачу собрались... Да ну ее!

— Что это она у тебя, командовать-то любит?

— Та-а... Чего об этом? Как Верочка-то?

— Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут...

— Да я уж понял.

— Давай чего-нибудь? Чаю? Или кофе? А может, что... с дороги-то?.. — Смешной Федор начал соваться по шкафам. — Счас мы изобретем... Во, коньяк! Будешь?

— Давай. — Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора — не то что в гостях — проездом: всех поразил своей деловитостью, этаким волевым напором, избытком сил. «Да, — подумали в провинции, — эта птица может больно клюнуть». — Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то, — не удержался и сказал Егор. — Нормальный человек... никакой не деятель.

— Ну! — недовольно молвил Федор. — Чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати.

— Да не халат... Ну, давай — со встречей. И чтоб Верочка скорей поправилась.

Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек... Помолчали.

— Как живешь-то? — спросил Федор.

— Да как... — Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнулась звонким краешком в гладкий стол и раскололась. — Ах ты, господи! — испугался Егор. И глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку.

— Видно, с детства живет этот страх в человеке, — сказал Федор. — Вот, знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдце, да так испугалась!.. Я же ее и успокаивать кинулся: ерунда, мол, чего ты так испугалась-то? Куклу уронит — ничего, а посуду... Есть, наверно, какой-то закон здесь. А?

— Наверно. Рюмка-то дорогая, черт тя возьми, — с сожалением сказал Егор. — Хрустальная.

— Да брось! — недовольно уже сказал Федор. — Хрустальная... Все равно это — вещь, и должна служить человеку. Ну, и отслужила свой век, туда ей и дорога.

Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело: дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены, начала сдавать сразу неважно, должен был вмешаться Федор... Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с советами, все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было.

— Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину; может, тоже подумал, что, когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить.

— Работает в библиотеке. Я говорю: отдохни ты лучше, покупайся вон — успеешь еще, наработаешься! Нет, лучше глянется работать. Практика, говорит, мне будет.

— Ну и пусть работает — полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять — окончить институт.

— Да ведь устают, поди, от учебы-то! Неуж не устают?

— Да ничего страшного нет в учебе! — напористо и

поучительно сказал Федор. — Что за дикость — учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться — давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла: «Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!» Вот же понимание-то! Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги... И вот извольте: не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь.

— А что, были же случаи...

— Да от книг, что ли?

— От книг! Парень вон у Гилевых... Игнаху-то Гилева помнишь? Вон сын его, Витька, — зачитался: тихое помешательство.

— С чего вы решили, что от книг-то?

— Читал день и ночь...

— Ну и что?

— Как же?.. Зачитался.

Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку. И себе тоже плеснул.

— Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения... Ты много за свою жизнь книг прочитал?

— Я не пример.

— А кто пример? Ну, я вот: прочитал уйму книг — жив-здоров, чувствую, что мало еще прочитал, надо бы раза в три больше.

— Куда тебе больше-то? — удивился Егор. — Чего не хватает-то? Всего же вдосталь...

— Знаний не хватает! — сердито сказал Федор. — Вот чего. Вот они приходят счас, молодые, на смену — и поджимают. Да как поджимают! Сколько-то еще продержимся, а дальше — извини-подвинься: надо уступать. С жизнью, брат, не поспоришь.

— Не знаю... — сказал Егор. — Меня, например, никто не поджимает.

— Да тебя-то! Твое дело... не обижайся, конечно, но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый — через одного. Есть вещи сложнее...

— Ну, и надо уступать, — тоже чего-то рассердился Егор, наверно, за профессию свою обиделся. — А то и правда-то: смотришь, сидит — пень пнем, только орать умеет.

— Не торопи-ись, — с дрожью в голосе протянул Федор. — Больно прыткие! Есть еще такие понятия, как — опыт. Старшинство ума. Дачи увидели! Машины увиде-

ли!.. А не видите, как ночами приходится ворочаться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду: то ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет? Это ведь легче всего: в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее...

— Я не считаю твои деньги. Что ты?

— Я не про тебя. Есть... любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями. Не-ет, подожди, пусть сперва материно молоко на губах обсохнет, потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? — Федор неопределенно покачал головой: то ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше — дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами. — Тут уж я самому господу богу могу прямо в глаза смотреть: все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим... — Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов, не скоро подвинется и даст место другому. — Подняли страну на дыбы? — выходи вперед, не бегай по кустам. — Федор, наверно, чуть-чуть захмелел, а может, высказывал наболевшее, благо подвернулся брат родной — должен понять. — Вот так надергаешься за день-то, наорешься, как ты говоришь, — без этого, к сожалению, тоже не обойдешься, — а ночью лежишь и думаешь: «Да пошли вы все к чертям собачьим! Есть у меня Родина, вот перед ней я и ответчик: так я живу или не так».

— Кто тебе говорит, что ты не так живешь? — сказал сочувственно Егор. — Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю: «Молодец Федор, хоть один из родни в большие люди выбился».

— Дело не в «больших людях». Не такой уж я большой... Просто, делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет!.. — пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит. — Найдутся... некоторые, будут совать в нос свое... Будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней... Вот еще как рассуждают, Егор! — Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений. — Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин?

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Егор.

— Неприятности... — Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: — Неприятности. — И вдруг спросил сам себя: — А были они, приятности-то? — И сам же поспешно ответил: — Были, конечно. Да нет, ничего. Так я... Устал за эти дни, изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего! Все хорошо.

А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко! И лицом и повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный и тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году, в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы немолотой, шумно так заявился: «Живем, ребятишки!» Мать сварила жито, а он есть отказался, да тоже весело, бодро: «Вы ешьте, а я уж налупился дорогой — сырой! Аж брюхо пучит». А сам хотел, чтоб ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь... Хорохорится, а самому худо чего-то, это видно. Но как его утешишь — сам все понимает, сам вон какой...

— Да, — сказал Егор. — Ну, и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом.

— Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор. — Про зайку-то... Как он летал на воздушных шариках.

Егор задумался. Долго вспоминал... Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил, аж просиял.

— Про зайку-то?! А вот: пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики — мно-ого! Да все разноцветные: красные, синие, зеленые... — Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке — не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше. — Вот. И привязался он к отцу, зайка-то: купи да купи. Отец и купил. Ну, купил и сам же и держит их в руке. А тут увидел: морковку продают! «На-ка, говорит, подержи шарики, я очередь пока займу». Зайка-то, маленький-то, взял их... И надо же — дунул как раз ветер, и зайчишку нашего подняло. И понесло, и понесло! Выше облаков залетел...

Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивости.

— Как тут быть? — спросил Егор брата. Тот не понял.

— Чего как быть?

— Как выручать зайку-то?

— Ну... спасай уж как-нибудь, — усмехнулся Федор. — На вертолете, что ли?

— На вертолете нельзя: от винтов струя сильная, все шары раскидает...

— Ну а как?

— Вот все смотрят вверх и думают: как? А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит... И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит: «Я удумала!» Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила: «Я удумала». Надо — я придумала, а она: «Я удумала». Вот Верочка и кричит: «Я удумала!» Побежала в лес, созвала всех пташек — она знала такое одно словечко: скажет, и все зверушки, все пташки ее слушаются — вот, значит, созвала она птичек и говорит: «Летите, говорит, к зайке и проклевывайте клювиками его шарики, по одному. Все сразу не надо, он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться». Вот. Так и выручили зайку из беды.

Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата.

— Довольно это... современная сказочка. Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка...

— Нет, я им нарочно такие — чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники да царевны... Счас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что...

— Да, тут есть волшебники... Целые змеи-горынычи! — засмеялся Федор.

— Не говоря уж про бабу-ягу: что ни бабочка, то баба-яга. Мы твою-то не разбудим? Громко-то...

— Бабу-ягу-то? — хохотнул опять Федор. — Ничего. У меня, Егор, даже не баба-яга, — сбавил он в голосе, — у меня нормальная тряпошница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо! Знаешь... — Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить. — Ладно, чего там.

Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках...

— Что-то все же томит тебя, братец, — сказал Егор. — Давай уж... может, и помогу каким словом.

— Да ничего, — смутился Федор. И чтоб скрыть сму-

щение, потянулся опять к сигаретам. — Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо. — Помолчал, глядя в стол, потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: — Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней.

— Стареем, — согласился Егор.

— Давай-ка... за память светлую наших родителей. — Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком. — Мы ведь тоже уже... завершаем свой круг... А? — Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке — смотрел сперва на брата, потом опять в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил. — Да, — сказал, — разворотил ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего вообще-то не жаль! — встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом. — Жалко дочь малую. Но... подпояшемся потуже и будем жить. Так? — спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих — спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно. — Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснется. А я посижу пока тут с бумажками... покумекаю. Да, — вспомнил он, — подскажи мне, чего бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь...

— Брось! — сердито воскликнул Егор.

— Чего брось? Мне счас будет звонить один... волшебник один... — Федор искренне, от души засмеялся.. — Вот волшебник так волшебник! Всем волшебникам волшебник, у него там всего есть... Чего бы? Говори.

— Да брось ты! — еще раз с сердцем сказал Егор. — Что за глупость такая — подарки какие-то! К чему?

Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой.

— Ладно. Иди поспи. Там постель тебе приготовлена... Иди.

Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями... Посидел. Огляделся... Посмотрел на ок-

но — форточка открыта. Достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось.

Вошел в комнату Федор.

— Слушай, — сказал он, — у меня чего-то серьезно душа затревожилась — наговорил тут тебе всякой всячины... Подумаешь бог знает что. А? — Федор улыбнулся. Присел рядом на диван. И даже по спине братца хлопнул весело. — У меня все хорошо. Все хорошо, я тебе говорю! Чего смотришь-то так?

— Как? Ничего... Я ничего не думаю. Что ты?

— Да смотришь как-то... вроде жалеешь.

— Ну, парень! — воскликнул Егор. — Ты что?

— Ну, тогда ладно. Поспи, посни маленько, а то ведь не спал небось в самолете-то? Поспи.

— Ладно, — сказал Егор. — Посплю. Покурю вот и лягу.

— Мгм. — Федор ушел.

Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых ча-

сиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит. — Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

— Ну-ну?

— Она этому товарищу говорит: «Ну хорошо, говорит, идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверно, у министров такие: кругом мягкие кресла, диваны, на стенах картины... «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так, так, — говорит. — Как же это вы так?» А сама на меня смо-отрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине — зачем, господи?! Чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну-ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — буль-буль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех. «Брось ты, говорит, Санек! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, говорит, я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь — полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну-ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?» — «Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь курóчек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась: «Как ты, говорит, не порезался-то?» А мотоцикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то наслышался.

— Ну, ё-мое! — психовал Санька. — Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вытрезвителе.

— Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана и в ее трехкомнатную квартиру — тоже не могли поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всех Санька. — Жуки на-

возные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия, — кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка. — Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке. — Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем, — приказным голосом сказал Санька. — Надоела мне эта комедия: им рассказываешь как добрым, а они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда «выступить», но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно.

Егорка, не долго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть.

А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка. — Строит из себя, сидит... «Я — ва-ас...» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется, — Егорка постучал пальцем по рулю, — обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал». Идет?

— Едет, — буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька. — Сами живут... как при царе Горохе, и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо», «Налево», «Прямо!» — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. — Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он, подъездик, — негромко сказал Санька. — Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе, — неуверенно сказал Санька. — Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли! — скомандовал Санька. — Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком.

— Так, — сказал Санька. Он волновался. — Следи за мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва.

А чего волнуюсь? Упэред! — И он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки...

— Паркет, знаешь, какой!.. — успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были — нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лица женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька опалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Е-мое! — сказал он. — Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро — поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину, —сказал Санька.

Мужчина мгновенье решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтоб мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку, — сказал он. — Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на

дверь... Санька взвыл. Егорка с этой стороны — точно так, как тот за дверью, — откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

— Во-он! —Странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала. — Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — Женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька,—сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли, — еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и, — свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку. — Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись. Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак — поперся,— ворчал он.— На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире...

— А квартира-то, правда, что ли, такая шикарная?

— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине... Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

— Поедешь в городскую больницу?

— Зачем? — не понял Ванька.

— Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот... Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

— А где тематический больной-то? — спрашивала сестра.

— Курит, наверно, в уборной, — отвечали соседи Ванькины. — Где же еще.

— Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим...

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной...

— Лед впереде уже о так от горбатится — горкой... Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг — вниз поехал!.. — Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. — Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода — хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться...

— Ты прямо, как это... как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

— Я вру?! — Некоторое время он даже слов больше не находил. — Хот... Да ты что? Как же я врать стану! Хот...

И верно, посмотришь на Ваньку — и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже — уметь надо.

— Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

— Я, значит, смотрю вверх — вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился... Я туда погреб.

— Да сколько ж ты под водой-то был?

— А я откуда знаю? Небось недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают...

— Ну, ну?

— Ну, вылез... Ко мне уже бегут. Завели в первую избу...

— Сразу — водки?

— Одеколоном сперва оттерли... Я целую неделю потом «Красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.

...Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице — по людям, по машинам... Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так — все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире, внизу, вдруг увидел свою мать... Пробирается через улицу, оглядывается — боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

— Мама идет! — закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

— Где, Ваня?

— Да вон! Вон, с сумкой-то! — Ванька свесился с подоконника и закричал: — Ма-ам!

— Ты иди встреть ее внизу, — сказали Ваньке. — А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

— Да пустят! Скажет — из деревни... — Гадать стали.

— Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

— Это ко мне! — издали еще сказал Ванька. — Это моя мать.

— В среду, субботу, воскресенье, — деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

— Назад.

— Да ко мне она! — закричал Ванька. — Ты что?!

— В среду, субботу, воскресенье, — опять трижды отстукал этот... вахтер, что ли, как их там называют.

— Да не знала я, — взмолилась мать, — из деревни я... Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть...

Ваньку впервые поразило, — он обратил внимание, — какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос... И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

— Помолчи, мам.

— Да я вот объясню товарищу... Чего же?

— Помолчи! — опять велел Ванька. — Товарищ, — вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону. — Товарищ! — повысил голос Ванька. — Я к вам обращаюсь!

— Вань, — предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

— Пойдем вон там посидим, — изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него.

— Наз-зад, — как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

— Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька — ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

— Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распу-

скать... — заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, — я тебе... я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

— Вань, — чуть не со слезами взмолилась мать. — Господи, господи...

— Садись, — велел Ванька чуть осевшим голосом. — Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

— Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. — закричал он. — Ко мне! Тут произвол!.. — И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: — Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке...

— А? — спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

— Ко мне! — закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его... Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

...Ваньку им не удалось сцапать... Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся... Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин... Красноглазого и Евстигнеева еле еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

— Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

— На кой черт ты связался-то с ним? — никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

— Он мать не пустил.

— Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

— Не надо, мы счас домой поедем.

— Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике... Сказал даже так:

— Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе...

— Нет, — сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого... — Нет. Что вы!

— Но я же не выпишу тебя!

— Я из окна выпрыгну... В пижаме убегу ночью.

— Ну-у, — огорченно сказал Сергей Николаевич. — Зря ты.

— Ничего. — Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора... жалко, что он огорчился. — А вы найдете кого-нибудь еще с язвой... У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

— Не в этом дело. Зря ты, Иван.

— Нет. — Ваньке становилось все легче и легче. — Не обижайтесь на меня.

— Ну, что ж... — Сергей Николаевич все же очень расстроился. — Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься...

— Нет. Решено.

Ванька помчался в палату — собрать кой-какие свои вещички.

В палате его стали наперебой ругать:

— Дурак! Ты бы пошел...

— Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус, и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

— Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!

— Надо человеком быть, — с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. — Ясно?

— Ясно, ясно... Зря порешь горячку-то, зря.

— Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

— Выгнали? Ну вот...

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

— Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все — никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь... Неужели трудно догадаться?

— Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, — опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

— Ботинки эти? Твои?

— Мои.

— Не долечился и едешь...

— Дома долечусь.

— До-ома! Дома долечисся...

— Будь здоров, Иван Петров! — сказал Ванька.

— Сам будь здоров. Попросил бы врача-то... может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор — на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил — хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

— Будь здоров! — сказал Ванька. — Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул — все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-перехваленой горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

— Не плачь, — сказал Ванька матери. — Чего ты?

— Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, — сказала мать свою горькую думу. — Из ФЗУ тада тоже...

— Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

— Много так сделаешь — не просить-то!

— Ну... и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

— Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию — побегай-ка за имя да не попроси... Много соберешь?

— Ладно, ладно... — Мать никогда не переговорить. — Как там, дома-то?

— Ничо. У себя-то будешь долеживать?

— Та-а... не знаю, — сказал Ванька. — Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

ГЕНА ПРОЙДИСВЕТ

Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство... Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная его — демонстративная — свобода, раскованность. Будучи этак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону, сшибал столбики, ранился и злился.

Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость.

Приехал в санаторий какой-то поэт; Генка волнуясь спел ему несколько песен. Поэт удивился.

— Ну и что? — спросил он. — О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?

Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих. И громко объявил:

— Вы!.. Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении.

Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн. Остервенело заколотил по струнам и запел:

Вот так номер,
Вот так так —
Это не по правилам:
Были,
Были, —
Напылили,
А потом — пр-ропали!..

Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт — не поймешь сразу. Взошел Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег —
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.

«Сбацал» на краешке доски — пощелкал каблучками-носочками — и еще раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную
трепались!

Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал с вышки и бил гитару:

Я же знаю,
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!

И Генка, в чем был, маханул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись...
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..

Генка откашлялся, отплевался и сообщил:

— «Навязчивый сон» называется!

Генку уволили.

Дома, в своей деревне, Генка появлялся обычно на короткое время — отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой родней. Стыдили. Приводили примеры... Учили.

— Я все понимаю, — говорил Генка, — но мы, художники, — люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь.

— Занялся бы тобой бичина хороший — вот было бы то, что требуется. Вот это не грех был бы.

— Тупо, неубедительно.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный, — сказал он.

— Не горжусь, а суетню всякую понимаю, — смиренно ответствовал новообращенный. — Все суета, Геннадий.

— Ну, это уж вы как-то... совсем просто: «Все суета» — и баста.

— Все суета! — убежденно твердил дядя Гриша.

— Смерть — суета? Любовь — суета?

— Мы здесь — гости. Поживем — и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь... А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинопленку все снимается, все снимается... Как поступил, как подумал, где проть совести пошел — все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот — тело твое — хоронют, а пленку берут и проявляют: смотрют, как ты жил... Вот.

— Хм... Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

— Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!.. — Дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. — Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь — крест огненный, — тогда я поверю! Ах ты господи!.. — Где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверно, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. — А чудо — на каждом шагу! Чудо — вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры... Ведь это все — деликатесы, а все — из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько — что там? Земля. А ты откуда? Из земли...

— Привет!

— Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы... Ты думаешь, если ты — Гена Пройдисвет, то над тобой нет закона божьего? Есть.

— Погоди, ты что-то все в кучу: и землю и закон... Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

— Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча — это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь... А не знаете того, что вы все... все люди — под наблюдением.

— Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня — семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

— Не про то наблюдение я говорю. Это — ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое...

— Знаешь что? — перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. — Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу, — в разные стороны: «Верю! Верю!» Не веришь, вот так.

Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся.

— Эх, Гена... Гена ты и есть. Дружок анчуткин. Жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывесть, из покоя? Не выйдет.

— С чего это ты вдруг в бога-то поверил? Шестьдесят лет прожил — не верил, вдруг — на́ тебе...

— Пошел я, иду, — терпеливо сказал дядя Гриша. — Иду с богом. А ты колбаси дальше по дорогам — где-нибудь голову сломишь.

Вопрос этот — с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в бога, — вопрос этот всерьез заинтересовал Генку, даже встревожил. Отец Генки, умелый печник, хвастун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру:

— Мужик, он ведь как: достиг возраста — и смяк телом. А башка ишо ясная — какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается: один на вино напирает — башку туманит, чтоб она ни в какие вопросы не тыркалась, другой... Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? — историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова

не пустовала. А Григорий наш, вишь, в бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть, много. Старухи-то. Он стал к им похаживать от нечего делать, а те его сагитировали. Ты не досажай ему с этим, а то он сердится. Не надо. Они безобидные люди.

Жена дяди Гриши померла лет семь назад, а жил он со средней дочерью, тридцатилетней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела — тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала:

— Не лезь, Генка, к отцу! Понял?

— Чего замуж-то не выходишь? — поинтересовался Генка.

— За кого?

— Нашла бы какого-нибудь...

— Какого-нибудь мне не надо, одна проживу.

— Это же ненормально...

— Ничего. Нормально.

— Похаживает кто-нибудь ночами? Да?

— Не твое дело.

— Какие ведь все уверенные, все-то они знают! — обозлился Генка. — Все понимают. А спросишь — ответить толком не умеют. Не знаете, так хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на седьмом десятке в религию кинулся? Это же не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное. Или — опять ложь. Притворство.

— Зачем ему притворяться-то?

— А вот это я узнаю, не я буду, если не узнаю.

— А ты чего такой нервный-то? А, Ген?.. — спросила добрая Нюра. — У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты — вольная птица, чего тебе?

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел.

Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами... Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе.

У него и теперь, у кроткого, кулак-то — гиря пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, — это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый... Как же это совместить?

И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише. Прихватил бутылку водки, гитару...

— Здорово, дядь Гриша!

— Здорово. — Дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк, ничего не сказал.

— Зашел поговорить.

— Ладно.

— А Нюраха... в кино небось учесала? Вот дьявольская выдумка-то еще? А? Ты теперь не ходишь?

— Нет.

— А чего ты такой мрачный?

— А ты чего такой... развеселый?

— Настрой хороший. Давай выпьем.

Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку... А потом — как-то вовсе беспомощно — на календарик под часами в углу: с календарика беззаботно пялилась красная цифирка — воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся.

— Давай. Сегодня можно. Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал... не подонок. Я религию уважаю, но... Где у вас тут стаканы-то?

— В шкапчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но?.. Договаривай.

— Сейчас, сейчас... — Генка добыл пару стаканов, поставил на стол. — Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять души. Достань солонинки.

Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол.

— Нырни, там в кадушке капуста и огурцы.

Генка взял из шкафчика тарелку, обтер ее полотенцем... Глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обо-

значало — петь. Он даже усмехнулся там, в темноте, подумал: «Чего это я?»

Генка положил в тарелку огурцов, капусты... Подал наверх дяде Грише. Выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался.

Налили по полстакашка.

— Я, когда был в институте, — вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь, — мы после первого курса поехали на практику... не на практику, а так — подработать, жизнь повидать: в тайгу, с геологической партией.

— Ты чего институт-то бросил? — спросил дядя Гриша.

— Та-а... сложно это. Не сложно, а... Да ну ее к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять — лень. Не показалось мне, что это ценность великая — диплом. А туда половина только из-за того и лезет — из-за диплома. Я посмотрел-посмотрел — и сделал жест: не хочу, все. Может, глупо. — Генка помолчал, заметно посерьезнел. Тряхнул волосатой головой. — А может, нет.

— Дурак.

— Может, дурак. Не сбивай меня с настроя. У меня какое-то сегодня... — Генка тоже глянул в угол на календарик. — Тоже сегодня какое-то красненькое настроение. — Он засмеялся, погладил бороду. — Слушай. Шли по тайге, я как-то отбился в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился, ногу потянул. Не могу идти. Сел — сижу. Даже весело стало. Думаю: вернутся искать или нет? Шумихи же много про всякое это братство-товарищество. Вернутся, думаю, или нет? Посидел так с полчаса, слышу, вернулись — кричат. У меня ружье, мог выстрелить — услышали бы. Да и крикнуть, тоже услышали бы. Нет, сижу! — Генка сверкнул азартным глазом. — Бросят, думаю, искать или все же найдут? Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то... может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать или будут искать? В общежитии же все вылупались про таежную романтику, про... Ну-ка? Ну-ка, фраера, — это же не песенку спеть под гитару, это ж — человека найти! А уже солнышко садится, а до лагеря еще далеко-о. А? — Генка оскалился недобрым оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами. — Как вы насчет

того, чтоб заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем... А там, в зимовье, нары, одеяла, костер, спиртяга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лыцарей, а? Вот задача-то? Ну-ка!..

— Нашли? — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша.

Генка, тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал:

— Нашли. Хотели отметелить, но у меня ружье было — не получилось.

— Надо было... Чтобы зря не пугал людей.

— Да они не испугались! Это тоже пижонство: чтоб потом про них говорили, что они — мужики. Они молокососы. Все почти. Ну, давай.

Выпили, похрустели капустой.

— Не уважают тебя, Генка, — сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал. — Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это... к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

— Меня не уважают, да, — сказал он. — А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в бога поверил? — спросил. И сам ответил: — Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое... придумал себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился — тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так?

— Дурак, — просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще сказал: — Волосатик.

— Ты заметил, — оживился Генка, — что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак»?

— Ты для чего пришел сюда?

— Понять, почему ты... Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в бога. Слушай, да кто же так в бога верит — повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про бога не знаешь. Я больше тебя знаю...

— Сказал? — Дядя Гриша угрожающе нагнул голову. — А теперь...

— Стоп! — воскликнул Генка. — Не надо. Не надо... Давай мирно беседовать, у нас же водки полно. Не надо наклонять голову. — Генка умоляюще прижал руки к груди. — Я не нарочно, я не... это... Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про бога. Слушай!

Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним.

— Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать? А? На бога меня не хватит. То есть это как-то неконкретно... Выпили! Счас решим.

Дядя Гриша, все еще не веря, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтоб потом, при худом исходе этой беседушки, не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку.

— Ты хоть не в секте какой-нибудь? — спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюбный. — А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь... Нет? Христос же везде — Христос, бог, но поразному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе...

— Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну. — Это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. — Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова...

Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот — бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват), — вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко и насмешливо сказал:

— Раб божий... да ты прямо как с цепи сорвался.

Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку... У них — тоже Христос. — И слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна. — Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства — это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? — Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной — нечто дорогое, свободное, наболевшее. — Как же жить-то, люди?! — Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. — Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит! А? — Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно. — Ты меня упрекаешь... все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх! Взял, выдумал: верю. В кого?! Заче-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем... Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему... Да взял вон топор в руки — и под Быстрянский мост: грабить. Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в бога поверил, говоришь... А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил — щей сварить. Ни себя не пощадил, ни... Вот сидишь, хлопаешь глазами — как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я же уважать тебя не могу, понимаешь? Ува-жать. Не могу — с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а... Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?! — Генка устал. Обессилел. Сел. — Взять и под занавес все испортить. «Мы — под наблюдением», «каждый наш поступок...». Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может! Все — в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб божий. — Генка налил в

стаканы, качнул устало головой. — И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ол. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз — и вот она: хоть стой, хоть падай.

Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял — что это? Стакан рванулся и полетел вверх...

— Хватит лакать, — сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом. — Распился тут.

Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стукать головой об пол.

— Вот так ее... — приговаривал он. — Умную-то головушку. Вот так, вот так...

Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал, со стола с веселым разговором полетели стаканы, бутылка, тарелка... Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову. Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз опалил его, подчинил своим законам: он действовал как всякий нормальный боец, — вроде не соображая, но очень рассудочно и точно. Раза два угодил дяде кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться, а когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было, было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться.

Так они напрягались: один хотел встать, другой не давал.

...Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть... А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна... Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

— Поганец, — тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы. — Будет тут... слова разные потреблять... Разинул рот-то. Шшенок.

— Горько, горько, — говорил Генка, сплевывая сукровицу. — Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел... Врать начал! Если я паясничаю на дорогах, — Генка постучал себе с силой в

грудь, сверкнул мокрыми глазами, — то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать. — Мы же так опрокинемся!..

— Я те опрокинусь, — гудел негромко, с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот. — Я тя самого опрокину — башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что — бесстыдники, как дети малые, честное слово... Сцепи-и-лись. Чего не поделили?

— Россию! — высокопарно заявил Генка.

— Я вот те счас покажу Россию! — повысила голос и Нюра. — Трепач... На старика-то — с кулаками? Э-эх! А говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб... Я вот не погляжу счас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

— От тебя приму. Ты духовно чистый человек... Ты не врешь.

— А я што тебе?! — пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой, Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

— От простуды берегла... но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то! Сказать кому, не поверят.. Сцепились... Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются — с ума сходят. Давайте, и я с вами пригублю маленько. Миритесь.

Выпили втроем огневой славной перцовки... Посидели молча. Отошли.

— Спеть? — спросил Генка.

— Спой, — согласилась Нюра. — Только понятную какую-нибудь. А то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют — и то непонятно.

— Сказано, — заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся. — Сказано: придет владыка мира... Сперва их четверо придут, потом один

троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет — антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

— Бледно, — сказал он. — Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! — объявил он. И запел:

То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит...

Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.

— Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, — сказала Нюра.

— А возможно, что это не притворство у вас, — заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. — Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность. — Он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.

— Пой-ка лучше, правда.

Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.

— Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота поддеёт, стоит! — спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.

Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору и что-то ей говорила.

— Корова, — задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.

Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются,

и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя — вправо-влево, вправо-влево — в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.

— Корова... — еще раз в раздумье сказал Генка. — Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?

— Хватит, — сказал дядя Гриша. — Не хочу больше.

— Ну и я не буду, — решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. — Лучше стихи напишу. Про корову.

ПЬЕДЕСТАЛ

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. — Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. — В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно — даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам вместо счастливого лица нарисую

кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. — Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива. — Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике... — продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин. — Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! — В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять, — за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. — Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся, — спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, говорит, дойдет, что охота укусить кого-нибудь, — беги к холсту!» У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше

хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо, — складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подрос, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но коечто Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал:

— Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не нравится?» — «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А — это соски. Просто же». — «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было, — подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил. — Смородин двинулся было, но опять остановился. — А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два, и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да, — согласился Смородин.

— Чем закончилось с выменем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин. — Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше. — И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил, — сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил, — упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял, — признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник ни-когда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло наконец до Смородина. — Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг, в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант. — Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, — в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гадко, противно, наконец просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки, — встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. — Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь.

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек! — Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя

губа хищновато дергалась кверху и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты не знаешь, кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтоб они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено было делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел, и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись в бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взрываться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки... — говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его, — сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра...

Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю, — с несвойственной ей поспешностью сказала жена. — Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— Погоди, погоди, — суетился Смородин, — давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста, — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул на кухню.

— О-о! — густо сказал он. — Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну, давайте... — И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он. — Как вас, Роза?..

— Зоя, — сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части, — сказал Смородин. — Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень. — Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. — И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля. — Как там у вас говорили, Константин? А интересно там,

да? Мне охота бы побывать, только не долго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина. — «Утро нашей Родины»?

— Увидишь, — уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. — Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще, — сказала Зоя, — потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородина. — Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте, — жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась. — Выпейте, закусите, потом и пойдете. — Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородина...

— Самоубийца, — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля-художник. — Я уж думал, тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца... — Он опять невольно хохотнул. — Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!.. — окликнул он. — Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя, к черту, понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего. — Он посмотрел на картину. — Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. — Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, — пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав —

Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, — и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. — Уйди! Подонки!., Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин. — Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся. — Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милая, успокойся, не надо... А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель — невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему — Моня. Его звали — Митька, Дмитрий,

но бабка звала его — Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже подумал: «Да ну!.. Что значит — невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея — то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, — то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за

одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к полости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то — он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось — закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, — как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов, — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рас-

светная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, — скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут — прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, посмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар

с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Моткина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что — есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. — Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

— Ну и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не возрадуссся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. — Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему правился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь, — подумал Моня. — Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ», — продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. — А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что «не рано»? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель — невозможен. Этак — и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну, вот... — Инженер усмехнулся, качнул головой. — Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет, — жестко сказал инженер. — Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что — все:

с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что — это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет. — Моня встал. — Вообще за добрые слова...

— Ну вот... — сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно. — И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер. — Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули рукой, а доказали давно: не-воз-можен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал. — Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил, — тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру. — Что ты, как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь... — чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. — Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить. — Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что от-

читали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз — вот он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но — вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте, — сказал Моня. — А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку, — что она еще не привела себя в порядок, — прошел к столу.

— Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите, — стал объяснять Моня по чертежу, — вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться, — сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!.. — заговорил он. — Я не понимаю:

или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину. — Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы вращалось? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня. — И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что, — прервала Моню учительница, — чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница. — Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась...

— Мне одеться нужно...

— А-а, — догадался Моня. — Ну, конечно. Я на крыльце подожду. — Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас, — сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушая возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!.. — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. — Видите, как все продумано! А вы говорите... — И повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот... — Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень. — Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен. — Теперь я к этому верти-

кальному стержню прикрепляю пружину... Во-от. — Учитель и пружину изобразил. — А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге, — остановил Моня учителя. — Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он. — Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить, — а на стержень падает. И это — одинаково?! — Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение не-

пременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня. — Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь, — все же не верил он. — Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да, — сказал Моня, — но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерское звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай — крайне инте-

ресно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у, — сказал инженер. — Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини, — сказал Моня, довольный. — Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся.

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи, — сказал Моня. — Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись, — пригласил Моня. — Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом. — Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну, ладно, — согласился Моня. — Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом, — заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством, — дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно, — сказал инженер. — В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок, — посоветовал инженер. — Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут — учиться, учиться, — недовольно сказал Моня. — Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

— Шагай вольнее, — сказала она, — все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось; хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди... Здравствуйте!

АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой

был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... «Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. По-

том в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой, — говорил он ласково чурбаку.— Атаман какой... — Ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так патюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна, и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топит...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полке́, с краю, места много не занимала — не мешала париться, — а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился

на полке́, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане, — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмоет радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то, — там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать, — там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, — все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а

вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце в самом, — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, — сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, — на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно. — Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые. — Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у их». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребя-

тишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь — что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, — вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу, — сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день едет... — согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар, и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схва-

тывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, полóк, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, — славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко, — сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Воза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все копют... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну, ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну... — Таисья сама не знала, зачем отпустила. — Чего будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду.

— Да... — Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, — не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну, ладно, — сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крендешин, хэ-х... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!.. —

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз

цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... — стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу —
Нет моего милого, —

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полкé — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Але-

ша присел, пережадал первый натиск и потом только взобрался на полóк. Чтобы доски полкá не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полкá, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего, — ответил Алеша, глядя перед собой. — Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, — стал както переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец — пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то, — сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых.

Сын пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь, — сказал Алеша, — Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.
— Кого бомбят?
— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собирались на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор, — говорил он мужику, — да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем:

спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела. — Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то, — но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же: сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против цер-

ковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, — тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое па селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. Попервости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака, — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...» — Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» — «Старикам-то поддался». — «Я не поддался, —

сказал Павел, — я сам хотел венчаться». — «Вот я и спрашиваю, — растерялся Филипп, — не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей. — Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сы-

новья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припоромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припоромка, заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припоромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп как завороженный стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь... — Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?.. — спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям

ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!.. — понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. — Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом, — попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел... — сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить. — Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. — Иди!.. — закричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов. — Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел. — Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!.. — Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил,

сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел. — А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить, — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно. — Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина. — С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

«Марья, — думал он, — эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего... — сказал себе Филипп окончательно. — Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то — осень, с чего теплу-то быть?

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй, и не жадничай, и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в загашнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойней, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать — это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили».

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще по-

нять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики, — прямо обращался он, — кто из деревни?

Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?.. — спрашивали его. — А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе... — И Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее как облупленную знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие. — Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет, — говорил Николай Григорьевич, — желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили, — говорил какой-нибудь степенный, — только поорать. Ну — склад, они действительно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я построгать люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок, — начинал соображать мужик, — банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?! — изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля, — огрызался степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету, — сомневались.

Степенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради мне загибать-то перед вами?! Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Ничего, совхоз.

— Дак, а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слыхал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слыхал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село.

— Это где?

— А вот, если сейчас ехать... — И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что ж это за цены такие! Лéса, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — первпичал мужик из дорогого села. — Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок станет? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью...

— У меня вот свояк приезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. «Ну-у, — говорит, — у вас-то жить можно! Это, — говорит, — ты у нас иди сунься».

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Чо ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу насказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую мест-

ность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?!

— Тихо, тихо, — успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих. — Спокойно, мужики, — говорил Николай Григорьевич, — мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — Это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенок стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно, — пояснил Николай Григорьевич. — Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали, — признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей — какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них — лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?!

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: «Пусти пожить недели две». А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. «Пусти, — говорит, — пару недель пожить, пока не определюсь куда-нибудь».

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие....

— Ну-у, это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района, — встревал в минуту затишья какой-нибудь расторонный, — гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, сынок». До Красного шестьдесят пять километров. «Платить-то, — говорю, — есть чем?» — «Есть, милай, есть». Ну, везу... — И рассказчик заранее поблескивает глазом. — Доехали до Красного. «Все, — говорю, — бабка, приехали. Плати». Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— «А раньше, — говорит, — брали. Мы, — говорит, — всегда яйцами расплачивались». — «Ладно, — говорю, — иди, бабка».

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: «Иди, — говорю, — бабка, иди. Иди, чего с тебя взять». Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснялось на этих собеседованиях, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а

слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскрывалось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высовывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под кран — и дальше. Я отошел и думаю: «У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали».

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегает, но ведь, правда, не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья...

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то как-то нету. Кричат друг на друга, злятся... Продавщицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу?! Я живу, дай бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — невмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!.. — Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни,

дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинеть здесь со всеми вместе, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу, вот эти слова про достоинство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина

1. «О ГОСУДАРСТВЕ»

В райгородок Н приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да, — сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. — Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело. — Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь, — пригласил Кайгородов.

— Спасибо. — Князев сел и оглядел жилище спортсменов. — А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой, — сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку... — Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. — Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди, — показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, — тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев. — Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев. — Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

— Слушайте, — перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный, — я не понимаю: чего вам надо?

— Тю-тю-тю, — с улыбкой, мирно сказал Князев. — Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь... — Спортсмен несколько смутился. — Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости, — опять мирно, терпеливо пояснил Князев. — И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду, — отчетливо, тоже изо всех сил спокой-

но сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость. — Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся:

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали.

— Гриша, — сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте, — велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке, — обернулся с порога Кайгородов. — Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке: — Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина. — Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение... — Князев встал со стула. — Как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша, — заговорила жена, — ты ведь свободен... Я-то не могу, — сказала она гостю, — мы завтра уезжаем, надо приготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел, — сказал Князев. — Вы уж извините, что так нескладно вышло... Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову. — Это я от смущения. Все же вы люди... заметные.

— Да ну, чего тут!.. — сказал Кайгородов. И посмотрел на жену. — Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев. — Посмотрите, как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте, — решительно сказал он. И встал.

— Ну вот, — с облегчением, как бы сам себе молвил Князев. — А то — в коридор...

Кайгородову теперь уж даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше... — начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро, — сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом, — сказал Князев. — Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев. — Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго. — Я, знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев. — Да вы что?! Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гос-

ти! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов. — Хаханьки какие-то...

— Манера-то? — Князев хмыкнул. — Заметил!.. — И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. — Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать. — Князев говорил серьезно, негромко, с грустью. — Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал... Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это — легко сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом, — сказал Князев. — Я хочу только предупредить... — Князев остановился перед воротцами. — Жена у меня... как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить? — если она недовольство проявляет.

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Сме-

лей, спортсмен! Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас. — Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. — Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов. — Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать, — молвил Князев, открывая сеничную дверь. — Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях... Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте, — сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка, — пояснил Князев. — Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую, — сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги. — Спиноза стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать. — Он достал бумаги — несколько общих тетрадей, — посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. — Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет.... Может, и будет, если совесть проспется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят. — Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках. — Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу... — Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... в глазах его стояла серьезная мольба и тревога. — Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени... — Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека.

Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство, — начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать, — это очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Но в такой, конечно, обстановке... — Он показал глазами на дверь. — Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства. — Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: — «Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем...» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками. — Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно, — сказал Кайгородов.

— «Представим себе, — продолжал читать Князев, — это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку; закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления...»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев, — двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно... представить. Так ведь? Здесь — другое. — Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну, — сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях, — напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он. — У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько. — Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву... — Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. — Вы послушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь.

2. «О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши, — говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь, — пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко... Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!.. — негромко говорил он. — Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик. — Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, но все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет, — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?

Сильченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями.

— Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну, все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем; он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну, в кино-то видели же!

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган.

Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни: есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли, — Князев показал ладонь, сложенную горстью, — а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных суперо́в. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?.. — Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим. — Удочка. Вот — тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику. — Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм. — Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко. — Улавливаете?

— Не улавливаю, — сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. — При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматья, — сурово и весело сказал Князев. — Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. — Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть... На природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... такой уж наглядный пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. — В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как, — уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. — Во всеобщей же государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе, — еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера, — мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался и Сильченко. — Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревёшко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать, — сердито заговорил Сильченко. — То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. — Ну полная же

бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю, — сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней, — снисходительно и недобро посоветовал Князев. — Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял, значит — чепуха, бред. Ве-ли-колепная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо, — взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак. — Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом. — Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко. — В каком «в целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете, — продолжал Князев. — В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным, —

стал перечислять Сильченко, — защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего — Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно, — сказал Князев. — Но это все — ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо... — И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака. — Чего тебе от меня надо?! — закричал он. — Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника гримера. — Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко. — Чего?!

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло, — сказал он негромко. — Ну и хамло же... Разинул пасть. — Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру, к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита, — сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева. — С приездом вас.

— Спасибо, — ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. — С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал. — Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю, — сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он — «пропагандирует». — Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев. — Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев, — сухо, казенным голосом заговорил председатель, — мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул. — Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!.. — опять изумился он. — Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят... Ведь он же гример!

— Ну.

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев, — перебил председатель, — мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-ни-

будь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо, — торопливо, грустно сказал Князев. — Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает...

3. «О ПРОБЛЕМЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе. — Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям, и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил. — Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие, — сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да, — неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно, — сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?.. — спросил он. — Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой:

— Нет, нет.

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман. — Не пьешь?

— Не пью, — недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени, — не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут, — Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака, — полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят, — хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон, хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает.

— Но, если б не было выгоды, их не держали бы, — тут же и заметил молодой человек. — Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут — от нечего делать: идут — познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!.. — неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил: — Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то. — Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю, — сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев. — Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, — наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего, — значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты, — вслух сказал Князев, выйдя из кафе. — В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть, Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить... — мирно заговорил молодой человек. — Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Князев серьезно, — я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать...

— Я же не на работе, — возразил молодой человек тоже серьезно. — Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался. — Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую.... Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того, — продолжал Князев, — чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, — не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился. — Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука, — с дрожью в голосе, негромко сказал молодой человек, — карьеру на мне хочешь состроить. — И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику...

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще несколько тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!.. — взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!.. — закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе. — Сюда, люди! Ко мне!.. — кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе, — отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный. — Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный. — Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина, — сказал Князев, потирая челюсть. — Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы? — перешел к нему дежурный.

...Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

4. КОНЕЦ МЫСЛЯМ

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев...». О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что — вот, восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, — от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что?! Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина. — Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов. — Идите-ка суда — вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство, — с мстительным злорадным чувством говорил Князев. — Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе. — Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить. — Пр-рочь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь. — Пр-рочь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он. — Он, наверно, буйный!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!.. — воскликнул он. — Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите... Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут — главная лягушка. Жаба! Все знает — знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори, — спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева. — Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины, — говорил Князев. — Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то — нравится быть полудурками! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагнул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он. — Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе, в галстуке!.. — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Вот же еще: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про гасударство! Какой еще! Ишь, чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех, — стали объяснять врачу. — Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту! — устало сказал Князев. — Взорвался просто... Глупость человеческую пе мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

— Ну, а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала, — тетради лежали у начальника на столе, — а судит! И я знаю откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление...

Князев поморщился.

— Только ничего пе надо сейчас... Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите. — Князев встал. — Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев. — Начальник строго глядел на Князева. — Надо, как думаешь?

— Ладно, — сказал Князев. — Извинюсь. — Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя. — Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом отдам. — Начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так... И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будут в сохранности.

— Ведь тут... — Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей, — тут, может быть... — Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«КОРОТКО ОБ АВТОРЕ»

И следовала краткая «Опись жизни» Н. Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и, тем самым, побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. «И тем не менее, — думал я, — государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи,

несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

ВНЕЗАПНЫЕ РАССКАЗЫ

МЕЧТЫ

Как-то зашел я в гостиничный ресторан — подкрепиться. Сел. Жду.

Подходит официант... Опрятный, курносый, с лицом, которые забываются тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице... И я без труда узнал человека.

Лет двадцать пять назад мы с ним работали на одной стройке, жили в общежитии в одной комнате. Было нам по шестнадцать лет, мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья.

Работали... А потом нас тянуло куда-нибудь, где потише. На кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так. Мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты — лень. Тогда бы, в то время, если бы кто спросил, наверно, соврал бы — что-нибудь про летчиков бы, моряков: я был

скрытный, к тому же умел врать. А теперь забыл... Всерьез захотел вспомнить — о чем же все-таки мечталось? — и не могу. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия», и мне очень понравился Олег Кошевой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду, бывало, по улице и так с головой влезу в эту «тайную борьбу», что мне, правда, казалось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски — никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь.

А он рассказывал. Он мечтал быть официантом.

Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал, видно, официантом, то губы подобрал, сдержанный стал, вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось, наоборот, дурак дураком был, простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтоб он не был таким доверчивым.

Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверно, думал: «Ну и будь!» Не отговаривал. Даже, наверно, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом, даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что — гордился, а гордился ли — не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню: кладбище калужское, и что он очень хотел быть официантом.

Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверно, уже не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели — сидели на скамеечках старушки. Тишина... Сказать, чтоб мысли какие-нибудь грустные в голову лезли, — нет. Или думалось: вот, жили люди... Нет. Самому жить хотелось, действовать, может, бог даст, в офицеры выйти. Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы — только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие, — в недалеком прошлом — тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, а все время шпыняли нас: «Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?»

Помню еще надгробия каменные, тесаные, тяжелые. Я думал тогда: как же было тащить сюда такую тя-

жесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях — все больше купцы лежат. Сколько же купцов было на Руси! Или — это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы, отшумели... Лежат. Долго-долго будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое кладбище, стали хоронить на новом месте, на горе.

Да, так вот — официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его, не захотел поговорить. Не знаю — почему-то не захотел. Может, потому, что был я крепко с похмелья, а он возьмет да подумает, что у меня совсем уж плохие дела. Еще пожалеет. А разубеждать — совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму да и пожалею... Зачем?.. Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения! Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся, да так весело, беззаботно, добро улыбнулся, что куда тебе! Помурлыкал что-то насчет закуски, посоветовал, покивал причесанным на пробор шарабанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Э-э, он-таки научился. Презрение — это ко мне только, потому что я с похмелья. И один. И одет — так себе. И лицо солдатское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется! Именно — с достоинством, не угодливо, нет, — красиво, спокойно, четко, ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше, а как раз, чтоб подумали: «Надо потом прикинуть к счету рубль-другой». Поклонись он мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон, не всем подряд кланяется. Опыт. Конечно, иногда, наверно, ошибается, но, в общем, метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками, ребятки изображали бывалых людей, выдавили дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут-то он им — и поклончик, поводил умытым пальцем по меню — совет, что лучше заказать, покивал головкой — коньяк, шампанское... Легкое движение — переброс салфетки с руки на руку — заключительный поклон, исчезновение. Славно. И ведь, хитрец: все с понимающим видом, с видом, что — вот: молодые, беспечные — «бродят». Как там у Хемингуэя (у Хема)? Зашли

в одно место — выпили, зашли в другое место — выпили... Шельма, он же знает, что для того, чтоб сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них — папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику Даля... Но он все принимает за чистую монету: вошли джентльмены, все будет о'кэй. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками, при расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк.

Но вот уж он иноходит от кухни... Ширк-ширк, ширк-ширк — обогнул столик, другой, поднос на левой руке как щит, а на щите — всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было?.. Нет, пожалеет он меня, наверняка, пожалеет в душе.

— У вас что было?

— Котлета.

— Котлета... Пожалуйста.

— По-калужски?

— Что?

— Котлета-то по-калужски?

— Почему по-калужски? Нормальная котлета.

— Я думал, по-калужски.

— Где вы видите — по-калужски?

— Да нигде не вижу... Я вот смотрю на нее, думал, она — по-калужски.

— Нет у нас никаких по-калужски!

— Ну, нет — и не надо. Я же не прошу. Я говорю: я думал, она по-калужски.

— Будете кушать?

— А как же!

— Водка... А что собой представляет по-калужски?

— Такие... на гробики похожи... Купеческие котлеты.

Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил, — испугался: не развезет ли меня, если я это оглоушу, в графинчике-то? Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее:

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Официант отбыл к соседнему столику.

Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежней

дам, и никакого презрения — дам, и все. Как будто я каждый раз вот так по трояку отваливаю — такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило — скорей дать ему три рубля. Посмотреть: какое у него сделается лицо!

...Я поел, выпил. Он мне кратким движением — сверху вниз — счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто дал. Он меня спросил:

— Побрызгать?

— Не надо, — сказал я. — Брызгать еще...

«Вот так вот, — думал я сердито про официанта, — гроша ломаного не дам. И так проживешь. Вон какой ловкий!.. Научился».

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то, — сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись. — Она села на скамеечку и показала рядом с собой. — Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут, — сказала она, глядя на ухоженную могилку. — Сынок... Спит. — Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне. — Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что? — Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. — Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так, — согласилась старушка. — Только дума-то тут... вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему. — Она повернулась опять к могилке. — Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил, — сказала старушка покорно. Еще помолчала. — Только жить начинать, а он вот... завалился туда... А тут, как хошь,

так и живи. — Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. — Неладно живете, молодые, ох неладно, — сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. — Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешный ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих... А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... «Ты плакала-то?» — «Я плакала». — «А чего ты плачешь?» — «А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала». — «Да я же комсомолец! — Это солдатик-то ей. — Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, — говорит, — не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к ему, — и старушка легонько коснулась

ладошкой моей спины, — и говорит: «Пове-ерите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!.. — Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно: — Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то, — на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот. — Старушка показала свою ладонь, ладошку. — Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, рабеночка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». — Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать. — Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура, старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!» — «Как кто? — говорю. — Все так пекут. А чего не так-то?» Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пек-

чи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные. — Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне. — Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью. — Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну, да, в колхозе-то неохота работать, — согласилась старушка. — Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там... Пойду палкой попру. — Старушка поднялась, посмотрела на меня. — Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается... — вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

КАК МУЖИК ПЕРЕПЛАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛКА, КОЗУ И КАПУСТУ

Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:

— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.

Лобастый медленно смеется.

Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь... Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит... Спокойно, верно, обдуманно:

— А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

— Да. Не идут, а бегут, мать их!..

Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!

Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.

— Эх, да не зря бы они бежали! А?

— Да.

Только и всего.

Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я

попросил его рассказать, уложилась у него в такой... компактный, так, что ли, рассказ:

— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться — каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька— только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от этого вот место все выгорело. Она же — сукно — шает, я не учуял. Новенькая шинель.

— Убивали же там!

— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?

— Делают.

— Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, — так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит и по телу ничего не слышно.

...И вот Носатый прет на Лобастого:

— Да их же нельзя вместе-то! Их же... Во дает! Во тункель-то!

— Не ори, — советует Лобастый. — Криком ничего не возьмешь.

Носатый — это не загадка, но тоже... ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.

— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой. — Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — И таков дар у этого человека — я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.

Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колено брить — зачем?

Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.

Да, еще про Носатого... Его фамилия — Суворов.

Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и пришпилил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:

— Кто это такой умный нашелся?!

— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете... — пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.

— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..

— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот...

— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный...

Очкарик побледнел.

— Кто?

— Сказать? Может, носом ткнуть?

Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.

— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.

— За такие шутки надо... не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.

Дурак он. Дурак и злой.

— ...Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов. — Он же ее съест!

— Связать, — предлагает Курносый.

— Кого связать?

— Волка.

— Нельзя, тункель!

— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты...

— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей...

Лобастый упорно думает.

— Как все покричать любят! — изумляется Курносый. — Знаешь — объясни. Чего кричать-то?

— Полные тункели! — удивляется в свою очередь Суворов. — Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?

— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.

— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!

— Волк капусту не ест, — размышляет вслух Лобастый. — Значит, его можно здесь оставить...

— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.

— Не понужай, не запрег.

— Давай дальше! Волк капусту не ест... Правильно начал!

Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.

— Начать — это начать, — бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. — Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?

— Ну!

— Плывем назад, берем капусту...

— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.

— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. — Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.

— А тут волк!

— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки спробует...

Суворов радостно хлопает Лобастого по спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки и пушка на это никак не вздрогнула.

— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. — А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!

— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут — крепко устали, нервные. — Это тебе не высоту брать.

— Сравнил телятину с... — обиделся Курносый.

Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее... И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед... Это — вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.

БОРЯ

В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:

— Пивет, пивет!

Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает — весело. Он вообще добрый.

— Пивет, Боря, пивет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?

Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:

— Матерю с отцом разогнал наш Боря.

— Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?

Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой:

— Босе не бу, не бу, не бу!.. — Больше не будет.

— За што он их?

— Розу не купили! Стал просить матерю — купи ему розу, и все.

— Босе не бу, не бу!

— Ложись теперь и лежи. «Не бу!»

— А мама пидет? — пугается Боря, когда няня уходит.

— Мама пидет, пидет, — успокаивают его больные. — Сам разогнал, а теперь — мама.

В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он — умница. И еще: дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не философствовать в конце — это всегда плохо, — скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей. (Сказать все-таки охота.) Я думал: «Что же жизнь — комедия или трагедия?» Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда: комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы — от Наполеона до Бори — неуклюжие, тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!..» Это тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да. Только ведь уважение — это

дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра — много всякого, но неизменно, всю жизнь — жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать, уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т. п. Но еще — в огромной мере — жалко.

Ну, самая пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много. Целыми днями в палате, в коридоре только и слышалось:

— Пиве-ет! А мама?.. Пидет?

— Придет, Боря, придет, куда она денется. Пусть хоть маленько отдохнет от тебя.

Боря смеется, счастливый, что мама придет.

— Атобус, атобус?.. Да?

— На автобусе, да.

Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает:

— А мама пидет?

Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит:

— Больно!

И потом с восторгом всем говорит, что было больно.

Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама «придет, придет» — больше, сложнее Боря спрашивать не умеет.

Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:

— Боря.

Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел... Я хотел понять: есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся — как это бывает с людьми здравыми — ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем — недоумением, презрением, вызывающим: «Ну?» В глазах

Бори была всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе.

— Мама пидет, — сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу — тоже стыдно.

— Мама пидет? Да? — Боря засмеялся, счастливый.

— Пидет мама, пидет. — Я оглянулся — не наблюдает ли кто за мной? Это было бы ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. «Мама пидет, Боря! Пидет». И все. И идут по своим делам — курить, умываться, пить лекарство. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней, не отваживался еще раз сказать: «Мама пидет». И уйти тоже не мог — мне казалось, что услышу — самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека, — смех в спину себе.

— Атобус? Да?

— Да, да — на автобусе приедет, — говорил я и отводил глаза в сторону.

— Пивет! — воскликнул Боря и пожал мне руку. Хоть умри, мне казалось, что он издевается надо мной. Я встал и ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей — не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом.

Боря умеет подолгу неподвижно сидеть на скамеечке... Сидит, задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю: неужели он злиться умеет? Устроил же скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать, мать подвернулась — мать толканул, отца... Тогда почему же он — недоумок? Это вполне разумное решение вопроса: вымещать на близких досаду, мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет...

В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, узколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, часа два рассказывал мне, как ему сюда вот, в шею, угодила кулацкая пуля... «Хорошо, что рикошетом, а то бы... Так что если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то...» И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что верю ему, что мне очень интересно все это.

Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал, как он врезал теще,

соседу, жене... Что у него паспорт в милиции. «Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они начинают мне...»

Как-то горилла зашел в нашу палату, хохочет.

— Этот, дурак ваш... дал ему сигарету: ешь, говорю, сладкая. Всю съел!

Мы молчали. Когда вот так вот является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове — единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут, в палате, с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что «пацан с веселой душой» заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла «пацана» и стала отчитывать. «Пацан» обругал ее матом. Сестра — к врачу. Распоряжение врача: выписать за нарушение режима.

«Пацан» уходил из больницы, когда все были во дворе.

— До свиданья, урки с мыльного завода! — громко попрощался он. И засмеялся. Не знаю, не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись.

Больница наша — за городом, до автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежней в плечах, поднялись и пошли наперерез «пацану с веселой душой».

Через минут двадцать они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверно, зажмурился левый глаз.

Четверо негромко делились впечатлениями.

— Здоровый!..

— Орал?

— Матерился. Права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывал, что он блатной.

На крыльце появляется Боря и к кому-то опять бросается с протянутой рукой.

— Пиве-ет!

— Пивет, Боря, пивет.

— А мама пидет?

— Пидет, пидет.

Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой... Скорей бы отсюда — куда-нибудь!

ПЕТЬКА КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ

Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит.

Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил «законную» и стал рассказывать. Он, вообще, рассказывать не умеет — торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит (букву «ш» толкает куда-то в передние зубы, получается не то «с», не то «з» — что-то среднее). А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше — не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно.

— Народу-у, мля!.. — У него какая-то дурацкая привычка: чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания.

— Идес, мля, по пляжу — тут баба голая, там голая — валяются. Идес, переступаес через них... — Петька выговаривает: «переступас».

— Совсем, что ли, голые?

— Зачем? Есть эти, как их?.. купальники. Но это ж так — фиксия.

— А ты как? Одетый?

— Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал, как все. Так они что делают, мля: по улице и то ходют вот в таких вот станисках — сортики. Ну, идес, ну — смотрис же. Неловко, вообсе-то...

— Ну да: другая по харе даст.

— Мне там один посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберес, куда смотрис.

— Как это?

— А вот они! На, надень! Ну, надень!

— Ну... Надел.

— Смотри вон на Зойку — баску не поворачивай! Ниже! Смотрис?

— Ну.

— Заметно, куда он смотрит?

— Нет, правда. Во!..

— Заходис вечером в ресторан, берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я те скажу!.. Сердце заходится, сто только выделывают! Так поглядис — вроде совестно, а потом подумаес: нет, красиво! Если уж им не совестно,

чего мне-то совестно? Атомный век, мля, — должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял: бесстыдники, говорит. Ну, его тут же побрили: не нравится, не смотри! Иди спать! А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое оссюсение: полезь на меня пять человек — не страсно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз, мля, ну — красота! Море!.. Пароходы... И, главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое оссюсение: все море поет, мля. Спускаемся — опять в ресторан...

— Так это ж сколько денег просадить можно?! Если тут — ресторан, там — ресторан...

— Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конесно. Мне там один говорит: первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов, там пельменные на каждом сагу.

— Пельмени?!

— Пельмени. Пожалуйста. Три порции — вот так хватает.

— То-то ты полторы сотни уханькал — по ресторанам-то.

— Десевле нельзя. Но сто я вам скажу: нигде ни одного грубого слова! Стобы матерное слово — боже упаси! Только суточки, суточки... Все смеются, сутят. Смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так, идес — видис: врезамсы, паразит! По глазам видно. Но — не сатается. Но вот хохма была! Посли домик Чехова смотреть, ну, надели какие-то тряпосные стуковины на ноги — стоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слусаем... А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом... как заорет: «Это он такой больсой был!» Да как брякнется! — Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя. — Она на каблучках, а хотела подойти поближе — поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то... Ну, мля, все за животики взялись...

— А што за пальто-то? Какое пальто?

— Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил.

— Ссылали, что ль?

— Да зачем! Сам ездил — посмотреть. От он тогда и простыл. Додуматься — в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее спрасываю: «А от чего у него чахотка была?» — «Да, мол, от трудной жизни, от невзгод», — начала вилять. От трудной жизни... Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь...

— Ну, она и была — трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на што было.

— Может, не знал человек, какие тут холода.

Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода, зимой ездил Чехов или летом?

— Знаес, какой у него рост был?

— У кого?

— У Чехова. Метр восемьдесят семь!

Это родных не удивило — знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить.

— Ну а радикулит-то как? Полегчало?

— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился... — Петька встал, нагнулся, выпрямился. — А раньше, если нагнулся, то не разогнесся.

— А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз.

— То — на гору! На гору мне пока тяжело.

— Ну, пора и на боковую, — сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь, — засиделся. — Завтра ставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги?

— Пойду! — с удовольствием откликнулся Петька. — Я наотдыхался.

— Ему теперь — двойную норму ломать надо, — сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края. — Полторы тыщи по-старому за месяц — это...

— А дорога! — воскликнула теща.

— Да, кусаются они, курортики-то.

Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше двухсот рублей.

— Виноват я теперь, если он ко мне извязался?

— Кто тебя винит! — искренне сказал тесть. — Никто не винит. Хворь — она всегда дорого стоит.

На том все и порешили.

Только теща добавила:

— Теперь уж берегись! А то ведь не берегетесь нисколь. Потные, не потные — лезете под машину, на сырую землю спиной. Рази так можно! Возьми да постели куфайку хоть, руки-то не отсохнут. Зато здоровый будешь.

Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой.

Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккурат-

но загасил окурок об край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу — к жене Зое.

Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее... Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил:

— Ты чего?

— Ничего... Не лезь. Их же там много на пляже валялось — чего ты ко мне лезешь?

— Да ты сто, Зой?!

— Ни «сто»! Не лезь, и все. Мало тебе их там было?

Петька даже осердился, хоть редко сердился.

— Дура ты, дура!.. Кому я там нужен? Там без меня хватает — специально этим делом занимаются. Их со мной, сто ли, сравнис?..

Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая.

— Так какого ж ты черта весь вечер сидел только про их и говорил?! Ничего другого не нашлось рассказывать, только — бабы, бабы... Тут бабы, там голые бабы...

— Но если их там много, чего я сделаю?

— Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб! Очки ему даже посоветовали купить... Страмец. Весь вечер со стыда сидела сгорала.

— Дак взяла бы и подсказала! Я ж думал, как повеселей. Не суми зря-то. Зря сумис-то.

— Сумис, сумис... Сюсюкалка чертова!

— Ну, отойди, отойди маленько, — миролюбиво сказал Петька. — Я пока на крыльце посижу, покурю. — В душе он согласился с женой: в самом деле, распустил язык, не нашел, о чем поговорить. Да еще и приврал — с ресторанами-то: за весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные». И танцевали. — Я покурю пойду.

— Иди куда хочешь.

Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила — она такая, Зоя: вспыхнет как порох и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить, что она, не понимает, что ли.

Ночь... Чуть лопочут листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня... И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз... Вспомнились те ночи — далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло. И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля! Пальмы растут на свете; люди пляшут, смеются; большие белые дома — чего только нет!

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка — все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки. То замолчат — тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо... Опять замолчат. Знакомо все, и почему-то волнует.

Петьке хорошо.

СНЫ МАТЕРИ

Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь.

Первый

— Я была ишо маленькая, годов семь так, восемь было. Может, маленько больше. Вижу сон. Вышла я вроде из дома — в тятином дому-то, — а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый: бородка белая, волосы белые. «Поводи, говорит, меня, девочка, по оградке-то, поводи». Я — вроде так и надо — начала его водить. Взяла ослика-то за уздечку да вожу. Осликов-то сроду не видела, а вот приснилось же. Вожу, а сама возьми да подумай: «Дай-ка я у него спрошу, што мне на том свете будет?» Да взяла да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под полы бумажку и подает мне. «Вот, говорит, чего тебе будет». Я взяла бумажку-то, смотрю: она вся-вся исписана. А читать-то я уж умела. Вижу, буковки все наши, а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его ишо маленько покатаю, а потом пойду в избу да и прочитаю ладом. А сердце так вот волнуется!.. Шибко уж я рада, што узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а сама — нет-нет да загляну в бумажку. Не читаю, а так. Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, радовалась — и проснулась. Так обидно, так обидно было, даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне говорит: «Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, чо на том свете будет? Никто не скажет». А я вот все думаю: не проснись я раньше время, можеть, и успела бы прочитать хоть словечка два. Главно, ведь то-

ропилась же я в избу-то!.. И вот — на тебе! — проснулась. Видно, и правда: не дано нам здесь знать про это, не дано.

Второй

— А это уж когда у меня вы были... Когда уж Макара забрали.

— В тридцать третьем?

— Но. Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы — спи-ите себе, только губенки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала — все не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут — заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу — все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?» А там ишо сеничная дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». — «А чего вы ко мне-то? — Это я-то им. — Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно». — «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла... Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всюё так и опахнуло духом каким-то. Прия-атным. Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сяли они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у нее померли две девочки от скарлатины...» — «Ну, есть, говорю. И девочки померли — Валя и Нюра». — «Она плачет об их, горюет». — «Плачет, говорю. Жалко, как же». — «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». — «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. А Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать — маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.

Третий

— А тут вижу: хвораю лежу. А правда хворала-то. Си-ильно хворала. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу, вроде я в тятином дому-то лежу, на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу

хвораю. А вот так вот вскинула глаза-то позадь себя, а они стоят две — Авдотьины девочки-ти, которые померли-то. Стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят — в платьицах в таких, я их хорошо помню, эти платьица. «Ой, говорю, Валенька, Нюронька!.. Да милые вы мои-то, вы откуда же?» — «А оттуда», — говорят. — «Ну и как вам там?» — «Хорошо. Ой, няня Маруся, нам там хорошо!» Ну, знамо, безгрешные душеньки... А потом Валя, постарше которая, вот так вот пальчиком погрозила и говорит: «А куклы-то нам посулила, а сама не сделала». А правда: когда они хворали лежали, я им посулила куклы сделать. Тада ведь купить-то негде было, сами делали да из тряпочек разных платьица шили да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась — лежу зареванная... «Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы». Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье.

Четвертый

— А это уж, как война началась, — тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли — в шалоны сажать. Согнали их туда — видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили — прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз — днем! — прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана... Сварила я похлебку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, спробуй, а то тебе все недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул да как бросит ложку-то и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился — обжегся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил... Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Все, Маня... Неспроста этот сон: обожгусь я там». И — обжегся: полгода всего и пожил-то после этого — убило.

— А вот сон тоже. Лежала я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня и полюбила. Да так привыкла! Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: «Мария Сергеевна, я опять к вам». Давай, милая, все веселей двоим-то.

— Ей что, жить, что ли, негде было?

— Да пошто же! Вот — привыкла. И я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили! А потом она померла: плеврит, а от плеврита печень занялась. Померла, бедная. Я и схоронила ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилёв остров, — город будто бы. Большой-большой город! Да красивый, дома высокие... И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени. Цветы — я даже с этой стороны вижу — так и колышутся, так и колышутся. Ах ты, господи! Сяла я в речку-то да и поплыла туда — сижмя как-то, сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег — никого нету. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-то. Матушка ты моя-то!.. Увидела меня да так обрадовалась, обняла да та-ак крепко прилюбила, я ишо подумала: «Сильная какая — не выхворалась». А она, правда, мало похворала-то, скоро убралась. «Куда же мне идти-то? — спрашиваю ее. — Пошто тут никого нет-то?» — «Есть, говорит, как нету. А тебе во-он туда, — показывает мне. — Во-он, видишь?» Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней, и дома пониже. «А ты где же? — спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваю же: «Ты где живешь?» — знаю, што она мертвая, а вишь, спрашиваю просто: «А ты где?» — «А я, говорит, вот — в центре». Конешно, сколько она и пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место... Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах тот город стоит.

— Тогда телевизоры-то были уже?

— Какие телевизоры! Это когда было-то! — когда ты на действительной ишо служил. А Наташа в институте училась. Вон когда было-то. А што, думаешь, на-

смотрелась в телевизоре и поэтому такой город приснился?

— Но.

— Нет. Я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Што ты!..

ПСИХОПАТ

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, простудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок), но, помимо работы, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города приезжают... В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела... Психопат стиснул зубы и молчал, ему хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал он. — Вы спокойней — как вас учили-то...

— Она ускользает, — пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут? — спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой

кипела вода. Психопат подумал: «Как суп варится из железок, надо же».

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте, — велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо.

— Ускользает... — сказала она.

— Да куда она, к черту, ускользает! — вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли. — Что вам тут, игра в прятушки, что ли? — ускользает... Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку. Он думал: «Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет... Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется».

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. «Как же она училась? — думал он с удивлением. — Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра». Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и все.

Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: «Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется, — нет, непременно надо в медсестры!»

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата

от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

«Буду терпеть, — решил Психопат. — Неделю как-нибудь вытерплю».

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так? — спросил он сквозь зубы. — Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает! — тоже осердилась сестричка.

«Она же еще и сердится!»

— Прекратите! — Психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем. — Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась. Покраснела.

— Ну а как же? — спросила.

— Да как, как!.. — Психопату тут же и жаль ее стало. — Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю... — Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили...

— Я все правильно делаю. — Сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением. — Всем так делаю — ничего...

— Ну, всем, всем... — сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: «В люди вышла». — Ну, давайте, что теперь...

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца... Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство, — сказал он, чуть не плача. — Ну идиотство же полное!.. Позовите врача.

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача! — требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку и раздражаясь все больше и больше. — Это идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — Он кричал на сестру; и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал: жаловаться пошла, потому что он выражается — «идиотизм».

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в дерев-

не, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат и еще в тот раз, когда врач принимал его.

— Что тут у вас? — Да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный. Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, копей куют, а я укол пришел делать...

— Ну-ну, — прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда, — поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету! — закричал ему в бородку Психопат. — Будем мы когда-нибудь хоть уколы-то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился. — Ну что же, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось... Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! — Психопат показал на сестричку. — Дядя доктор с бородкой... научили бы! Или сами тоже не умеем?

«Дядя доктор» сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь! — сказал он строго. — Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже! — не унимался Психопат. — Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут... черт знает что, конюшня.

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!.. — все кричал Психопат. — А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж... ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать? — спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эх-х... — Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога: — Ду ю спик инглишь, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма

пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи. — Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно: — Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж — снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его.

— Работайте, — недовольно сказал доктор. И вышел из кабинетика.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся — он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите, — сказал Психопат искренне, — я накричал там... Но я не виноват — больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу, — сказал молодой доктор на ходу. — Температура какая сейчас?

— Я не мерил, — ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот... — Доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт. — А возмущаемся... Толстой. При чем здесь Толстой-то? — спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо. Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал: пе мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я... что их не помнят?

— Это вы-то помните? — удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет? — Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор счел, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так... странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем? — спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать? — Доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Уколы, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!.. — Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата. — Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет. — Психопат пооглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой, на краешек. — Не умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается? — спросил ироничный доктор.

— Да во всем. — Психопат прямо и просто смотрел на доктора. — Вы — врач, — продолжал он рассуждать спокойно, — ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы... вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки... Да ведь мне уколы нужны-то! — Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: — У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли, — тоже терпеливо заговорил доктор, — есть такие особенные вены, которые...

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор. — Психопат встал. — Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот... — Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой, — это вот... тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка, — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на «ты» перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни... Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит — хмурится важно... Та хоть краснеет, а этот... важный. Гос-

поди, боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Когда же мы так пришлепаем-то! Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то... не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так... обнаглели, что ли? Институт кончил... Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как... А тут все есть, а живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Все? — спросил доктор жестко. И встал. — Выйдите отсюда. — Он еле сдерживал себя. — Выйдите, я прошу. Я требую!

— «Я требую!..» — передразнил его Психопат. — Эхх... А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой. Он требует. Ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди! Бородки хотят носить... Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно...

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю, — сказал учитель, улыбаясь. — А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что... Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь... с неистребимой энергией: кроме работы, ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается...

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю точно, может, классов восемь... Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой...

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет... А иногда попадет на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот... никто же не просит ходить по деревням — ходит, свои деньги тратит...

— Но у него же покупают... Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот... подвижник. Раздает много книг... В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге... А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его... а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал — охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек... Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили...

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают, привыкли... А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал... И спросил...

— Слушай, а как думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли, — удивился учитель. — Не думаю. Может быть, «Жилина и Костылина», и то вряд ли. Да нет, такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков, — достает. Убеждение там колоссальное... Может, потому и кричит на всех.

Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати... А, говорил уже. — Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил... И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил: — Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?

— Да нет, говорю же тебе... Побеседовали просто в больнице. — Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

КЛЯУЗА

Опыт документального рассказа

Хочу тоже попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы — невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи — написать только так, как было на самом деле, — я, не задумываясь, подробно описал бы ее внешность... Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, — я думал: буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что есть. Стало быть, лицо — пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому, видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: «Слушайте!..» Значит, смотрел же я в это лицо, а вот — не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так — на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга... Что же с ненависти спрашивать!

Да и теперь, если уж говорить всю правду, не хочу я вспоминать ее лицо, не хочу. Это я ради документальности решил было начать с того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать, если бы надо было, а тут... так, отшибло память, и все.

Но — к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам, извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала — писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Ах ты...» Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то — что́ ОНА там написала. Я догадывался, что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк покажи — сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

«Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им. Сеченова».

Я не знал, как надо: «главврачу» или «директору», но подумал и решил: лучше — «директору». Если там «главврач», то он или она, прочитав: «директору», подумает: «Ну уж!..» Потому что, как ни говорите, но директор — это директор.

Я писал дальше:

«Объяснительная записка.

Хочу объяснить свой инцидент...»

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова «инцидент», а у меня — вот оно, извольте: резкое, цинковое

словцо, которое и само за себя говорит, и за меня говорит: что я его знаю.

«...с работником вашей больницы...»

Тут опять вот — «вашей»... Другой бы подмахнул — «Вашей», но я же понимаю, что больница-то не лично его, директора, а государственная, то есть общее достояние, поэтому, слукавь я, польсти с этим «Вашей», я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: «Э-э, братец, да ты сам безграмотный». Или — еще хуже — подумает: «Подхалим».

Итак:

«Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким «заявлением» и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра...»

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что «задним числом, я как-то по-человечески не могу...». Вот это «по-человечески» мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких «оргвыводов». Я даже подумал: «Может, вообще не писать?» Ведь получается, что я, благородный человек, все же — пишу на кого-то что-то такое... В чем-то таком хочу кого-то обвинить... Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА небось не раздумывала! И потом, что значит — обвинить? Я не обвиняю, я объясняю, и «оргвыводов» не жду, больше того, не требую никаких «оргвыводов», я же и пишу об этом.

«В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (шести и семи лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение — почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное — не объяснение даже — ворчание: «Ходют тут!» Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: «Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в порядке». Пятидесяти копеек у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею «давать»: мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой пятидесяти копеек».

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. «Да до каких пор!..» — подумал я.

«Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее: «Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!»

Честное слово, так и просили все... У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. «Ну!..» — подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю... Наоборот, я сделал «фигуру полной беспомощности» и выразил на лице большое огорчение.

«После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату...»

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как в репродуктор: «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!» Народу было полно; все смотрели на нас.

«При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать — уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось».

О, ЕЙ это не понравилось, да; все смотрели и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал — я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти...»

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал, что — все, конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствово-

вал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ... Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек». Вот — смотрел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал — гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. «О-о!.. — думал я про себя. — А вот — пусть!.. А то только и знают, что грозят!» Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть... И правая рука дергалась — не вся, а большой палец, у меня это бывает.

«Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я уехал бы отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это — мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: «Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?» При этом — не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что «на их папу кричат», а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в шесть часов вечера) ко мне приехали из Вологды писатель В. Белов и секретарь Вологодского отделения Союза писателей поэт В. Коротаев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В шесть часов они приехали — она не пускает. Я опять вышел... Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что — есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили...»

В вестибюле в то время было еще двое служителей — она, видно, давала им урок «обращения», они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично и как-то неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: «Да есть же пропуск!.. Пропуск же!..» ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: «Пропуск здесь — я!» Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое, — немолодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: «А то — побежа-али!.. К дежурному врачу-у!.. — Это ОНА мне. — Я побегаю! Побегаю

тут!.. Марш на место! — Это опять мне. — А то завтра же вылетишь отсудова!» Эх, тут мы снова, все трое, — возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! «Как это — «вылетишь»?! Как это! Он больной!..» — «А вы — марш на улицу! Вон отсудова!..»

Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

«Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси...»

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали... И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим, — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую, — с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может, ЕЙ много раз заявляли вот так же: возьму и сделаю!.. А не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это мое трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга... И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: «Э-э, куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я, как Тарас Бульба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки... Хорошо, что больничный костюм был теплый, а без шапок многие ходят... Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: «У меня же ведь еще хроническая пневмония... Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление». Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: «И пусть».

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье, я скоро увидел зеленый огонек...

Все это я и рассказал в «Объяснительной записке». И когда кончил писать, подумал: «Кляуза вообще-то...» Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал свой ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то «Объяснительную записку» сожалею теперь, — а подумал: «А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА».

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская, клиника пропедевтики, Главному врачу.

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила: «К нему я вас не пущу». На вопрос «почему?» — она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что «может сделать, но не сделает», что «другим сделает, а нам не сделает». Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно — он сказал, уходя: «Завтра с меня шоколадка». (Мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись.)

В. М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В. М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры

в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2 декабря с. г.

Ответственный секретарь Вологодской писательской организации *В. Коротаев.*
Писатель *В. Белов.*

И — число и подписи.

...Прочитал сейчас все это... И думаю: «Что с нами происходит?»

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь? — удивился старик Ванин. — Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А-а, ну, ну... верно же! — вспомнил и Дерябин. — Дом-то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и — Николашкин.

— А я думаю: пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: «Переулок

Николашкин», а Николашка — всего-навсего поп. — И посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница, — сказал тот.

— Большая разница. — Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумал.

Задумал же он вот что.

Вечером, поздно, сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать:

«Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по-старому отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли, — Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький! А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации.

Активист».

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

«В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз! — сказали мы между собой. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю

Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать — Дерябинский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!»

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «переулок Николашкин», а так: «переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно.

На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке, — сказал он напоследок. — Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворешни сострою с крылечками.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать-то?

— А чего они там советуют? — спросил Дерябин в плохом предчувствии. — Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше?.. Может, Овражный?

— Еще чего! — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился: — Лучше уж Кривой...

— Кривой? А что?.. Он, правда что, кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил

с «Кривым»-то, что надо — в честь кого-нибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло, — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. — Вот дураки-то!.. Назло буду писать — «Николашкин».

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по-прежнему шлют письма: «переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу».

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сростки. В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12—13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам — это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на

просторных полатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно как-то, нараспев — и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, — никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дуст посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: резкий, сухой, мгновенный... Както от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть... Но тут же все пронеслось — ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на проща-

ние, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего так угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще-то страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их двое там...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной — близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на

нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь — он свое сделает.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Приехал в отпуск в село Борис Яковлев... Ему — под сорок, но семьи в городе нету, была семья, но чего-то разладилось, теперь — никого. Вообще-то, догадывались, почему у него — ни семьи, никого: у Яковлева скверный характер. Еще по тем временам, когда он жил в селе и работал в колхозе, помнили: вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах, вечно подоспеет с ехидным сло-

вом... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны норовит, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда человек неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет. Он и походил на ястреба: легкий, поджарый, всегда настороженный и недобрый.

У него тут родня большая; мать с отцом еще живые... Собрались, гульнули. Гуляли Яковлевы всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то зять с тестем, то кумовья — по старинке — засопят друг на друга. Это все знали; что-то было и на этот раз, но не так звонко — поустали, видно, и Яковлевы.

Сам Борис Яковлев крепок на вино: может выпить много, а не качнется, не раздерет сдуру рубаху на себе. Не всегда и поймешь, что он пьян: только когда приглядишься, видно — глаза потемнели, сузились, и в них точно вызов какой, точно он хочет сказать: «Ну?»

Был он и на этот раз такой.

В доме у него еще шумели, а он, нарядный, пошел к новому клубу: там собралась молодежь, даже и постарше тоже пришли — ждали: дело воскресное, из района должна приехать бригада художественной самодеятельности, а вместе с районными хотели выступить и местные — ну, ждали, может, интересно будет.

Яковлев подошел к клубу, пооглядывался... Закурил, сунул руки в карманы брюк и продолжал с усмешечкой разглядывать народ. Может, он ждал, что к нему радостно подойдут погодки его или кто постарше — догадаются с приездом поздравить; у Яковлева деньги на этот случай были в кармане: пошли бы выпили. Но что-то никто не подходил; Яковлев тискал в кулаке в кармане деньги и, похоже, злился и презирал всех. Наверно, он чувствовал, что торчит он тут весьма нелепо: один, чужой всем, стоит перекидывает из угла в угол рта папиросину и ждет чего-то, непонятно чего. Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать всем, какой он — нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в городе — один! — однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже имеет в виду, сам себе хозяин (он сварщик), что тишина эта сельская ему как-то... не того, не очень — по ушам бьет, он привык к шуму и к высоте. Наверно, он хотел вскользь как-нибудь, между прочим,

между стопками в чайной, хотел бы все это рассказать, это вообще-то понятно... Но никто не подходил. Погодков что-то не видно, постарше которые... Черт их знает, может, ждали, что он сам подойдет; некоторых Яковлев узнавал, но тоже не шел к ним. А чего бы не подойти-то? Нет, он лучше будет стоять, презирать всех, но не подойдет — это уж... такого мама родила. В его сторонку взглядывали, может, даже говорили о нем... Яковлев все это болезненно чувствовал, но не двигался с места. Сплюнул одну «казбечину», полез за другой. Он смотрел и смотрел на людишек, особенно на молодых ребят и девушек... Сколько их расплодилось! Конечно, все образованные, начитанные, остроумные, а хоть бы у кого трояк лишний в кармане! Нет же ни шиша, а стоя-ат, разговоры ведут разные, басят, сопляки, похохатывают... Яковлев жалел, что пришел сюда, лучше бы опять к своим горлопанам домой, но не мог уж теперь сдвинуться: слишком долго мозолил глаза тут всем. И он упорно стоял, ненавидел всех... и видом своим показывал, как ему смешно и дико видеть, что они собрались тут, как бараны, и ждут, когда приедет самодеятельность. Вся радость — самодеятельность! Одни дураки ногами дрыгают, другие — радуются. «Ну и житуха! — вполне отчетливо, ясно, с брезгливостью думал Яковлев. — Всякой дешевизне рады... Как была деревня, так и осталась, чуть одеваться только стали получше. Да клуб отгрохали!.. Ну и клуб! — Яковлев и клуб новый оглядел с презрением. — Сарай длинный, в душу мать-то... Они тут тоже строят! Как же!.. Они тоже от жизни не отстают: клуб замастырили!»

Так стоял и точил злость Яковлев. И тут увидел, идут: его дружок детства Серега Коноплев с супругой. Идут под ручку, честь по чести...

«Ой, ой, — стал смотреть на них Яковлев, — пара гнедых. Как добрые!»

Сергей тоже увидел Яковлева и пошел к нему, улыбаясь издали. И супругу вел с собой; супругу Яковлев не знал, из другой деревни, наверно.

— Борис?.. — воскликнул Сергей; он был простодушный, мягкий человек, смолоду даже робкий, Яковлев частенько его, бывало, колачивал.

— Борис, Борис... — снисходительно сказал Яковлев, подавая руку давнему дружку и его жене, толстой женщине с серыми, несколько выпученными глазами.

— Это Галя, жена, — все улыбался Сергей. — А это

друг детства... А я слышал, что приехал, а зайти... както все время...

— Зря церкву-то сломали, — сказал вдруг Яковлев ни с того ни с сего.

— Как это? — не понял Сергей.

— Некуда народишку приткнуться, смотрю... То бы хоть молились.

— Почему? — удивился Сергей. И Галя тоже с изумлением и интересом посмотрела на шикарного электросварщика. — Вот... самодеятельность сегодня... — продолжал Сергей. — Поглядим.

— Чего там глядеть-то?

— Как же? Спляшут, споют. Ну, как жизнь?

Яковлева вконец обозлило, что этот унылый мерипок стоит лыбится... И его же еще и спрашивает: «Как жизнь?»

— А ваша как? — спросил он ехидно. — Под ручку, смотрю, ходите... Любовь, да?

Это уж вовсе было нетактично. Галя даже смутилась, огляделась кругом и отошла.

— Пойдем выпьем, чем эту муть-то смотреть, — предложил Яковлев, не сомневаясь нисколько, что Серега сразу и двинется за ним. Но Серега не двинулся.

— Я же не один, — сказал он.

— Ну, зови ее тоже...

— Куда?

— Ну, в чайную...

— Как в чайную? Пошли в клуб, а пришли в чайную? — Сергей все улыбался.

— Не пойдешь, что ли? — Яковлев все больше и больше злился на этого чухонца.

— Да нет уж... другой раз как-нибудь.

— Другого раза не будет.

— Нет, счас не пойду. Был бы один — другое дело, а так... нет.

— Ну пусть она смотрит, а мы... Да мы успеем, пока ваша самодеятельность приедет. Пойдем! — Яковлеву очень не хотелось сейчас отваливать отсюда одному, невмоготу. Но и стоять здесь тоже тяжко. — Пошли! По стакашку дернем... и пойдешь смотреть свою самодеятельность. А мне на нее... и на всю вашу житуху глядеть тошно.

Сергей уловил недоброе в голосе бывшего друга.

— Чего так? — спросил он.

— А тебе нравится эта жизнь? — Яковлев кивнул на клуб и на людей возле клуба.

— Жизнь... как жизнь, — сказал он. — А тебе что, кажется, скучно?

— Да не скучно, а... глаза не глядят, в душу мать-то, — накалялся Яковлев. — Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на Сергея: то есть он и его, Сергея, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?

Сергей выправился с годами в хорошего мужика: крепкий, спокойный, добрый... Он не понимал, что происходит с Яковлевым, но помнил он этого ястреба: или здесь кто-нибудь поперек шерсти погладил — сказал что-нибудь не так, или дома подрались. Он и спросил прямо:

— Чего ты такой?.. Дома что-нибудь?

— Приехал отдохнуть!.. — Яковлев уж по своему адресу съехидничал. И сплюнул «казбечину». — Звали же на поезд «Дружбу» — нет, домой, видите ли, надо! А тут... как на кладбище: только еще за упокой не гнусят. Неужели так и живут?

Сергей перестал улыбаться; эта ехидная остервенелость бывшего его дружка тоже стала ему поперек горла. Но он пока молчал.

— У тя дети-то есть? — спросил Яковлев.

— Есть.

— От этой? — Яковлев кивнул в сторону толстой, сероглазой жены Сергея.

— От этой...

— Вся радость, наверно, — допрашивал дальше Яковлев, — попыхтишь с ней на коровьем реву, и все?

— Ну а там как?.. — Сергей, видно было, глубоко и горько обиделся, но еще терпел, еще не хотел показать это. — Лучше?

— Там-то?.. — Яковлев не сразу ответил. Зло и задумчиво сощурился, закурил новую, протянул коробку «Казбека» Сергею, но тот отказался. — Там своя вонь... но уж хоть — в нос ширяет. Хоть этой вот мертвечины нет. Пошли выпьем!

— Нет. — Сергей, в свою очередь, с усмешкой смотрел на Яковлева. Тот уловил эту усмешку, удивился.

— Чего ты? — спросил он.

— Ты все такой же, — сказал Сергей, откровенно и нехорошо улыбаясь. Он терял терпение. — Сам воняешь ездишь по свету, а на других сваливаешь. Нигде не нравится, да?

— А тебе нравится?

— Мне нравится.

— Ну и радуйся... со своей пучеглазой. Сколько уже настрогали?

— Сколько настрогали — все наши. Но если ты еще раз, падали кусок, так скажешь, я... могу измять твой дорогой костюм. — Глаза Сергея смотрели зло и серьезно.

Яковлев не то что встревожился, а как-то встрепенулся; ему враз интересно сделалось.

— О-о, — сказал с облегчением. — По-человечески хоть заговорил. А то — под ру-учку идут... Дурак, смотреть же стыдно. Кто счас под ручку ходит!

— Ходил и буду ходить. Ты мне, что ли, указчик?

— Вам укажешь!.. — Яковлев весело, снисходительно, но и с любопытством смотрел на Сергея. — На тракторе работаешь?

— Не твое поганое дело.

— Дурачок... я же с тобой беседую. Чего ты осердился-то? Бабу обидел? Их надо живьем закапывать, этих подруг жизни. Гляди!.. обиделся. Любишь, что ли?

С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за больное собеседника.

— Люблю, — сказал Сергей. — А ты свою... что, закопал, что ли?

Яковлев искренне рассмеялся; он прямо ожил на глазах. Хлопнул Сергея по плечу и сказал радостно:

— Молоток! Не совсем тут отсырел!.. — Странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку. — Нет, не удалось закопать: их закон охраняет. А у тебя ничего объект. Где ты ее нашел-то? Глаза только... Что у ей с глазами-то? У ней не эта?.. болезнь такая с глазами есть... Чего она такая пучеглазая-то?

Сергей по-деревенски широко размахнулся — хотел в лоб угодить Яковлеву, но тот увернулся, успел, Сергей ударил его куда-то в плечо, не больно. Яковлев этого только и ждал: ногой сильно дал Сереге в живот, тот скорчился... Яковлев кулаком в голову сшиб его вовсе с ног. И спокойно пошел было прочь от клуба... Его догнали. Он слышал, что догоняют, но не поворачивался до последнего мгновения, шел себе беспечно, даже «казбечину» во рту пожевывал... И вдруг побежал, но тут же чуть отклонился и дал первому, кто догонял, кулаком наотмашь. Пер-

вому он попал, но догоняло несколько, молодые... Хоть и умел Яковлев драться, его скоро сшибли тоже с ног и несколько попинали, пока не подбежали пожилые мужики и не разняли.

Яковлев встал, сплюнул, оглядел всего себя — ничего существенного, никаких особых повреждений. Отряхнулся. Он был доволен.

— Ну, вот... — сказал он, доставая «Казбек», — хоть делом занялись... — Яковлев насмешливо оглядел окруживших его мужиков и молодых парней. — А то стоят ждут свою самодеятельность дурацкую.

— Иди отсюда, — посоветовали ему.

— Пойду, конечно... Что же мне, тоже самодеятельность, что ли, с вами стоять ждать? Кто выпить хочет? Парни...

Никто не изъявил желания пить с Яковлевым.

— Скучно живете, граждане, — сказал Яковлев, помолчав. Сказал всем, сказал довольно проникновенно, серьезно: — Тошно глядеть на вас.

— Еще, что ли, дать?

— Надо было, — сказал кто-то из пожилых мужиков. — Зря разняли.

— Не в этом дело, — сказал Яковлев. — Скучно, — еще раз сказал он, сказал четко, внятно, остервенело. Сунул руки в карманы шикарных брюк, пожевал «казбечину»... И пошел.

Еще немного постояли, глядя вслед Яковлеву... Повспоминали, какой он тогда был — всегда был такой. Они все, Яковлевы, такие: вечно недовольные, вечно кулаки на кого-нибудь су́чат...

Тут как раз приехала самодеятельность. И все пошли смотреть самодеятельность.

ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ

В нервной, шумливой семье Худяковых — происшествие: народился младенец по имени Антон. То-то было волнений, крика, когда их — роженицу и младенца — привезли домой... Радовались, конечно, но и шумели, и нервничали тут же — стыдились радоваться: у Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая: отец Николай

Иванович, сухой, пятидесятилетний, подвижный, как юноша, резкий... Шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна, обычно крикливая, но не злая. Сын их Костя, двадцатитрехлетний, слесарь, тоже нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит — мало говорит — старается найти слова сильные, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И наконец, дочь Алевтина, двадцатилетняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумливая, но добрая и доверчивая, как овца. Она-то и родила Антона. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж теперь-то нервничать: знали же, ждали же... Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались — на то они и Худяковы, крикуны, особенно отец.

— Ну, х-орошо, ну, л-л-л... это... ладно, — кричал отец, — если он не хочет прийти, то х-оть скажи: кто он?!

Алевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила... Николай Иванович из себя выходил, метался по комнате. Лариса Сергеевна — это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно, — не кричала, а спокойно налаживала кроватку, распоряжалась насчет пеленок, распашонок... Она, как видно, свое откричала раньше. Костя... У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец взволновал его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру губили радость. Он тоже хотел бы знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка смастерил, и глаз казать не хочет?

— Подожди ты, не кричи, — сказал он отцу, — чего криком достигнешь?

— Достигалы! — закричал и на него отец. — Вы всего достигаете!.. Вон вы чего достигаете — в подолах приносить. Радуйтесь теперь!..

— Ну и... все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то криком?

— Я хочу знать: кто?! — Отец резко крутнулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты. На кухню. Он не мог совладать с отчаянием. — Как добрым, отдельную квартиру дали!.. — вовсе уже бессмысленно кричал он оттуда. — Нет, они начинают тут... Тьфу!

— Алька, — приступил к допросу Костя, приступил, как ему казалось, спокойно и умно, — скажи мне, я один буду знать: кто?

— Иди ты к черту! — закричала на него заплаканная Алька. — Не скажу! Не ваше дело.

— Не наше?! — закричал и Костя. И уставился на сестру, и смолк, в поисках сильного справедливого слова. — А чье же? Не наше?.. Зануды вы!.. Дуры! — Он тоже резко повернулся и ушел на кухню.

— Ну, что за дуры такие!.. — повторил он уже на кухне, при отце. И стал закуривать. — Убивать таких...

Отец, засунув руки в карманы брюк, стоял у окна, обиженно смотрел на улицу.

— Вырастили дочь, — сказал он. — Хоть беги теперь от позора... С кем она дружила-то? — опять повысил он голос. И повернулся к сыну. — Не знаешь?

— Откуда я знаю?

— «Откуда я знаю»! Черти... Засмеют теперь, людям только дай повод. Эх-х!..

Они долго молчали, курили, невольно прислушиваясь к возне там, в комнате. Маленький Антон молчал.

— Парень-то крепкий уродился, — сказал отец страдальческим голосом.

— Ну и пусть растет, — невольно поддался было Костя мирному, хоть и горькому настроению. — Что теперь сделаешь?

— Ну, нет! — взвился опять отец. И вскочил, и заходил по тесной кухне. — Это они... сильно легко жить собрались! Черта с два! Так не бывает. — Он помолчал, еще походил немного, остановился перед сыном. — Ты вот что: когда успокоимся, ты как-нибудь подъехай к ней... Хитростью как-нибудь. Не может быть, чтобы нельзя узнать... Что, в чужой стране, что он? Поумней как-нибудь... Не кричи, а поспокойней. То, се, мол, может, привет передать... Да не может быть, чтобы нельзя было узнать! Я его приведу, подлеца, и — посом в пеленки, как кота: вот теперь твое место здесь, здесь... Гады золотушные. Ишь, научились как!.. Прямо не жизнь, а малина. Ну, нет!..

— Да что нет-то? Что нет-то? — рассердился вдруг Костя на отца. — Что сделаешь-то?

— Что сделаю? Приведу и поселю здесь жить: вот тебе, друг ситный, твоя семья: жена и сын.

— А он пошлет тебя... И все. И ничего ты не сделаешь.

Отец строго уставился на сына... Но, видно, и сам тоже подумал: а что действительно тут сделаешь?

— Сде-елаем, — сказал он обещающе, но развивать эту мысль дальше не стал, — нечего развивать, вот и не

стал. Сел, закурил опять. Курил и смотрел в пол безнадежно. Пальцы рук его чуть тряслись.

Косте стало жалко отца. Ничего он не сделает, подумал он. Что он может сделать? Покричит-покричит, а будет все, как есть. Но если пожилой отец ничего не может сделать, тут же подумал Костя, то мне-то грех оставлять беззащитными сестру и племянника. Это уж... извините. И решил Костя: не надо кричать, не надо суетиться, надо спокойно, железной рукой восстановить справедливость. Эти волосатики, правда что, собрались легко жить! (Почему-то он был уверен, что отец Антона — какой-нибудь из этих, каких он часто видел во дворе с гитарой.) Самого Костю как-то миновало это поветрие — трясти космами и до одури бренчать на гитаре, он спокойно презирал обтянутых парней, сторонился и следил только, чтобы у него с ними не случилось драки: волосатики ходили стадом и не стыдились бить кучей одного.

Костя решил, что он все равно узнает, кто отец Антона. А там уж видно будет, что делать.

И Костя узнал.

Дня через три, когда все малость успокоились, он потихоньку перерыл сумочки сестры, карманы ее пальто и курточек — и нашел что искал: записную книжку. В книжке — номера телефонов. Костя стал внимательно изучать эти номера. Тут были телефоны подружек, рабочие телефоны (Алевтина работала на почте), телефоны каких-то тетей... Но того, что было нужно, не было. Тогда Костя набрал телефон первой попавшейся подружки Алевтины. Светы какой-то...

— Света? — спросил он вежливо.

— Да-а, — пропел в ухо ему голосок. — Кто это?

— Света, это брат Алкин... Слушай сюда, у нас же это... прибавление...

Света молчала.

— Знаешь, да? — продолжал Костя игриво.

— Да, — сказал в ухо голосок. — Знаю.

— А чего же он не звонит? А?

— Кто, Игорь?

— Да, Игорь-то. Чего он?

— Но они же... — Света, видно как, спохватилась, помолчала и сказала: — Я не знаю.

— Что «не знаю»? Чего ты хотела сказать?

— Не знаю...

— А кто он, этот Игорь?

— Не знаю.

Все, теперь она не слезет со своего «не знаю». Ну, хватит и того, что успела сказать.

— Что же вы такие, Света? — спросил Костя как можно спокойнее. И сжал трубку, аж пальцы побелели.

— Какие? — удивилась Света.

— Да лахудры-то такие... Что, совсем, что ли, дуры полные?

Света положила трубку.

Игорек... Ну, держись, Игорек... Собака!

Костя походил возле телефона-автомата... Как умней повести дело? Надо же этого Игорька еще добыть!

«Э! — догадался Костя. — Да эти же и знают, с гитарами-то. Чего я?..»

И он подошел к одному, к тоскливому... Этот тоскливый был, видно, с похмелья по воскресному делу, сидел один на скамеечке под березой, устало и одинаково смотрел перед собой — ждал, что ли, кого.

— Что такой задумчивый? — спросил Костя, присаживаясь на скамейку.

Тоскливый повернулся к нему... Глаза круглые, неглупые, несколько усталые, но тотчас засветились любопытством и неким немым ожиданием.

— А чего? — спросил он.

«Да нормальные люди! — успел подумать Костя. — Напускают только на себя...»

У этого, тоскливого, даже и волосы-то не такие уж длинные, правда — усы...

— Ты этого... Игорька знаешь? — прямо спросил Костя. — С сеструхой-то который...

Тоскливый некоторое время с интересом смотрел на Костю — не то что изучал, но и не скрывал интереса. Усмехнулся.

— А тебе что?

Костя заволновался, но прищемил свое волнение зубами... Тоже смотрел на усатого, старался усмехнуться, но не знал: усмехается или нет? Очень уж он как-то сразу взволновался.

— Пошли выпьем? — сказал Костя. И суетливо сунулся в карман, чтобы этим жестом успокоить усатого — что не трепется, что деньги есть. Но деньги не стал показывать, ибо заметил, что усатый утратил интерес к нему: видно, как поторопился он с этой выпивкой.

«Ну, а как, как? — в отчаянии соображал Костя. — Как же?»

— Прикупить, что ли, хочешь? — спросил усатый. И отвернулся. Но снова повернулся. — Зачем тебе Игорька-то? — спросил.

Тут Костя взмолился:

— Слушай... прости с этой выпивкой — сам не знаю, чего я... Прости. — Он даже тронул трясущейся рукой усатого по колену. — Я хочу спросить Игорька: будут они... сходиться-то?

Усатый опять смотрел на Костю, и опять глаза его круглые слабо осветились жизнью: опять ему стало интересно. Он усмехнулся.

— Не будут, — сказал он.

— Почему? — спросил Костя. Он хотел бы тоже усмехнуться, но не знал: получается у него усмешка или нет. — А зачем же тогда ребенка-то?..

— Это ты у сестры спроси, — молвил резонно усатый. И отвернулся. Интерес потух в его круглых глазах.

Мгновение Косте казалось, что он кинется на усатого, вцепится ему в горло... но он помолчал и спросил:

— Неужели ребенка-то?.. Хоть бы посмотрел. Что уж тут, съедят, что ли, вашего Игорька? Чего боитесь-то?

— Кто боится? — спросил усатый удивленно.

— Да вы боитесь. — Костя понял, что нечаянно угодил в слабое место усталой души усатого. — Чего же прячетесь, если не боитесь?

Усатый долго молча смотрел на Костю... И Костя смотрел на него, и ему удалось презрительно усмехнуться, он это почувствовал.

— Ну и поганцы же!.. — сказал он презрительно. — Чуть чего, так в кусты. Джельтмены, мать вашу... Твари.

Усатый задумался... Скосил глаза куда-то мимо Кости и даже губу покусал в раздумье.

— Мгм, — сказал он. — Я могу дать адрес Игорька... Но вечером ты выйдешь и расскажешь, как вы там поговорили. Так есть?

— Есть, — поспешно согласился Костя. — Расскажу.

— Мичурина, двадцать семь, квартира восемнадцать. Но не забудь, вечером расскажешь.

...Костя летел на Мичурина и твердил в уме: «Двадцать семь, восемнадцать, двадцать семь, восемнадцать...» Почему-то взял страх, что забудет, а записать — ручки с собой нет. Ни о чем другом не думал, твердил

и твердил эти цифры. Только когда пришел к дому двадцать семь и стоял уже перед дверью, на которой табличка — 18, тогда только перевел дух... И тут обнаружил, что очень волнуется, так волнуется, как никогда не волновался: даже сердце заболело. Нет, надо успокоиться, решил Костя, а то... что же я такой сделаю там? Он походил перед дверью... Не успокоился, а, сам того не желая, не сознавая даже, нажал кнопку звонка.

Дверь открыла моложавая еще женщина, очень приятная на вид... Открыла и смотрела на Костю.

— Игорь дома? — спросил Костя спокойно. Он поразился в душе своему вдруг спокойствию. Только что его чуть не трясло от волнения.

— Нету... — Что-то такое было, наверно, в глазах Кости, что женщина не закрыла дверь, а смотрела на него вопросительно, даже встревоженно. — А вы... вам зачем он?

Костя пошел прямо на женщину... Она невольно посторонилась, и Костя прошел в квартиру. По коридору навстречу ему шел мужчина в спортивном костюме, лет так пятидесяти пяти, с брюшком, но с таким... аккуратным брюшком, упитанный, добродушный. Но хоть лицо его добродушное, в эту минуту оно тоже было несколько встревоженное. Он тоже вопросительно смотрел на Костю.

— Я к вашему Игорю, — сказал Костя.

— Но нет же его, — чуть раздраженно сказала сзади женщина.

— А где он? — Костя стал в коридоре между мужчиной и женщиной — отцом и матерью Игорька, как он понял. — Мне его срочно надо.

— А что такое? — спросил мужчина.

— Он скоро придет? — в свою очередь спросил Костя. Спросил почему-то у женщины.

— А что такое? — опять спросил мужчина.

Костя повернулся к мужчине и долго, внимательно смотрел ему в глаза. Тот не выдержал, шевельнул плечом, коротко — поверх Кости — глянул на жену, потом опять на Костю.

— В чем дело-то, вы можете объяснить? — потребовал он строго.

Костя стиснул зубы и смотрел на мужчину.

— У Игоря... у вашего, — заговорил он дрожащим от обиды, от горькой обиды и ярости голосом, — родился сын. Но Игорь ваш... не хочет даже... Игорь ваш прячет-

ся, как... — Костя не досказал, как кто, но он знал — чувствовал — он здесь сейчас скажет все: как на грех, стоял перед ним — сытый благополучный человек, квартира большая, шуба дорогая висит на вешалке, шляпа на вешалке, сверху...

— То-о есть? — как-то даже пропел мужчина. — Как это?

— Что, что, что?.. — несколько заполошно зачастила сзади женщина. — Что?

— У Игоря вашего родился сын. Но Игорь ваш... не на тех нарвался! — У Кости прыгали губы; все здесь — эти изумленные, сытые люди, квартира богатая — все предстало в его сознании как мир недобрый, враждебный, он весь стиснулся, скрутился в злой, крепкий комок. Он мог бы — готов был — дать ногой в аккуратный живот мужчине.

— Не на тех нарвался ваш Игорь! — повторил Костя. В этот миг ему бросилась в глаза медная ступка с пестиком, что стояла на тумбочке в коридоре, он отметил, что она стоит тут, это придало Косте уверенности. Он даже несколько успокоился.

— Ну-ка, пройдемте сюда, — сказал мужчина. И повернулся и ушел в дверь направо из коридора. — Идите сюда! — сказал он уже из комнаты громко.

Костя повернулся к женщине и сказал:

— Идите, чтобы вы тоже знали... — и показал рукой на дверь, куда ушел мужчина.

Женщина (она была так растеряна, что покорно повиновалась) пошла в комнату.

Когда она зашагнула за порог двери, Костя прошел мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака; пестик был небольшой, аккуратный, тяжеленький. Он оттянул полу пиджака, но надо специально приглядываться, чтобы это заметить.

— Ну-ка, по порядку, — велел мужчина, когда Костя вошел в большую красивую комнату с рыбками на подоконнике. — Не волнуйтесь, не... Толком расскажите, в чем дело? Кто вы такой?

— Человек, — сказал Костя, опускаясь в мягкое кресло. С пестиком он себя чувствовал уверенно, как с наганом. — Ваш Игорек... Я еще раз вам говорю: ваш Игорек стал отцом, но хочет, как гад, ускользнуть в кусты. Я повторяю: у него этот номер не пройдет.

— Да кто вы такой-то?! — чуть не со слезами вскри-

чала женщина; она поняла, что это правда: ее Игорек стал отцом, и она готова была зареветь от ужаса.

— Погоди, — остановил ее муж. — Ну-ка, — терпеливо, но уже и недобро стал он расспрашивать, — наш Игорь стал отцом... То есть у него родился ребенок? Так?

— Так. Антон.

— А кто мать... Антона?

— Моя сестра.

— Боже мой! — воскликнула опять миловидная женщина. И уставилась на Костю с мольбой и отчаянием. Косте показалось даже, что она увидела оттянутую полу его пиджака и вот-вот взмолится, чтобы их не убивали. — Да какой же он отец?!

— А кто твоя сестра? — продолжал допрашивать мужчина; он заметно сердился. И чем больше он сердился, тем опять спокойнее становился Костя, спокойнее и ожесточенней.

— Тоже человек, — сказал он, глядя в глаза мужчине.

— Я тебя дело спрашиваю, сопляк! — взорвался мужчина. — Чего ты!.. Пришел здесь, понимаешь!.. Чего ты ломаешься сидишь? Пришел — говори дело. Кто твоя сестра?

— Че-ло-век, — сказал Костя. Руки его ходуном ходили — охота было уже выхватить пестик, но он еще сдерживал себя.

— Молодой человек, — взмолилась мать, — да вы расскажите все, зачем же мы злимся-то? Расскажите спокойно.

— Я не знаю, почему ваш муж обзываться начал, — повернулся Костя к женщине. — За сопляка я еще... мы еще про это тоже поговорим. Моя сестра... ей двадцать лет, она работала... пока не забеременела... Теперь она туда, конечно, не пойдет. От позора. Работала на почте. Мы люди простые... Мы люди простые, — повторил с глубокой внутренней силой Костя, глядя на мужчину, — но Игорек ваш от нас не уйдет. Лично от меня не уйдет. Ясно?

— Ясно, — сказал мужчина. И встал. — Вот оттого, что ты, сопляк... я повторяю: сопляк, пришел и взял сразу такой тон, я с тобой говорить отказываюсь. Тоже ясно? Я буду говорить с твоей сестрой, с отцом, с матерью, я тебе приказываю — вон отсюда! — И показал рукой на дверь. Он был властный человек.

Костя встал... И вынул из кармана пестик. И сразу без слов пошел на мужчину. Вмиг лицо мужчины сделалось серым... Он попятился назад, к рыбкам... Нахмурился и смотрел как зачарованный на медный пестик в руке Кости. Женщина не сразу поняла, зачем Костя встал и пошел... Зачем вынул из кармана пестик, она это тоже как-то не поняла. Она поняла все, когда увидела лицо мужа... И закричала пронзительно, жутко. Костя оглянулся на нее... И тотчас полетел на пол от крепкого удара в челюсть. Мужчина прыгнул на него, заломил назад его правую руку и легко вырвал пестик.

— Вон ты какой!.. — сказал он, поднимаясь. — Вставай! Садись сюда.

Костя поднялся, сплюнул сукровицей на ковер... Посмотрел на мужчину. Глаза Кости горели безумием и отвагой.

— Все равно убью, — сказал он.

Мужчина толкнул его в кресло. Костя упал в кресло, ударился затылком об стенку. Но продолжал смотреть на мужчину.

— Убью... из ружья. Подкараулю и убью, — повторил он.

Мужчина с пестиком в руке сел напротив, заговорил разумно и спокойно:

— Хорошо, убьешь. За что?

— За то, что породили такого бессовестного... такую тварь бессовестную. Кто так делает? — Косте хотелось заплакать и кинуться на разумного мужчину. — Кто так делает?! — закричал он.

— Что делает? Как делает?

— Как ваш сын...

— А сестра твоя как делает? — жестко и справедливо спросил мужчина. — Она же совершеннолетняя.

— Она дура!

— Что значит «дура»? Дуру не возьмут работать на почту.

— Она жизни не знает... Много надо, чтобы их обмануть! Нет, — постучал Костя худым кулаком по своей острой коленке, — пока они не распишутся и не будут жить нормально... до тех пор я вам жизни не дам. Сам погибну, но вам тоже не жить. Сам все сделаю, сам! Сам буду судить!.. За подлость.

Мужчина внимательно и тяжело смотрел на него. Долго молчал.

— Не пугай ты меня, не пугай, — сказал Костя на

это тяжкое молчание. — Не испугаешь. Убить — можешь... Дай вон пестиком по голове и в багажнике вывези куда-нибудь...

— Господи, да что же это такое-то! — тихо, с ужасом воскликнула опять женщина. — Да о чем вы говорите?!

— Мне жизнь не такая дорогая, как вашему красавцу... Но ему не жить, если он не сделает по-человечески! — Костя опять с силой ударил кулаком по колену. — Не жить! Я жить не буду, отец убьет вас: он знает, куда я пошел...

— Кто твой отец? — спросил мужчина.

— Человек. Чего тебе все надо: кто? Кто? Человек, кто! Пуза у него, правда, нет вот такого... — Костя посмотрел на аккуратный арбуз мужчины, обтянутый синим спортивным свитером.

— Сейчас ты оставишь свой адрес и уйдешь, — сказал мужчина. Встал и подошел к столу — записать адрес. — Говори.

— Я не уйду отсюда, пока не дождусь вашего Игорька... Потом мы пойдем вместе, я его суну носом в пеленки — он будет знать, где теперь его дом и семья.

— Да какой он семьянин! — не то с изумлением, не то невольно со смехом, с горьким, правда, смехом сказала мать. — Он только первый курс закончил... Ему еще четыре года учиться.

— Будет работать и учиться, — заметил на это Костя. — Ничего страшного.

— Давай адрес! — опять стал злиться отец. — Я приду говорить с твоим отцом. А ты человеческих слов, я вижу, не понимаешь.

— Ваш подонок зато понимает человеческие слова... Красивые, наверно, слова! Я не двинусь отсюда, пока его не дождусь.

— Да нету его, нету! — тоже громко и сердито воскликнула мать, оскорбленная за «подонка». — Что же, милицию, что ли, вызвать?

— Вызывайте.

— Но нет его! Нету в городе — в деревне он.

— Врете.

— Говори адрес!.. — заорал мужчина, багровея.

— Не ори, — посоветовал Костя. — А то живот лопнет...

Мужчина бросил ручку, бросил пестик, который еще держал в руке, быстро подошел к Косте, сгреб его за ши-

ворот и повлек по коридору к входной двери. Но как ни крепок он был, мужчина, все же Костя был молодой и жилистый... Он сперва покорно пошел, повинуясь руке, а когда мужчина расслабился и уже без усилия вел Костю за шкирку, тот вдруг вывернулся, развернулся и со всей матушки-силы дал ногой мужчине в живот. Тот так и сел к стене на корточки... Женщина закричала, вылетела из коридора в какую-то еще комнату к телефону, как понял Костя, потому что услышал, как схватили трубку и крутнулся диск. Костя вернулся в красивую комнату с рыбками, взял пестик и вышел опять в коридор.

— Не надо! — хоть с трудом, но громко сказал мужчина. Костя думал, что он ему говорит, но мужчина смотрел мимо него и еще раз крикнул: — Ольга, не надо!

Женщина появилась в коридоре. Тоже закричала:

— Но это же бандитизм. Почему не надо?! Это же бандитизм!..

— Не надо, — решительно сказал мужчина. Он поднялся, держась за стенку, постоял, пережидая боль в животе... Вздохнул и качнул головой. И скрипнул зубами. На Костю с пестиком не смотрел.

— Пойдем к отцу вместе, — сказал он после долгой паузы. — Дай одеться, Оля.

Костя жалел, что пнул мужчину — он сам не ждал, что так случится, — зато теперь хоть дело стало походить на дело: с отцом-то им легче будет захомутать этих жеребцов — Игорька с его папашей. Впрочем, чувство враждебности к отцу Игорька у Кости поослабло — оставалось одно нетерпеливое желание: довести справедливое дело до конца.

Когда мужчина надел костюм и появился в коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко; стоял солидный мужчина, решительный, крупный, крепкий.

— Пошли, — сказал он Косте. — Пестик-то оставь.

Костя положил пестик на стул перед самым выходом из квартиры.

— Где ваш дом? — спросил мужчина, когда стояли у лифта, ждали кабину.

— На Советской.

— Как туда ехать?

— Да тут три квартала...

Лифт подъехал... Вошли в кабину, закрылись, мужчина нажал кнопку — мягко поехали вниз. Стояли близко друг к другу, так близко, что Косте было неловко

смотреть в глаза мужчине. А тот смотрел на него. Но Костя тоже старался не утратить самостоятельности и решительного настроения. Единственное, о чем он пожалел в эту минуту, — что он не такой же крупный и солидный, как этот, который смотрит на него несколько сверху. Костя часто жалел, что он не крупный, не солидный.

— Сколько тебе лет? — спросил мужчина.

— Не в этом дело, — сказал Костя.

Тут лифт мягко остановился — точно сел на подушки — очень хороший лифт... Вышли, спустились несколько вниз по ступенькам и очутились на улице.

— А чего ты так ерепенишься-то? — спросил мужчина.

— А чего же мне на вас, молиться?

— Да не молиться, кто тебя заставляет молиться. Но так же тоже... умные-то люди не ведут себя.

— Ваш Игорек зато ведет себя... Комсомолец небось!

— Из всякого безвыходного положения всегда можно найти выход, запомни это.

— Что, деньги небось будете совать?

— Дурак, — сказал мужчина горько. — Психопат. И сестра твоя такая же?

— Что же вы умные... — Костя даже остановился от возмущения и от обиды. — Ишь, умные! — Костя сам теперь в упор смотрел на мужчину. — Умники... — Он стиснул зубы и клятвенно сказал: — Я вам раз и навсегда говорю: не сделаете по-человечески, я...

— Пошли, — коротко и тоже решительно сказал мужчина, повернулся и пошагал дальше. — От горшка два вершка, а сплошные угрозы. Сопляк.

Некоторое время шли молча.

— Что же это за семья будет, если мы их силой сведем? Вы об этом-то подумали? — спросил мужчина.

— А он думал?..

— Да что ты, как дятел, — «он, он»! А она?

— Она девка! А он — парень!

— Не ори... — Мужчина посмотрел по сторонам. — Чего ты орешь? Я вообще могу не ходить с тобой...

— Выломлю штакетину и погоню вперед... Если не пойдешь. — Вид у Кости был такой свирепый, что можно было не сомневаться — так и сделает: выломит штакетину и учинит на улице драку.

— Тьфу!.. Полудурок. Да неужели ты не можешь спокойно-то?

— Не могу. Не могу-у! Я как только погляжу на твою спокойную... на твое лицо, так у меня в голове все мутится: как ты-то можешь спокойно? Человечек же на свет родился... маленький... а вы, как... Да вы что!

— Все, не ори больше. Иди молча.

Дальше до самого дома шли молча.

Дверь открыл отец... Костя легонько подтолкнул сзади мужчину, вошел сам в квартиру, закрыл дверь и сказал:

— Дедушку привел нашего Антона.

— Здравствуйте, — серьезно, с достоинством сказал мужчина, дедушка Антона. — Я Свиридов, Павел Владимирович.

— Так, — сказал отец Кости. — А мы Худяковы. — И смотрел на Свиридова пристально, прямо, не мигая.

— Ну, приглашайте, — сказал Свиридов. — Показывайте внука.

Из кухни вышла мать Кости и смотрела на Свиридова изумленно и с интересом.

Вышла из комнатки, где теперь жил маленький Антон, мама его, Алевтина... И смотрела на крупного дядю с недоумением. Она не слышала слов брата, что тот привел «дедушку», поэтому не могла понять, почему так странно все стоят и молчат.

— Где же внук-то? — еще раз довольно бодро спросил Свиридов.

— Какой внук? — тихо спросила Алевтина.

— Мой внук...

— Это отец Игоря, — пояснил Костя.

— Какого Игоря?

— Твоего Игоря... Отца Антона.

— Во, псих-то, — сказала Алевтина. И ушла в комнатку. — Чего ты самодеятельность-то развиваешь? — сказала она из комнаты. И опять появилась на пороге. — Какой Игорь?

— Ты не темни!.. — громко сказал Костя. Он растерялся, это было видно.

— Чего «не темни»?

— Он — отец Игоря, — уже не так уверенно сказал Костя, — а Игорь — отец Антона. Что ты?

— Да откуда ты взял? — спросила Алевтина. — Чего ты людей зря беспокоишь, дурак ты такой! Ну надо же!.. При чем тут Игорь-то?

— Погодите, погодите, — сказал Свиридов. — Давайте разберемся: вы были знакомы с моим сыном? С Игорем Свиридовым.

— Была знакома... Я знала его. Но дружил он не со мной, а с моей подругой, тоже на почте работала.

— Значит, это не его сын?

— Откуда?!

— А чей же он тогда сын?! — заорал Костя.

— Костя, — сказал отец. — Не ори. Ну, выяснили? Все, значит, в порядке... Извините, что зря побеспокоили.

— Да ну что!.. — сказал Свиридов по-доброму. — Дело разве...

— Да врет она! — опять закричал Костя. — Не хочет говорить: договорились с этим Игорем!

— Не ори, Костя! — тоже повысил голос отец. — Чего орать-то? Извините, — еще раз сказал он Свиридову. — Мы, конечно, переживаем тут, поэтому и...

— Нет, — обратился Свиридов к Алевтине, — может быть, правда, вы что-то скрываете? Может быть, Игорь...

— Да ни с какого боку! — сказала Алевтина. И даже засмеялась. И пошла в комнату. — Господи!.. — сказала она там сама себе. Она, как стала матерью, сразу как-то поумнела, осмелела, часто баловалась со своим Антоном и смеялась.

— Ну, что же... — Свиридов повернулся к Косте. — Я могу быть свободен?

Костя, миновав его, молча прошел на кухню. И заорал оттуда что было силы:

— Все равно дознаюсь! Доз-на-а-ю-усь!

— До свидания, — вежливо сказал Свиридов.

Отец молча кивнул.

Свиридов ушел.

— Не я буду, дознаюсь! — еще раз крикнул Костя срывающимся голосом. Он плакал. Он устал за этот день... Очень устал и изнервничался. — Други игрищ и забав нашлись мне... Паразиты.

— Ладно, Костя, — мирно сказала мать. — Не переживай. На кой он черт нужен, такой отец... если и найдется! Что, сами, что ли, не прокормим? Прокормим.

— Никто так не делает, — возразил Костя, вытирая слезы. — Кто так делает!

— Ну, не делают!.. Сплошь и рядом. Садись поешь вон... а то бегаешь, как сыщик, с лица опал даже. Что ты-то переживаешь?

Костя присел к столу, склонился на руку и задумчи-

во смотрел в окно, во двор. Еще надо выходить вечером объясняться с этим... с усатым, думал он. Возьму нож и пойду — пусть сунутся.

— Не переживай, Костя, — сказала мать, ставя ему миску со щами. — Сами вырастим.

«Не нож, а гирьку какую-нибудь на ремешке, — решил Костя. — За нож самому попадет, а с гирькой... на гирьку они тоже не очень кинутся».

— Други игрищ и забав, — еще сказал он. Он где-то услышал эти слова, они ему понравились: в его сознании все косматые выстраивались под этой фразой, как под транспарантом, — в колонну, не в колонну даже, а в кучу, довольно нахальную и бессовестную.

«Нет, не гирьку, а — нож, — вернулся он к первому варианту. — Все страшней будет. На нож не полезут». Был у него такой складной охотничий нож, довольно внушительный и ловкий в руке — не сунутся. На том он и порешил и придвинул к себе тарелку со щами.

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК...

Вот как бывает... Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курили в курилке... У него больное сердце, ему тоже не надо бы курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что — да, не надо бы... И спокойно курит. Мы про это курево много толкуем в курилке — иронизируем.

— Не пей, не кури, — насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник, — а чего же тогда остается?

Тут чуть не хором все:

— По одной доске ходи — на цыпочках!

— Смоли да к стенке станови.

— А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость?! Куда я теперь без этого?

Наговоримся так, накуримся всласть, и пойдут разговоры в сторону от курева, в жизнь вообще: разные случаи вспоминаются, разные смешные истории... А иногда и не смешные. Один был — сухонький, голубоглазый, все покашливал... А покашливал очень нехорошо: мелко, часто — вроде прокашляется, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может

вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия — он не нуждался в нем. Один раз он отматерил какого-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел с сострадательным поучением:

— Вам бы не надо курить-то...

— А чего мне надо? — спросил тот, глядя серьезно на полосатого.

— Ну, как?.. Не знаю, чего надо, но курить...

— Не знаешь, тогда не вякай, — просто сказал больной человек с синими глазами. — А то много вас — с советами... — И он еще сказал полосатому несколько разных слов — выругался, но ругался беззлобно, не грязно — получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил — за все, и за то, что под конец пришлось еще сидеть и вот так «кафыкать» и терпеливо ждать. Но он же и понимал, что жизнь его, судьба, что ли, — это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бессмысленно, и он не злился. Он рассказал, например:

— Пришел с войны, из госпиталя, тут — никого: мать померла в войну, так, брата убило, отец еще до войны помер. А домишко, какой был, сломали: какую-то площадку надо было оборудовать для обороны... под Москвой здесь... Так? А я на костылях — одна нога по земле волокется. Нанялся лед на реке рубить. Костыли вот так вот зажму под мышки, ногу эту неподвижную — назад, чтоб по ей топором не тяпнуть, упру костыли в ямки, наклонюсь — и долбаю, пока в глазах не потемнеет. А потом — сижа: костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть — и тоже... А жил у сторожихи одной, у старушки. У ей у самой-то... с тамбур жилья, но уж... куда тут деваться. На полу спал, из двери — по полу — холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просыпаюсь от холода, иду забор потихоньку тревожить: доски три оторву — и в камелек. А она, сторожиха-та — так: глянет выйдет и снова к себе. Один раз проснулся — ее нету. Я оделся и покостылял к забору... Только оторвал одну доску, слышу — бах! Аж щепки полетели от забора у меня над головой — дробью саданула... — Рассказывая это, синеглазый все покашливал, и это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся — хотел, чтоб это выглядело забавно и мы бы

тоже посмеялись. Но — засмеялся и закашлялся и так, покашливая и посмеиваясь, досказал:

— Я кричу: Глебовна, ить я это! Ну, услышала голос, узнала... Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову угодила. Я, говорит, думала лезет кто. А чего там брать! Эти... заводы-то демонтировали и свозили, и валили пока в кучу — железо...

— Ну да, у ней же инструкция!

— Конечно. Стрелять еще умела!..

— Она боевая была старуха, — продолжал синеглазый весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом; он вовсе не жаловался. — Много мне порассказывала ночами, пока, бывало, у камелька-то сидим. А уж к весне мне общежитие дали — легче стало.

— Ну, и нога, наверно, стала поджинать.

— Ногу я еще года полтора после этого... Главно, болеть не болит, а двигать ей не могу.

— Это многие тогда так, года по три с костылями ходили.

— Да...

Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам, я не слышал, чтоб рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону, он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал:

— Ворона достала сыр, так, села на ветку — и хочет уже его... это... клевать. Тут лиса: спой. А ворона ей: а ху-ху не хо-хо? Зажала сыр под крыло и говорит: теперь давай потолкуем. Тогда лиса...

Тут подошла его очередь звонить.

— Вам, — сказали ему.

Он скоренько сунул монетку в узенький ротик телефона-автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверно, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе.

А потом я звонил... Я говорил, а краем глаза видел синеглазого: он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными, печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел.

Этой же ночью он умер.

Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей... И почему-то сразу кольнуло в сердце: наверно, он. Выглянул из палаты в коридор — точно: стоит в коридоре такой телевизор, возле него лю-

ди в белых халатах, смотрят в телевизор, некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там, в синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и оставляет за собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка-светлячок все прыгает, прыгает... То высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал... теперь уж труп; телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, — чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме ли, в душе ли: что же это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем все?» Вон уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно.

НОЧЬЮ В БОЙЛЕРНОЙ

Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя — сантехник, а вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третьи выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные-то смены он очень любит.

Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных!.. И вот — ночь: магазины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затосковал так, что хоть криком кричи... Да мало ли! Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти, в круглосуточные-то, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? К дяде Ване, в бойлерную. Там у него уютно, тепло... Трубы, много труб, в трубах тихонько поет и потрескивает, как

в печке. Огонек тусклый под потолком... Возле стены, в нише, удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка.

В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое... Лицо у него — доброе, смышленое, немного усталое, но бесконечно доброе, в глазах, в морщинках вокруг глаз — столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что — куда же и спускаться с больной-то душой? К нему и спускались.

Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен... Ему было тяжело, грустно.

— Здорово, Максимыч, — сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул.

— Здорово, Николай Семеныч, — откликнулся Максимыч.

Некоторое время молчали.

— Душа? — спросил Максимыч.

Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул.

— Тут, брат... и душа, и тело, все вместе, — сказал он. — Есть что-нибудь?

— А как же. — Максимыч встал и пошел в угол куда-то. — Коньячку? — спросил оттуда. — Или водки?

— Давай коньячку, — сказал Пилипенко. И огляделся кругом. — Хорошо тут у тебя... В напарники возьмешь?

Максимыч тихо посмеялся.

— Чего смеешься?

— Да насчет напарника-то... Тут, Семеныч, оклад не тот.

— Нет больше окладов, — жестко сказал Пилипенко. — Конец окладам.

Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках.

— Неужели разжаловали?

— Поперли, а не разжаловали.

— Как же это?

— Наливай, — махнул Пилипенко; ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось.

Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам; он не лез с расспросами, когда человеку худо. Захочет — сам скажет.

— Уволили, — сказал Пилипенко. — Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но... Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь? Хотя... чушь все это. Давай.

Они выпили по целой рюмке и заели лимончиком, который тоже случился у «сантехника» Максимыча.

— Одного не понимаю! — горестно воскликнул Пилипенко. — Не справляюсь — так и скажи! Скажи! Зачем же... предлог какой-то искать: скажи прямо, я пойму. Нет!.. — Пилипенко крепко стукнул большим кулаком себя по колену. — Надо обязательно предлог найти. — Он встал было, но тут же сел. Велел: — Налей еще по одной. — Когда он сел с маху, хиленький стул опасно треснул под ним; нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать: «Ты не справился» — в обморок не упадет. Странно, что такой огромный мужик — «не справился».

— Какой же они предлог нашли? — спросил Максимыч.

— Самый что ни на есть дурацкий: злоупотребляете служебной машиной.

— Жена куда-нибудь ездила? По базарам небось?

— Да нет, сам: вызвал в воскресенье и просто так проехал километров полтораста по северной дороге — вздохнуть пару раз свежим воздухом. Вздохнул!..

— А шофер наябедничал, — догадался умный Максимыч.

— Ну да... расписал. Писака. А если мне сосредоточиться надо? Если мне в движении лучше думается?..

— Да сел бы вон на любую электричку, — простодушно сказал Максимыч, — и сосредотачивайся сколько влезет. Вы вот, начальство... тоже какие-то дурные бываете: нет, чтобы скромностью своей в нос людям тыкать: вот вам, глядите: большой человек, а со всеми маленькими здороваюсь. А где так и остановись, спроси: «Как дела?» Тебе эти его дела... сто лет снились, а ты все равно спроси. — Максимычу хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко, но он и досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте — слетел. — Мало того, ты еще головой вот так вот покивай: так, так, мол. Но вы ведь... До вас не допрыгнешь! — вовсе с досадой закончил Максимыч. И налил еще по полной рюмке. — Давай. Не горюй особо-то...

Выпили.

— Да некогда же! — тоже с досадой сказал Пилипенко. — Головой-то кивать — некогда.

— Зато теперь будет время: попрут вот на пенсию...

— Ну, это еще бабка надвое сказала! — Пилипенко твердо посмотрел прямо перед собой. — Это еще... уравнение с двумя неизвестными.

— Все равно не умеете! — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове, и ему тоже захотелось быть твердым и крепким. — Не умеете начальствовать! Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой — и ты бы поглядел, какой бы я стал вежливый... «Ну, как, товарищи? — спросил он кого-то иным голосом, вежливым. — Как настроение? Смотрите мне — не вешать нос!» Я бы такие шуточки отпускал!.. Чего же не пошутить с людьми, если тебе лучше ихнева живется. А зазевался какой-нибудь там Пилипенко Николай Семеныч — плохо работает, сукин сын, курит больше, я его вот так вот пальцем — к себе: «Пилипе-е-нко, на минуточку. Пилипенко, как ты думаешь: подойдем мы с такими работниками к коммунизьму или нет? М-м? Ты, наверно, думаешь, что — подойдем. А вот я, Пилипенко, думаю, что мы с такими работниками застрянем где-нибудь по дороге. Ну-ка, давай, голубчик, давай, давай!.. Бросай-ка курить — да за дело». Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой... Вишь, я и голоса не повысил, и работу направил. А захотел я подышать свежим воздухом, я набрал в чемодан коньячку, икорки, балычков, сел на электричку, отъехал те же полтораста верст, слез, углубился подальше в лесок — и дыши на здоровье.

— Скучно это, Максимыч. Вообще, не то ты говоришь.

— С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет.

— Не то, Максимыч, не то. Еще-то есть там? Не могу никак душу унять — болит!

— Заболит... — Максимыч налил еще по рюмке. — Как же ей не болеть.

— Не то, Максимыч, дорогой, не то. Ты рассуждаешь логично, но... в масштабах прораба, не больше.

— А ты в каких масштабах? Держи.

— Я? Я малость пошире.

— Пошире... А сидим вот тут вместе — в одинаковых масштабах. Поехали.

Когда выпили, Пилипенко вдруг встал и широко заходил по бойлерной.

— Ну не-ет, — сказал он ожесточенно, громко. — Так

легко вам Николая Пилипенко не свалить. Это вы зря... Пилипенко еще постоит!

Максимыч в это время закурил дорогую сигарету из пачки Пилипенко, откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось как-нибудь успокоить его, но, вообще-то, ему стало очень хорошо.

— Украинцы — народ крепкий, — сказал он, желая сделать приятное Пилипенке. — Но ездить за сто пятьдесят километров воздухом дышать — это глупость несусветная. Ты больше бензину наглотался за триста-то верст, чем подышал там...

— Ничего-о! — все ходил и все больше возбуждался Пилипенко. — Вы еще вспомните Пилипенку, не раз вспомните. Вы еще придете к Пилипенке!.. Но Пилипенко больше к вам не пойдет.

— Нет, если позовут — чего не пойти. Только не надо больше за сто пятьдесят километров дышать ездить, а так... чего? Ты мужик с головой.

— Не пойду! — уперся Пилипенко. — Все. Хватит. У меня тоже всякого этого достаточно — и самолюбия, и...

— Да нет, Семеныч, зря ты...

— Не пой-ду! Вы плохо знаете Пилипенку. Вы думаете, это все — так, шуточки...

— Какие шуточки! При чем тут шуточки — надо идти.

— Не пойду!

— Что значит «не пойду»! — рассердился вдруг Максимыч. — Что тебя, в детсадик, что ли, уговаривают идти? Не пойдет он... Заставим!

Пилипенко остановился перед «сантехником» Максимычем, который сидел и спокойно покуривал «Кент».

— Гляди-ка, — засмеялся Пилипенко, — мы прямо отрепетировали с тобой сцену!.. Жалко, что ты не министр.

— Жалко, — согласился Максимыч. — Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье, во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал. Увольнять я бы тебя не стал. Тебя правда уволили-то?

Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную влетел некто в шляпе, в легоньком пальтишке, с чемоданом. Бледный.

— Максимыч! Ты сегодня? Слава богу. — Говорил

этот бледный с веселой злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он и ему тоже кивнул. — Здравствуйте, Максимыч!..

— Давай, давай, — сказал Максимыч. И налил бледному человеку в большой фужер. И налил также в две рюмки — себе и Пилипенке.

— Подождите, — сказал бледный, — у меня, кажется, шоколад есть. — Он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада. — Есть! Слава богу.

Пилипенко с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком.

— Катастрофа катастрофой, а шоколад не забыл? — сказал он.

Бледный посмотрел на него... Ничего не сказал. Подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер.

— Давайте, — сказал Максимыч.

Выпили... Помолчали. К шоколаду никто не притронулся.

— Ты что, обиделся, что ли? — спросил Пилипенко.

— Максимыч, — обратился бледный к «сантехнику», — пускай это постоит у тебя. — Он имел в виду чемодан. — А я пока пройдусь по набережной... Потом приду.

— Валяй пройдись, — сказал Максимыч.

Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пилипенку.

— Что он, обиделся, что ли? — опять спросил Пилипенко.

— Обиделся. Нехорошо ты с насмешкой-то... Он вообще обиженный человек.

— А что такое?

— Так...

— Что «так»?

— Ну так... Хороших людей часто обижают.

— Что за ерунда! Кто их обижает?

— Люди. Ты вот — взял обидел.

— Да ну уж!.. Пошутить нельзя, что ли? А какие люди-то?

— Есть.

— Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно... Но я же не хотел обидеть: тоже, смотрю, переживает человек... Чего он такой? Какие люди-то?

— Всякие... Бессовестные в основном. Приходют и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть?

— Рога, что ли, баба ставит?

— Рога... или как там, а только флиртует, зараза, с кем попало.

— Ах, это его жена! — такая... патлатая. Да?

— Да.

— Так что же он не уйдет от нее?

— Да вот, вишь, не может уйти. Не все же такие... Пилипенки. Ты не пропадешь, Семеныч, не горюй.

— Кто тебе сказал, что я пропаду?

— Не пропадешь, нет. А этот — все: окочурился.

— А чего не уходит-то?

— Не может. Уходит — раз в неделю вот так вот: счас улочки две даст, придет и здесь заночует. А утром — опять к ней. Любит.

— Тьфу! — зло сказал Пилипенко. — Кого там любить-то? Патлы крашеные?

— Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает... — Максимыч затушил «Кент» в блюдечке, помолчал, покачал головой грустно. — А что сделаешь?

— Да послать ее надо подальше!.. — стоял на своем крейсер Пилипенко.

— Да иди ты! — рассердился Максимыч. — Тебе бы все — посылать!.. Тебя вот послали — тебе как? Послать легче всего. Да и то вон... не может. Ну — послал он, ну и что? Легко ему станет?

— Ну, это уж тоже не жизнь.

— Жизнь. Это и есть жизнь. Думаешь... — Вдруг Максимыч прислушался... И встал. И сказал: — Вот еще один такой же шлепает.

— Кто?

— Погоди. — Максимыч еще для верности послушал. — Да. С тросточкой.

— Кто такой?

— Пан профессор, это я его так прозвал. Тоже... с душой идет. Счас, если выпьет, с одной рюмки окосеет.

— Правда, что ли, профессор? — не поверил Пилипенко.

— Натуральный профессор, из седьмого подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он... этот, как там у них, ну, по русскому языку профессор...

— Филолог?

— Труды пишет. А сам, как ребенок... Ты только не надо, Семеныч... не ломи сдуру: тут уж вовсе... горе одно. А человек золотой.

Вошел «пан профессор» с тросточкой. Он — седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький.

— Не могу больше, Максимыч!.. — сразу заговорил профессор жалобно. Увидел Пилипенку, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал: — Не могу больше, дорогой мой. Пришел к тебе опять — больше некуда. — Он сел на лежак, склонил голову. — Вот штука — некуда.

Максимыч пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил в три рюмки. Одну поднес профессору.

— На-ка, все маленько отмякнет.

Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее.

— Выпей, выпей, — убежденно сказал Максимыч. — Легче станет. Вот шоколадом закусишь... Допекла?

— Допекла, — сказал профессор, принимая из рук Максимыча кусочек шоколада. — Да ведь сколько энергии! Сколько энергии!..

— Ну, давайте.

Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и заел шоколадом. И вытер платочком глаза и рот.

— Днем ей позвонили из универмага: есть норковая шуба — три с половиной тысячи, — стал рассказывать профессор обоим, Максимычу и Пилипенке, — она звонит мне в университет...

— Ешь шоколад-то... и рассказывай.

— Спасибо.

— Ну, звонит?

— Звонит в университет... У-у, меня что-то в жар кинуло. Или здесь вообще жарко?

Максимыч без ехидства подмигнул Пилипенке и показал глазами на профессора: уже запьянел.

— Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михалыч, спокойней. Ну, звонит эта телка в универмаг?..

— В университет. «Достань полторы тысячи». Две тысячи у нее есть...

— Так, это уже легче, — с легким накалом сказал Максимыч. — Хм!

— Но где я достану полторы тысячи? — удивленно и беспомощно спросил профессор. — «У кого-нибудь из профессоров». У ко-го?

— Елкина мать-то! — взорвался терпеливый Макси-

мыч. — «Достань полторы тыщи!» Это я могу сказать: «Достань мне... не знаю... жеребца племенного!»

— Зачем? — не понял профессор.

Пилипенко засмеялся.

— Да я так, к слову, — неохотно пояснил Максимыч. — Ну, ну?

— Ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег, не может быть... И потом: идет ученый совет — что мне, со шляпой по кругу?..

Максимыч недобро посмеялся.

— Кричит в телефон: «Вообще она стоит четыре с половиной тысячи, это мне по знакомству, потому что шубу привезли из Дома моделей. Достань полторы тысячи!» Ну что делать? Что делать? Боялся домой ехать... Конечно — истерика. О господи! — Профессор обреченно уронил голову на грудь. — Что делать?..

— Ты, Михалыч, ты прости меня, но это тебе наказание, — сказал Максимыч. — На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней? На тридцать лет моложе!.. Ну, умная ты голова, — это нормально?

— Не знаю... Нет, ненормально. Наказание, да, наказание. Я боялся одиночества...

— Мало тебе старух? — все не унимался в своем разгоне Максимыч. Но тут уж вмешался Пилипенко:

— Ну, это ты тоже — со старухами-то... Для чего она ему?

— Обед сготовит, подметет...

— «Подметет». Ерунду говоришь какую-то.

— А эта для чего ему? — не сдавался Максимыч.

— Но что теперь делать? Что делать? — в отчаянии повторял профессор. Вытер платком слезы. — Вся жизнь... труд всей жизни — самому смешны и нелепы: куда важней — норковая шубка. По крохам, по зернышку собирал знания, радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи... И все, все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку! Но ведь никто же так скоро не заплатит. А завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. Слушайте, вы, — обратился профессор к Пилипенке, — вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина...

— Приезжала, — поправил Максимыч.

— Погоди, — строго остановил его Пилипенко. — Ну, так? Что вы хотели сказать?

— Я спрашиваю вас: почему у нас существует спекуляция?

— А почему у нас, — сразу без подготовки заговорил Пилипенко, — существуют университеты? Почему у нас существуют метро, театры, детсадики, бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание?..

— Он про спекулянтов спрашивает! — удивился Максимыч. — Ты что?

— А я спрашиваю про университеты. Почему — одно мы видим, так сказать, крупным планом, а все другое... всего другого — как бы даже и нету.

— Да кто же говорит, что нету! Есть... Все есть. Но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг полторы тысячи, я через месяц верну — у меня книга выходит.

— Если бы у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал, — жестоко сказал Пилипенко.

— Почему? — удивился профессор.

— Ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей черта еще нужно?

— Она хочет норковую шубку...

— А больше она ничего не хочет? — взорвался Максимыч. — Дрын хороший она не хочет? По этой... по...

— Погоди, — остановил Пилипенко «сантехника». Пилипенко успокоился и даже отрезвел. — Профессор, что вы сказали: «Любую рукопись отдам за норковую шубу»?

— Любую! — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. — Самую древнюю рукопись!.. «Слово о полку Игореве», если бы имел, отдал бы, только бы не эта истерика, не этот визг. Все бы отдал! Только — наличными: завтра, до одиннадцати часов. Полбиблиотеки отдам — у меня уникальная библиотека. Хотите?

— Профессор, — с укоризной сказал Пилипенко.

— Душу запродам черту!.. — У профессора у самого, кажется, начиналась истерика. — Только бы не этот визг. О, господи!..

— Стоп! — сказал Максимыч. — Вы тут, конечно, все умные, а я — дурак, я не учился двадцать семь лет в...

— Кто тебе говорит, что ты...

— Ти-ха! — рявкнул добрый Максимыч. — Я лапоть...

— Я сам лапоть! — воскликнул профессор.

— Что вы, сдурели, что ли? — спросил Пилипенко. — В каком смысле — лапоть? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапоть.

— Ти-ха! — вовсю разошелся Максимыч. — Вы —

хромовые сапоги, а я — лапоть. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам...

— Иди останови ее! — взмолился профессор. — Как ты это сделаешь? Она слышать ничего...

— Остановлю за две минуты.

— Как? — спросил и Пилипенко.

— Если бы ее кто-нибудь бы вразумил, — простонал профессор. — О-о, если бы кто-нибудь...

— Напиши мне некоторые культурные слова, — сказал Максимыч профессору, — я с их начну, чтобы она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут? Надежда... както...

— Надежда Сергеевна.

— Семеныч, пиши на листе крупными буквами, — велел Максимыч Пилипенке. — А ты говори.

— Надежда Сергеевна, — стал диктовать профессор, а Пилипенко вырвал из блокнота лист и начал писать. — Надежда Сергеевна, — опять взмолился профессор, — заклинаю тебя небом...

— Ну, ерунда какая-то, — перестал писать Пилипенко. — При чем тут небо?

— Пиши, пиши, — сказал Максимыч. — Чем глупей, тем лучше.

— Хорошо, я буду проще, — согласился профессор. — А то действительно... демонизм какой-то. Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба...

— Вшивая норковая шуба, — подсказал Максимыч.

Пилипенко только рукой на него махнул — чтоб помолчал.

— Неужели какая-то... норковая шуба, — продолжал профессор, — способна заменить человеку...

— Я предлагаю так, — перебил Пилипенко. — Надежда Сергеевна! Мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы...

— Плевать она хотела на всех! — раздраженно сказал профессор. — Ей, ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна... Мне она не нужна.

— И мне не нужна — у меня вон тулуп есть, — сказал Максимыч.

Пилипенко посмотрел на них.

— Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна.

С грехом пополам составили они «бумагу», и Макси-

мыч пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел... и не вернулся.

...В суде Максимыч досказал эту историю так:

— Мы составили бумагу... Там были хорошие слова. И я пошел... Я честно прочитал ей через дверь, что там было написано...

— Она не открыла вам?

— Нет, я через дверь читал.

— Ну, так?

— Она вызвала милиционера... Я продолжаю говорить — думаю, она слушает, — а милиционер уже сзади стоит.

— Почему же она вызвала милиционера? Вы же говорите, там были хорошие слова.

— Я от себя стал добавлять, — с неохотой пояснил «сантехник» Максимыч. — Мне жалко этого старичка: она его загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил малость от себя...

— Оскорблять стали?

— Ну... как? Ну, говорил, что... Наверно, оскорблял.

— Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы пригрозили ей, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимете с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так?

— Да куда мне ее? — попытался было уйти от ответа Максимыч. — Зачем?

— Но вы говорили так или нет?

— Говорил.

— Это же угроза.

— Ну... как?.. Угроза.

Максимыч получил десять суток.

ПРИВЕТ СИВОМУ!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка... женщина, которая медленно, ласково называла его — Мишель. Очкарика слегка коробило, что он — Мишель, он был русский умный человек, поэтому

вся эта... весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, — Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая... Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность... Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной... Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались... Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова... Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы... Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — «Аэропорт», да даже дело не в том: пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда такого праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя, — говорит Мишель, — что, если мы... у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал...

— Найн, — нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно... ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит...

«А здоровый я мужчина!» — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел опять к ней вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте, — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе опалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь, — спокойно, медленно сказала Кэт. — Серж, я тебе говорила...

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно... Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович, — представился он. И протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно... Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна. — Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондóна», — пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй, — неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственно возможный. — А вы?

— Да, пожалуй, — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля... непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике, — сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу. — О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый...

— Как знакомый?

— Близко.

— Но... Не понимаю! — загорячился кандидат. — Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась... В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски, — сказал он. — Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело? — совсем зло спросил кандидат. — Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю... — Кандидат опять потерялся, и было очень больно. — У нас, кажется, были не те отношения...

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что... Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт. — Ты можешь приходить...

— По графику, что ли?

— Не надо хамить, — устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду! — решил кандидат. — Что будет, то и будь. Я вам покажу... Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат. — Это ж надо так войти в роль... сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то».

— Мне бы водки, — сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало. — Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет, — кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски, — сказал кандидат. — С содовой. — Он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать.

И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. — Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик... Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж...

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было. — Говоря это, Серж палил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь... В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского... «Закуска — ваша!» — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один, — сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель. — Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой... сероватый, срыжа́.

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную. — Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему... К нему не присо-

единились, Мишель выпил один. — Кхух!.. — выдохнул он. — Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая, — он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— «Марлборо», дома оставил, — изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. — На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Марлборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и... и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый... Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия... Чего же тут плакать? Хотя... понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата... Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало очень весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. — Сивый думает, что за...

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат. — Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить, — нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит, — решительно сказал Серж. И встал. — Сейчас ты у меня заржешь... — И схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там, — сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами... Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам... И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!.. — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. — Как ты гадок».

— Еще? — спросил Серж.

— Давай, — сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла... Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились... С полминуты, наверно, лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, — ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. — Ну как, Мишель?»

ЧУЖИЕ

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

«Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов, золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставлявшие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много, ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул

(я бы тут сказал — не хапнул. — *В. Ш.*) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо дать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, — последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, — с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, не солоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула «Петропавловск» и утопила экипаж его вместе с Макаровым —

единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерала-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» *впервые* стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах — металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После погибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они с Алексеем ограбили.

Цусима доконила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого

и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно, вместе с калошами-судами и пушками, которые не дотреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу, со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок поровит задом накинуть — лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь... Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная... Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал, мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая... Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты... От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Пуйме у меня была знакомая краля... умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А пуйминские — поперек горла, што я к ей... ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился па ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился... Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой — к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их... Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, — штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут... Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали...

Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел... Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растреплет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул... Управился. Но бежал я тада!.. — Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел...

— Да где! Тада служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то... лет уж тридцать пять было — ждать, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — повыхваляться, а потом... — Дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел «козьей ножкой». — Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь, сколь! — Показывает в подоле с десяток яиц. — Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток, — бабка оглянулась кругом и тихо досказала, — этим отнеси, на сашу (на шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках... Какой-нибудь, в куртке в этой,

тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

— Я помню бабку, — сказал я.

— Ниче... хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили, с Егором, она — вон талицкая (это через речку), — привезли... Ну, свальба (свадьба)... Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый... Как раз к свальбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокóл пришел. И у меня прямо со свальбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло... Но знаю, што — не из нашинских кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя чо делат: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обвернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» — «А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту бересту». И чо ты думаш? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей... С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на коленки передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали — гусиха. Вот, вишь... «Не могу, говорит, жить — измаялся».

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел... Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свальба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот... знала. Царство ей небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печ-

ку, есть давали... Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас бог... Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, — поразмыслить-то сперва и хотелось, — а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

Повести



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Повесть-сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Жили они по соседству и все спорили. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо, пошло, неинтересно». Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. «Жизнь — это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка, — любил говорить он. И добавлял: — Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни, — она переполняет меня всего, и мне остается только петь». И он часто пел. А Пессмист нехорошо как-то смеялся: «Ка-ка-ка!» — «под Мефистофеля».

— Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! — громко кричал Оптимист. — И мы вас, таких, предупреждаем!..

— Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! — тоже кричал Пессимист. — А мы знаем. Наша тоска оправданна!

— Ты не прав, Алик!

— Ка-ка-ка! — горько смеялся Алик, Пессимист.

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит:

— Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит.

— Я знаю, зачем вы пришли ко мне, — сказал Волшебный человек. — Я помогу вам. Но прежде вы мне — каждый — покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Тогда я смогу разрешить ваш спор.

— Я согласен! — звонко воскликнул Оптимист.

— С удовольствием, — сказал Пессимист. — Я вам ее покажу. О, я вам ее покажу!

— Видите этот дом? — спросил Волшебный человек,

поморщившись на такую чрезвычайную уверенность Пессимиста.

— Видим!

— Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем? — И Волшебный человек негромко засмеялся.

Сказано — сделано. Вечером все трое пришли к дому девушки и сели напротив, на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы.

— Пора. Кто первый?

— Я! — сказал Пессимист. Ему очень уж не терпелось.

Волшебный человек дал Пессимисту волшебную веточку и велел:

— Махни этой веточкой и скажи:

«Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, имярек, вижу»:

Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал:

— Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась. И видно стало: грязная комната, семейство Невесты — сама Невеста, ее Мать, Отец и Дедушка сидят за столом, ужинают.

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:

— Ну и жрать ты здоров, папаша!

Дед сморщился, переспросил:

— А?

— Кушаешь, говорю, много, куда к черту!

Старик обиделся, отодвинул тарелку.

За него вступился сын, Отец Невесты:

— Объел он тебя? — крикнул он на жену.

— А что я такое сказала? — в свою очередь обиделась Мать Невесты. — Пусть ест. Надо только меру знать.

Невеста крикнула на ухо Деду:

— Рубай, дедушка!

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.

В это время по улице, направляясь в дом Невесты, прошла группа людей — семейство Жениха: сам Жених, его Мать, Отец. И с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить! — кричал Жених.

— А шишок под носок хочешь? — спросил Отец.

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А где же он жить-то будет? — спросила мужа Мать Жениха. — Интересный ты тоже какой-то.

— Пусть где хочет, там и живет, — заявил Отец. — Когда я женился, мне отец тоже так сказал: «Как хошь, так и живи».

— Суд разберется, — значительно сказал Жених.

— Суд разберется, — согласился Отец.

Группа вошла в подъезд.

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:

— Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне, — говорит, — кто-то керосину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты, — говорю, — думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься — не из таких. Нас, — говорю, — девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного...»

— Мамаша, а я видела, — сказала Невеста.

Дед тихонько засмеялся.

— Чего ты видела? — строго спросила Мать.

— Как ты керосин подливала.

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты тоже хихикнула.

— Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку, — призналась она.

В дверь постучали.

— Кого там еще черт несет, — проворчал Отец и пошел открывать.

В комнату вошел Жених со своим семейством. Поздоровались:

— Привет!

— Здравствуйте!

— Приятного аппетита!

— Здравствуйте.

Только двое промолчали: Дед и Непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате.

— Может, ужинать с нами? — спросила Мать Невесты.

— Благодарственны, — сказал Отец Жениха. — Мы по делу к вам.

— По какому такому делу? — спросил Отец Невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело.

Отец Жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал:

— Ну вот, значит: у вас, мы слыхали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается... Вопчем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?

— Это вы не туда попали! — отрезала Мать Невесты.

— Как? — Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал ему знак рукой: «Туда. Она просто поломаться хочет». — Нет, мы туда попали. Мы «не туда» никогда не попадаем.

— Может, и туда, но товар у нас не залежался, — пояснила обиженным тоном Мать Невесты. — У нас в роду этого не было...

Тут не выдержала Невеста.

— Мама, ну чего ты? Прям-то, как эта... Это же обряд такой, — сказала она.

— А ты молчи! — прикрикнула на нее Мать. — Прижми хвост и помалкивай. Без тебя как-нибудь разберемся.

— Вы свататься, что ли, пришли? — нетерпеливо спросил Отец Невесты.

— Свататься.

— Так и говорите, а то крутют тут...

— А то ты не понимаешь! — ехидно сказал Отец Жениха.

Непонятно кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил:

— Шифонер не сами делали?

Дед не расслышал.

— А?

— Шифонер, говорю, не сами делали?

Дед посмотрел на шифоньер.

— Нет. Какого лешего я его сам буду делать?

— А чего эт ты к шифонеру приглядываешься? — спросил Отец Невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку. На вопрос не ответил.

Жених все время стоял у двери. Когда Мать Невесты сказала дочери: «Прижми хвост и помалкивай!» — он уставился на нее немигающими строгими глазами. Потом не вытерпел и сказал:

— Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали: «Прижми хвост». Я не согласен.

Мать Невесты приятно изумилась.

— Скажите, какой заступник выискался! Она еще пока моя дочь — как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот.

Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся.

— А я не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я вам тоже могу сказать: «Закройте поддувало». Вы тоже будете не согласны.

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать Невесты и Отец Невесты нехорошо посерьезнели.

— Нет, почему, — сказал Отец Невесты, — я просто за такие слова в лоб дам разок, и все.

Жених снисходительно улыбнулся, а Невеста хихикнула.

— Папаша, — сказала она радостно, — он же перворазрядник по боксу. У него же удар — двести пятьдесят кило.

Отец Невесты прикусил язык.

— А тумбочки тоже не сами делали? — спросил Непонятно кто Деда.

— А?

— Тумбочки, говорю...

Дед посмотрел на тумбочки.

— Нет.

— Ну ладно, — сказал Отец Жениха, — это все пустые разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните кота за хвост.

Тут неожиданно взорвался Дед.

— Это безобразие! — воскликнул он. — При чем тут жилплощадь, если они любят друг друга?

Все удивились.

— Ты что, чокнулся? — спросил Отец Невесты. — Или сорвался с одного места?

— Проснулся, — ядовито заметила Мать Невесты. — Чего ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где?.. Сказать?

— Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить:

согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака?

Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону Невесты.

В этот момент как на грех вошла Соседка, стареющая дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит.

— О, у вас гости? — сказала она, улыбаясь. — Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя, — к Невесте, — дай мне, пожалуйста, утюга.

Катя решила сыграть на Соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе: решила убить Соседку.

— Я еще не знаю, — сказала она потупясь. — Я еще подумаю. Вообще-то, мне еще рано замуж.

Все опешили. Повисла неловкая пауза.

— Да? — спросил Жених. — Может, нам лучше разойтись как в море корабли? Чтобы без трепа?..

Опять пауза. Момент тяжелый, противный.

— Катя, — заговорила Соседка. — Я насчет утюга... Извините, пожалуйста.

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал Соседке. Та вышла. Непонятно кто остановил Деда и заговорил:

— Интересно, а этажерку...

— Пошел к черту! — разозлился старик. — Я не столяр! Я машинистом был — ту-ту!.. Понял?

— Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут...

— Нет, я хочу понять — в каком смысле надо понимать: «Мне еще рано замуж»? — спросил Жених.

— Да в таком самом... — Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась.

— В каком «в таком самом»?

— Да в таком самом. И нечего ко мне приставать. — Она чуть не плакала от отчаяния.

— Я все понял, — сказал Жених. — Пойдемте, родители.

— Посмешили людей и пошли? Так только комики делают, — сказала Мать Невесты.

— Я, может, пошутила, — попробовала выйти из положения Невеста. — Я, может, просто так сказала.

— Ничего себе шуточки! — воскликнул Жених. — Я тоже могу сказать «Мне еще рано жениться, я еще не

нагулялся». Интересно, понравится тебе это? Не понравится, я больше чем уверен.

— Она не хотела так сказать, — сказала Мать Невесты.

— А как же она хотела сказать?! Я же не дурак, как намекает ваш глухарь, я же понимаю, как она сказала.

— Она — девушка и должна проявлять скромность, — встрял в неприятный разговор Отец Невесты. — Мало ли, что она согласна! Она должна говорить, что не согласна.

— Я только сказала: я подумаю.

— Знаете!.. — взревел Жених. — Знаем мы эти штучки! Сегодня — подумаю, а завтра — хаханьки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился: она ему на другой же день изменила.

— Ну и мы тоже кое-что знаем! — оживилась Невеста. — У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрался нахальства и говорит: «А мы, — говорит, — ничего, мы, — говорит, — письмо турецкому султану пишем...»

— Тоже — комик, — заметила Мать Невесты.

— А у меня товарищ был, — вспомнил Отец Невесты, — так что он выкинул: застукал тоже жену с хахалем и скинул его с четырнадцатого этажа.

— Разбился? — поинтересовался Непонятно кто.

— Хахаль-то? Конечно. С четырнадцатого этажа... Попробуй.

— А я этто иду вчера по улице, — заговорил Отец Жениха, — гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак — с детскую головку. Я ему говорю: «Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать». А он мне отвечает: «Чем, — говорит, — меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Доцент какой-нибудь...

— У вас санузел объединенный? — спросил Непонятно кто у Отца Невесты.

— Объединенный, — ответил тот.

— Это плохо, — сказал Непонятно кто.

— Кому как. — Отец Невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца. — В тесноте, да не в обиде, говорят.

— А соседи как? Ничего?

— Ничего. Тимошка Соколов только буянит часто. Вот тут, через стенку, живет. С топором бегает, стекла бьет иногда... А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя. А семья, ну, то есть, родные и знакомые,

смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит: «Таких плотников не бывает!» Его попросили привести себя в порядок. А он свое: «Таких плотников не бывает! Я, — говорит, — сам плотник — знаю! Это вранье все». Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору.

— Сколько дали? — спросил Непонятно кто.

— Пятнадцать суток. Я сам и отвел его в отделение. Критик ты, — говорю, — а не плотник.

— Какой телевизор? — спросил Непонятно кто.

— Обыкновенный телевизор.

— Они разные бывают.

— У них «Рекорд» был, — сказала Невеста.

— Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету.

— Телевизор — это одно беспокойство, — упрямо сказал Жених. — У одного моего друга тоже телевизор был... Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит: «Это ты, Вася?» — мужа-то Васей звать. А Вася — ни сном, ни духом. «Чего?» — говорит. «Ничего», — это она-то. «Я, — говорит, — думала, это ты».

— Ая-яй, — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — с восхищением заметил Отец Невесты.

— А по мне вот хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет — все равно, — сказала Невеста. — Я больше люблю в окно смотреть.

— Баловство одно от этих телевизоров, — согласилась Мать Невесты.

— Нет, иногда можно посмотреть, почему, — сказал Жених. — Совсем не смотреть телевизор — это тоже отсталость. Но зачем свет выключать?

— Да, это уж так, — поддакнула Мать Невесты. — Свет выключат — тут уж, конечно...

— Да, тут уж только держись, это точно, — подкинул Отец Невесты.

— При свете-то, конечно, можно посмотреть, — поправилась Невеста, — я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. У одной моей подружки тоже телевизор есть... Она, как видит меня, всегда говорит: «Почему ты никогда на телевизор не приходишь?» Я говорю: «Нет, смотрите уж сами». Она говорит: «Поче-

му? Хоть, — говорит, — посмеемся». — «Нет, — говорю, — смотрите уж сами». А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают.

— «Посмеемся»! — возмутилась Мать Невесты. — «Приходи, хоть посмеемся»! Начнут все смеяться, так ты и не заметишь, как тебя общупают всю. И я всегда своей дочери говорила: «Никогда не смейся, доченька!» Она иной раз: «Мам, я в кино схожу». — «А чего, — говорю, — ты там не видела? Чего? Опять смеяться будете?»

— Нет, иногда можно посмеяться, почему. Если комедия какая-нибудь — пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут: «Комедия». — Жених потихоньку наглел. — Я сам люблю комедии...

— В здоровом теле — здоровый дух, — согласился Отец Невесты. Чем больше наглел Жених, тем активнее заискивали перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а замуж надо.

— А при чем тут тело? — строго спросил Жених.

— Я в том смысле, что я тоже кино уважаю.

— Надо же выбирать выражения.

— Это правильно, конечно.

— Вообще-то, кино — это разврат, — сказал Жених. — Ты же берешь билет, ты же не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка... От нее духами и всякими... Тут не то что на экран, тут всякие мысли в голову лезут, хе-хе...

Все громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках.

— Что случилось, соседушка? — миролюбиво спросил Отец Невесты.

— Нельзя ли потише, товарищи?

— У нас, видишь ли, ЧП — дочку замуж выдаем.

— Я понимаю, но все-таки... пожалуйста, а?

— Ладно.

Скромный Гражданин вышел.

— Кто это? — спросил Непонятно кто.

— Да бухгалтеришка один... Вредный, зараза! Мы тут на днях клопов морили керосином, ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. «Голова, — говорит, — болит от вашего керосину».

— «От вашего керосину...» А сам, наверно, с похмелья мучился, — сердито сказала Мать Невесты.

— Закладывает? — спросил Непонятно кто.

— Да говорит, что у него желудок вырезан. А сам, наверно, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?

— Я сам на днях клюкнул с дружками в кафе — еле до дому добрался, — весело сказал Отец Невесты. — Спасибо, ребята-дружинники помогли.

— Если не буяните, почему не выпить? — вставила свое слово Мать Жениха. — Бывают буйные.

— Нет, он у нас спокойный, — не без одобрения сказала Мать Невесты.

Отец Невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать:

— Я сразу — спать. Других тянет шататься где-нито, а я сразу домой— спать.

— Папа у нас, как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив, — сказала Невеста, с любовью глядя на отца.

Довольный Отец засмеялся.

— Ну, ты уж скажешь, дочка.

— А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет.

— Хе-хе-хе... Нет, я действительно не понимаю таких: напьется — и вот начинает строить из себя! Правильно, что начали бороться с такими. Напился? — иди домой! И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить.

— Если не буяните, то почему же, — опять сказала Мать Жениха и посмотрела на своего мужа.

— У меня отец-покойничек, царство ему небесное, дедушка Катин, — вспомнила Мать Невесты, — такой был. Душевный человек! Уж так пил, господи-батюшка!.. Один две поллитры усиживал. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице — никогда! Придет, бывало, — еле на ногах стоит, а сам все улыбается. «Вот и я», — говорит. Любили его все. Так от запоя и помер, сердешный.

— А я вот никогда не помню, что со мной бывает, — сказал Отец Жениха. — Проснешься утром и думаешь «Что же вчерась было?»

— Это опасно, — авторитетно сказал Отец Невесты.— Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного...

— А с моим другом тоже на днях история была, — заговорил Жених. — Пошел он с женой в гости к на-

шим общим знакомым, выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным. Потом — раз на кухню: а там целует его жену наш общий знакомый. Свет, конечно, выключен.

— Ай-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — воскликнул Отец Невесты.

— А он что? — спросил Непонятно кто. — Выкинул его?

— Кто?

— Муж-то?

— Он им ничего не сказал.

— !!!

— А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем — в форточку.

— Ловко!

— Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят, — заговорила Невеста. — Что хорошего? Кружатся, кружатся — смотреть противно.

— Нет, иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то — это разврат, я по себе погонюсь: пойдешь с какой-нибудь фифочкой, а от нее духами всякими... Хе-хе...

Все опять громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой человек с газетой.

— Товарищи, нельзя ли потише?

— Знаете что!.. — взорвалась Мать Невесты. — Идите лучше похмелитесь! Ходют тут алкоголики всякие!

Гражданин вытаращил на нее глаза.

— Вы что, спятили?

На Гражданина двинулся Отец Невесты.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще...

Жених остановил его и вежливо сказал скромному Гражданину:

— Товарищ, я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок... Оп!.. — Он сделал выпад, пугая Гражданина.

Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись.

— Вот так и надо с ними, — сказала Мать Невесты.

— До чего обнаглел народ! — возмутился Отец Невесты. — Это ж — не пройдешь по улице, чтобы тебе чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили.

Непонятно кто вопросительно уставился на Отца Невесты.

— А я как-то иду по улице, — заговорил Отец Жениха, — ко мне подходят двое. «Давай, — говорят, — на троих?» Я говорю: «У меня денег нету». Так один мне сунул вот сюда кулаком и говорит: «Зазнался, сука».

— В таких случаях надо сразу вот сюда бить, — сказал Жених. Подошел к отцу, показал — под ложечку. — Вот так — р-раз!..

— Ой!

— У нас недавно случай был: приходим с другом в парк...

— Одну минуточку, я перебью, — сказал Непонятно кто. — Я не понял, как это вам руки отдавили?

Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Непонятно кого, как на дурачка.

— А вот как! — воскликнул Отец Невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате. — Идите ко мне.

Непонятно кто стоял на месте.

— Ну иди, иди, — подтолкнул его Жених.

Непонятно кто пошел к Отцу Невесты.

— Вот я иду домой, — стал объяснять Отец Невесты, стоя на четвереньках. — Так? А ты — прохожий... Иди мимо меня. Иди!

— Зачем?

— Да иди, не бойся!

Непонятно кто пошел мимо него.

— Идешь, да? — спросил Отец Невесты.

— Иду.

— Теперь наступай мне на руку... Ну, наступай!

— А-а! — понял наконец Непонятно кто.

Все опять засмеялись. Отец Невесты встал, отряхнул колени.

— Вот так и отдавливают руки, молодой человек, — сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? — напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь.

— Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: «Тут, — говорит, — один тип есть, он у меня девушку отбил. Пойдем, — говорит, — потолкуем с ним, как жельтмены». Я ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был.

— Ловко!

— Я только не поняла, кто в нокауте лежал: ваш друг или тот тип? — спросила Мать Невесты.

— Да тот тип, конечно, — воскликнула Невеста. — Мама скажет тоже...

— Тип, — подтвердил Жених. — Я ему в печень дал.

— Одну минуточку, я перебью: сколько у вас квартплата выходит? — спросил Непонятно кто.

— Пять с копейками, — ответил Отец Невесты.

— Продолжайте.

Но тут заговорил Отец Жениха.

— Ну, а как мы решим наше дело-то? — спросил он всех.

— Нет, я же ясно сказал: ничего не выйдет, — сказал Жених. — Мы разойдемся, как в море корабли.

Минуты три все молчали, смотрели на Жениха.

— Я не люблю зря трепаться, — пояснил тот. — Я же сказал давеча: «Знаем мы эти штучки».

Дед тихонько засмеялся.

— Пошляк! — громко сказала Невеста и заплакала.

Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбления, пошел снимать ружье.

— Ты боксер, да? Ты боксер? — Снял ружье, взвел курок. — А я вас тогда дуплетом...

Первой, взвизгнув, бросилась из комнаты Мать Жениха, за ней — Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Непонятно кто остался и, не обращая внимания на суматоху, стал мерить шагами комнату — считал метраж.

— А тебе чего тут надо?! — заорал Отец Невесты. — Ты кто такой?

— Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович, — спокойно пояснил Непонятно кто. — Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущипнула себя за руку. Отец Невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стенку.

— Черт его знает, — сказал он. — Я что-то ничего не понимаю...

— Что ты не понимаешь?! — накинулась на него супруга. — Что тут непонятного, скажи, пожалуйста? Совсем уж одурел?..

Лизунов засмеялся.

— Это, знаете, бывает. По-научному — первая стадия.

— Закрой рот, — негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову: — Тонко же вы подъехали!.. Просто даже удивительно!

Лизунов снял пиджак, аккуратненько повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава.

— Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне бы махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете...

— Можно. Пойдемте, я покажу, — захлопотала Мать Невесты. — А ты, Катюша, собери пока на стол. А ты, отец, сбегай в магазин...

Лизунов пошел и запел.

— Не брани меня, родная...

Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Степа дома сомкнулась.

— Ты не прав, Алик! — воскликнул Оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки. — И откуда в тебе это?! Откуда?

— Ка-ка-ка!.. — засмеялся Пессимист.

Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на два часа и отдал веточку Оптимисту.

— Теперь ты. Время вернулось назад на два часа — событие то же: придут сватать Невесту. Покажи, как ты это видишь.

Оптимист махнул веточкой и сказал:

— Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Эдуард, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась.

Все так же, как мы уже видели, и все тем не менее не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так...

— Ну и любите вы покушать, папаша! — весело сказала Мать Невесты на ухо Деду.

— А?

— Аппетит, говорю, у вас отличный!

— Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык — и через себя.

— Вы бы писали об этом, дедушка, — сказала Невеста. — У вас такая богатая жизнь.

— А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться бу-

дет: «Руки вверх, неприятели!» Если хочешь, почитаю после ужина.

— С удовольствием послушаю, — согласилась Невеста.

— Кушайте, папаша, кушайте, — угощала его Мать Невесты. — Потом нам всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем.

По улице, направляясь в дом, проходит семейство Жениха, и с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— Ну, рояль, холодильник, телевизор — это все забирайте, — говорил Отец Жениха. — Вы — молодые, вам это нужно.

— Спасибо, отец! — с чувством сказал Жених. — Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги.

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой.

— Понимаю — гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына.

Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко:

— Отец хочет вам подержанную «Победу» купить на свои сбережения.

— «Победу»?!

— Тш!.. Только ни слова об этом. Он хочет сделать сюрприз.

Сын догнал Отца, обнял его и поцеловал в щеку.

— Что еще такое? — спросил Отец с мужской, доброй суровостью. — За что?

— За все, папа!

Мать Жениха и Непонятно кто идут сзади.

— Какой у вас замечательный сын! — сказал Непонятно кто.

Мать было всплакнула, но тут же вытерла слезы. Улыбнулась.

Вошли в подъезд.

А в комнате Мать Невесты рассказывала:

— Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.

— Что такое? — спросил муж. — Почему?

— Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я говорю — моя.

— Мама, но вы же вчера оставались с ней, — сказала дочь. — Марья Николаевна права.

— Да, но девочка ко мне привыкла, — стала оправдываться Мать. — Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин».

— Какая повесть! — сказал Дед. — Умел закручивать граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биография только... того, а так — мастер.

— Мастер, — согласился Отец Невесты. — И что удивительно — все предельно просто и лапидарно!

— В том-то и штука. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» хочу тоже изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я понимаю Толстого с его «Не могу молчать!». Иной раз такое волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему в морду дал, отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэктно. Тьфу!.. слово-то какое-то...

— Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? — спросила Невеста.

— Думаю, что через пять лет закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вошло семейство Жениха.

Жених: — Добрый вечер!

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Добрый вечер! Приятного аппетита!

Непонятно кто: — Здравствуйте, товарищи!

Невеста: — Здравствуйте!

Отец Невесты: — Вечер добрый!

Мать Невесты: — Добро пожаловать.

Дед: — К нашему шалашу!

— Извините, что в такой поздний час, — заговорил Отец Жениха. — Но дело, как говорят, не терпит отлагательств.

— Пожалуйста! — воскликнул Отец Невесты. — Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами.

— Спасибо за приглашение: мы только что отужинали — и сразу сюда.

Жених и Невеста переглядываются. Невеста покраснела. Дед с этакой стариковской хитрецой наблюдает за молодыми.

— Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? — спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в чем дело.

— Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотли-

вому делу, — заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь. — Молодые люди — ваша дочь и мой сын, — оказывается, любят друг друга.

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удивилась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался хорошей стариковской улыбкой — хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу.

— Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном, — продолжал Отец Жениха. — Думаю, что к браку он готов.

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате.

— Ах, стрекоза!.. А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю! Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка, а она вон что!.. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? Неужели я консерватор какой-нибудь?

— Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все равно... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи... Просто не знаю. — Невеста тоже заметно взволнована.

— Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно говорю: я удивлен. Не сказать отцу...

— Ну что ты к ней пристал, Микола, — вступился за внучку Дед. — Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне...

— Тогда было другое время, отец.

— Я бы хотела только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои, — сказала Мать Невесты. — Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите... Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг. — Она всплакнула.

— Успокойся, мать, — сказал Отец Невесты. — Жизнь есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала... Я уезжал тогда на Крайний Север... Ах, время, время! — Отец смахнул скупую слезу.

— Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала. — Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу.

Непонятно кто подошел к Деду и спросил:

— Я слышал, вы книжку пишете, дедушка?

— Пишу, молодой человек, пишу.

— «Воспоминания пожилого человека»?

— Ась?

— Я говорю, называться будет: «Воспоминания пожилого человека»?

— Плохо вы о нас думаете, молодой человек! — обиделся Дед. — Какие же мы пожилые?! Разве годы могут старить человека?

Непонятно кто смутился.

— Нет, я не в том смысле сказал... Я понимаю, что годы тут ни при чем.

— То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе иного восемнадцатилетнего. А почему? Да потому, что не отстаю от жизни. А вот некоторые... Ну-ка, молодые люди!.. — (Это к отцам.) — Чего захлюпали?! Выше голову! Грянем, братцы, удалу-ую!..

Все громко засмеялись.

Стук в дверь.

— Войдите, — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой Гражданин с энциклопедией в руках.

— Добрый вечер, товарищи!

Отец Невесты: — Здорово, сосед!

Мать Невесты: — Здравствуйте, Семен Кузьмич!

Дед: — К нашему шалашу, Кузьмич!

Невеста: — Здравствуйте, дядя Семен.

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Здравствуйте!

Жених: — Здравствуйте!

Непонятно кто: — Здравствуйте!

— А я слышу: у вас какое-то торжество, дай, думаю, зайду, — сказал Гражданин.

— А вот они, виновники торжества! — сказал Отец Невесты и показал на Жениха и Невесту. — Моя дочь выходит замуж.

— Да что вы говорите! — изумился Гражданин. — Катюша, милая!.. Поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю! — Подошел, поцеловал Невесту в лоб. — А где же?.. Ага, вот он! — Он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на Жениха. — Ничего, ничего... хорош! А? Арсений Назарыч?.. Как находишь?

— Мне — лишь бы не отставал от жизни, — сказал Дед.

— Нет, хорош, хорош... Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю! Вы, можно сказать, открыли клад.

— Э-э, что — клад, Семен Кузьмич, — упрекнул Гражданина Дед. — Что в наше время клад?

— Я просто к слову, Арсений Назарыч. Нет, хорош... А ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила, хе-хе-хе... Ах, где мои семнадцать лет!

— А вот этого я не люблю, Семен Кузьмич, — опять осадил его Дед. — Что это за вздохи?

— Я так, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так, молодые люди... одну минуточку. — Семен Кузьмич вышел с таинственным видом.

— Неисправимый человек! — усмехнулся Отец Невесты. — Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж я его знаю.

— Когда я еще была маленькой, — заговорила Невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете». И плакал.

— Он у нас, как Циолковский, — вставил Отец Невесты. — Тоже, кстати, все чертит чего-то. Спросишь: «Чего ты изобретаешь-то все?» Он махнет рукой и скажет: «Так... мысли распирают».

— Но сдает последнее время, сдает, — заметил Дед.

Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках.

— Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди.

— Что вы, дядя Семен! — воскликнула Невеста.

— Что вы, Семен... э-э... Семен Кузьмич! — тоже воскликнул Жених.

— Прошу, прошу... И без церемоний — я этого не люблю. Иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать.

Жених принял телевизор.

— Спасибо.

— На здоровье. Мне он на старости лет...

Дед погрозил Семену Кузьмичу пальцем.

— Кузьми-ич!..

— Молчу. Эх, грянем, братцы, удалу-ую!..

Дед подхватил:

— Эх, на поми-ин ее души!

Все громко засмеялись.

Семен Кузьмич посмотрел на часы.

— Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело: судим одного прохвоста товарищеским судом. Представляете, выкинул номер: обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте, пришел

домой, включил везде свет — днем!.. Включил утюг, электроплитку и сидит.

— Позор! — сурово сказал дед. — Выселить в необжитые районы.

— Мало того: он начал петь! Соседи, естественно, возмутились: попросили прекратить. И знаете, что он ответил: «Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость».

— А вот это уже нахальство, — сказал Отец Невесты. — Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость! Наивный ребенок!

— В наше время многие под наив работают, — сказал Непонятно кто. — У нас в институте один парень тоже... «Я, — говорит, — не знаю, почему Ремарк — это плохо...»

— Пропесочить разок хорошенько — узнает, — посоветовал Дед.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вбежала соседка, подруга Невесты.

— Боже мой!.. Катя!..

— Зина!..

Они обнялись.

— Катя!..

— Зина!..

— Катька!..

— Зинка!..

Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел.

— Ну, теперь разговорам конца не будет, — притворно рассердился Дед и повернулся к Непонятно кому. — А вы что, тоже пишете, молодой человек?

— Да.

— О чем, если не секрет?

— Вещь называется «Три товарища» — в пику Ремарку. Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь — в пику Хемингуэю.

— Одобряю, — похвалил Дед. — Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать!.. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» перетряхиваю все на свете. Надо, надо.

— Итак, молодые люди, — заговорил Отец Невесты, — вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек.

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь:

— Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты — «Ваше мнение о семье и браке». Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль: современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы.

— Так, — Отец Невесты кивнул головой.

— Далее, я указывал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия.

— Правильно.

— Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи.

— Так.

Жених вошел в раж.

— Я глубоко убежден, — говорил он звенящим голосом, — что, если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также, что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!

Все внимательно слушают расходившегося Жениха.

— Вы юрист? — спросил Отец Невесты.

— Я, так сказать, антиюрист. — Жених улыбнулся своей шутке. — Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг «Марья Иванна Загогулькина...»

Все громко засмеялись.

— «...возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным».

Все опять громко засмеялись.

— Смешно? — спросил Жених. — Нет, грустно!!! Ты лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-

то плачет в пепел семейного счастья эта самая Загогулькина Марья Иванна...

Никто не смеется.

— Где-то пропадает хороший человек Загогулькин. Пропадает только потому, что вовремя недосмотрели, не проявили заботу! — В глазах Жениха горячие огоньки справедливого гнева. — Как же ты можешь лежать на диване, как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма! Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай в чем дело, а потом уж ложись. А до этого не смей лежать!!! Я кончил.

— Так их, молодой человек! — вскричал Дед. — И не бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то тоже...

— Но ты впал в противоречие, Андж, — заметила Невеста.

— В какое?

— Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме.

— Ага! Ну-ка, ну-ка. — Дед от удовольствия потер ладони. — Люблю всякие пикники.

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Невесту.

— Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется.

— Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме и у тебя было бы хорошее настроение, — стояла на своем Невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек.

— Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? — спросил Жених.

Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются.

— Я не утверждаю, что, не читая газеты, ты бы не знал жизни — для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина.

— Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю! — воскликнул Жених. — Идет человек с грустными глазами — стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка, выкладывай, не стесняйся — что там у вас случилось? И неважно, будет это Загогулькин или кто еще.

— Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых лю-

дей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина.

— Во-от! — воскликнул Жених и показал пальцем на Невесту. — Вот мы и договорились!.. Вот с кем надо бороться — с равнодушными! Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе.

— Это все правильно, молодой человек, — сказал Дед. — Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом: как вы себе представляете другую сторону семейной жизни — материальную, так сказать?

Жених поморщился.

— Как-то не хочется об этом сегодня...

— Нет, уж вы скажите, — настаивал Дед. — Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы.

— Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора... Кроме того — я открываю чужую тайну... — Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца. — Но я очень рад и потому скажу: папа покупает мне подержанную «Победу».

В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на Жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радостью.

— Вон, — негромко сказал Дед.

— Так вот вы какой, оказывается, — тоже негромко сказал Отец Невесты. — Вас в этом мире волнует только «Победа»? Можете считать, что сегодня вы не победили. Я присоединяюсь к требованию моего отца — вон! И думаю, моя дочь тоже к нам присоединится.

— Я присоединяюсь, папа. Я... я не знала, какой он на самом деле... — Невеста заплакала. — Когда мы с ним говорили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о «Победе». Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой, а оказывается... оказывается, он вынашивал мысль о собственной «Победе»! Ничтожество! О, как я обманулась!

— Я сам только сегодня узнал, — вякнул было Жених.

— Не смейте! — Дед стукнул костылем в пол. —

Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя «Победа», то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я бла-ародный человек! Можете идти в ресторан!

— Я потрясен, товарищи! — заговорил бледный Отец Жениха. — Мне трудно сейчас говорить... Я не узнаю своего сына... Я что-то просмотрел в нем в свое время — это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему «Победу». Но я никогда не думал, что вместе с «Победой» в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку (показал руки), мне подчас было не до сына, я передоверил его воспитание бабушке — и вот результат.

Мать Жениха тоже заплакала.

— Андрюша, сынок... Сколько раз я тебе говорила: не водись с этими молодыми людьми, это плохая компания. Ты мне что говорил? «Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда». Ты говорил...

Отец Жениха: — О-о!

Отец Невесты: — Все понятно.

Мать Невесты: — Ая-яй!

Дед: — Ну, конечно!

Невеста: — Да-а!

Непонятно кто: — Да-а!

— А вместе с тем я знала, — продолжала мать Жениха, — что один из этих молодых людей развелся с женой, у другого — выговор по общественной линии за грубость с начальством... И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает...

Жених стоял белый, как бумага. Он посмотрел на Непонятно кого.

— Толик, скажи им, что это неплохие люди... Скажи хоть что-нибудь!

— Я не хочу с тобой говорить! — отрезал Толик. — Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными — ты лгал! Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной «Победой». Ты раздавишь его! Подумай о том, что с тобой случилось сегодня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи! Ты говорил, что не надо объяв-

лять расторгнутые браки в газетах, ты опять лгал: их давно не объявляют. Ты изолгался!

— Люди узнаются на крутых поворотах, — сурово сказал Дед. — Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность, он все время что-то недоговаривал. Меня не проведешь, молодой человек! Я раскусывал экземпляры посложнее, и мне жаль вашего отца и вашу мать: не велика радость иметь такого сына.

— Я осознал, товарищи, — жалко залепетал Жених. — Мне ужасно стыдно. Мне... я... Мне так трудно сейчас... — Он сморщился, сдерживая невольные слезы. Махнул рукой и быстро вышел не попрощавшись.

— Ничего, у него есть еще время стать настоящим человеком, — все так же сурово сказал Дед. — Помо́гите ему, не оставляйте сегодня его одного.

— Какой ужас! — простонал Отец Жениха. — Какой ужас!.. До свиданья!

— Вот до чего доводит дурная компания, — сказала Мать Жениха. — До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

— Всего хорошего, — сказал Дед. — Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки — вообще, колющие предметы. Но особенно чернила — не допускайте, чтобы он писал упадочнические стихи.

Мать Жениха и Отец Жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел Непонятно кто (Толик).

— Николай Арсеньевич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений Назарыч... — Голос Толика слегка дрожал. — Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость.

Мать Невесты: — Как?

Отец Невесты: — Как?

Дед: — Как?

— Я давно люблю Катю. Но я знал, что она дружит с этим... Я не хотел мешать их счастью.

— Это бла-ародно, молодой человек!

— Я на последнем курсе филологического факультета — изучаю язык древних арабов. Защищаю диплом и еду на Крайний Север. Многим это может показаться странным — зачем, мол? Я убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре.

— Ничего в этом странного нет! — воскликнул Дед. — Это бла-ародно.

— А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой — ни копейки. Все — в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу — я напишу на вас фельетон.

— Что вы! — воскликнул Отец Невесты. — Кого это может смущать?

— Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры... — Мать Невесты опять всплакнула.

— Браво, молодой человек! — опять воскликнул Дед. — Я когда-то так же начинал.

— Толик!.. Толька... — Невеста бросилась к Толику. — Я всегда за тебя голосовала!..

Волшебный человек взял веточку у Оптимиста, махнул ею — стена дома сомкнулась.

— Я затрудняюсь, молодые люди, — сказал он. — Вот что: у меня есть заместитель по оргвопросам, я попрошу его побеседовать с вами, он дока в этих делах. Потом мы решим. — И Волшебный человек исчез.

А Пессимист и Оптимист опять заспорили.

— Ты кретин, — сказал Пессимист.

— Нет, это ты кретин, — ответил Оптимист.

— Ты — восторженный конь!

— Подонок!

— Сейчас я тебя буду бить!

Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их. Пришел милиционер.

— В чем дело, граждане?

Оптимист показал на Пессимиста.

— Вот этот тип исказил картину жизни!

— Нет, это ты исказил!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Милиционер видит, что так они ни до чего не договорятся, хотел их взять с собой, но тут подскочил Некто, хромой и бойкий, и сказал, что он разберется.

Пришли в какое-то помещение.

Пессимист струсил, Оптимист — тоже: им не понравилось помещение.

— Посидите здесь пока, никуда не уходите, — сказал Некто, а сам ушел.

— Давай заключим пока мир, — предложил Пессимист.

— Давай, — согласился Оптимист.

— Что делать?

— Не знаю.

— Эх, ту бы волшебную веточку сюда! — вздохнул Пессимист.

— У меня есть один листочек от нее, — сказал Оптимист. — Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один.

— Давай его сюда! — взревел Пессимист.

— Ишь ты какой!

— Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок, — предложил Пессимист. — Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?

— Давай, — согласился Оптимист. Он был великодушный малый.

Первого вызвали Пессимиста. Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки.

Едва только Пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело и Некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого Малюту Скуратова, нервного и внимательного.

— Говори, подонок, что случилось?! — рявкнул он. — Только не путай тут.

— Я высказывал свои взгляды на жизнь Я убежден... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды...

— Короче! Воруешь?

— Я бы попросил...

— Я тебе сейчас попрошу! — Некто встал, подошел к Пессимисту и начал его обыскивать. — Где нож?

— Нету.

— Где нож, я тебя спрашиваю?!

— Нету.

Некто дал Пессимисту в челюсть.

— Где нож?

Пессимист заплакал.

— Я не ворую, я принадлежу к философской группе...

Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, приготовился писать.

— Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно.

— Я — мыслитель.

— В чем заключаются твои обязанности?

— Я думаю. Я как бы разрезаю действительность и вскрываю...

— Где нож?

— Я мысленно разрезаю!

Некто ткнул Пессимиста в живот.

— Где нож?

Пессимист опять заплакал.

— У меня нет ножа. Я головой разрезаю...

Некто стоит в недоумении.

— Ты не темни здесь! Ты меня путаешь!

— Честное слово! Я головой разрезаю, извилинами...

Некто сел, начал писать.

— Говори дальше. Все говори.

— Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставать ее врасплох, неожиданно... Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала...

Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой.

— Дальше.

— Меня уже ничем не удивишь. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нет. Их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга...

Некто встал, подошел к Пессимисту и... пожал ему руку.

— Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду записывать каждое слово и вечерами читать.

— Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости.

— Свинцовых мерзостей не бывает, — поправил Некто. — Бывают — пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют.

— Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался Пессимист.

— Мы хотим жизнь превратить в сказку!

— Да?

— Да!

— Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете?

— Это не ваше собачье дело! — почему-то вдруг обозлился Некто. — Ваше дело...

Но тут Пессимист показал волшебный листик.

— Вы забываетесь...

— Да, да... Извините, увлекся. Так на чем мы остановились?

— Что жизнь — болото.

— Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучиться на волшебника?

— Зачем это? — удивился Пессимист.

— Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются... как бы это выразиться... представители темных сил, что ли.

— Баба Яга, Змей Горыныч?..

— Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей...

— Нет, — твердо сказал Пессимист. — Я буду продолжать копаться в грязи, я буду выдумывать все новые и новые комбинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее...

Некто перестал записывать.

— Я это не пишу. Дальше.

— Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так: «Ка-ка-ка!»

— Прелесть! Умница! Оскар!

— Какой Оскар?

— Ну, тот... в тюрьме-то, в Рэдингской, забыл фамилию...

— Вы бросьте, слушайте! — прикрикнул опять Пессимист.

— Я уже заткнулся.

— Нам и так-то несладко, а вы еще с намеками тут...

— Какие намеки? Бросьте вы тоже...

— Не надо. Не надо! Не надо!! — Пессимист стал нервничать и подергиваться. — Не надо!! А то я дам в лоб мраморной пепельницей...

— Довольно, — сказал Некто. — Спасибо. Я слушал ваши слова, как музыку. Это что-то невероятное!.. Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы потом еще поговорим.

Пессимист вышел из кабинета.

— Ну что? — спросил его Оптимист.

— Ажур. Мы поняли друг друга: я ему наговорил...

— Давай листик.

— На. Только не потеряй его. Смело гни свою линию: листик работает.

В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам — это спокойный проницательный добряк, веселый и жизнерадостный.

— Садитесь, молодой человек, — вежливо предложил он. — Курите.

— Спасибо.

— Так что у вас там случилось?

— Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу! — загорячился Оптимист.

— Скажите, скажите. — Некто добродушно улыбался.

— Я не только скажу, я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это... это как бы стометровка!

— Почему же стометровка? — возразил Некто. — Я бы сказал: жизнь — это рысистые испытания. Или лучше: бег с препятствиями. Препятствия, в смысле — трудности, еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. Итак?..

— А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь. И я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите!..

— Ну, ну... я пошутил просто. Какой горячий молодой человек! Уж и пошутить нельзя!

— Нельзя! Нельзя так шутить, вы понимаете?!

— Ну а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут и трудности?

— Ни в коем случае! — воскликнул Оптимист. — Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому-то и видишь иной раз: человек едет в необжитый район, а задумчив. Почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основания задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей?.. А там тебя ждет палатка! Там тебя ждут бураны, медведи, волки!.. Спрашивается: что же лучше? Что лучше: удобная квартира или палатка с медведем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, па-

латка с медведем лучше. Но ведь едут-то они туда строить дома с удобными квартирами. Это тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен? — Некто поднял кверху палец, хитро прищурился.

— Медведь, к сожалению, не вечен, — согласился Оптимист. — Но это не должно нас смущать: кончатся трудности — мы их выдумаем!

— Это вы точно сказали. Это не в бровь, а в глаз.

— Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить и всегда волнуюсь Да, так о чем мы? Ага, о юноше, который едет в необжитый район и сидит в вагоне задумчив.

— Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи с этим: вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в десяти шагах стоит медведь. Бурый обыкновенный медведь, средних размеров. Ваши действия?

Оптимист немного подумал.

— Песня! — воскликнул он. — Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление...

— Так, правильно. Еще один вопрос: вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти...

— Стоп! — воскликнул Оптимист. — Во-первых, я не стану делить продукты пополам — я отдам товарищу все.

— Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос: а если ваш товарищ поступит точно так же?

— Тогда мы бросаем пищу и идем дальше.

— Правильно. Вас не поймаешь.

— Как-нибудь!

— Последний вопрос: вы выходите из тайги?

— Не-сом-нен-но!

— Вы готовы к трудностям, молодой человек!

— Потрогайте. — Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал.

— Да, вы готовы к трудностям. В этом я еще и еще раз убеждаюсь.

— Я готов ко всяким трудностям.

— Значит, вы едете в Сибирь?

— Я повторяю: я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем — это, сами понимаете, не трудность. Значит?..

Некто не догадывается, что — «значит».

Оптимист улыбнулся.

— Ну?.. Я готов к трудностям, но их нет, — значит?.. Логика, логика!

— Не могу догадаться. — Некто смутился.

Оптимист терпеливо объясняет:

— К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи не трудности. Значит?..

— Честное слово, не могу...

— Значит, я не еду в Сибирь! — громко и весело сказал Оптимист.

Оба искренне смеются.

— Браво, молодой человек! Двадцать копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности.

— Ваши трудности — это тоже не трудности, — сказал Оптимист. — Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит?..

Некто опять в затруднении.

Оптимист решил объяснить предметно.

— Вот полустанок — то есть ваши трудности. — Положил на стол коробок спичек. — Так? Вот — жизнь... — Хотел взять наган, но Некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку. — Вот — жизнь, которая стремительно проносится мимо. — Показал. — Теперь: я занимаюсь вашими трудностями... — Ткнул в коробок пальцем. — А жизнь — смотрите! — грохочет мимо. Значит? Логика?..

— Не понимаю. — Некто опять в затруднении.

— Значит, я не иду к вам работать!

Опять весело рассмеялись.

— Ловко вы меня, — сказал Некто.

— Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед. И я устремляюсь.

— Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию, — сказал Некто.

— Не угадать.

— Угадаю!
— Ни за что!
Некто пристально посмотрел на Оптимиста.
— Летчик.
Оптимист покачал головой.
— Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление.
— Геолог!
— Геолог — это устремление вглубь, а не вперед.
— Преподаватель истории!
— Ну-ну, это совсем не то. История — это...
— Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас...
Оптимист улыбается, ждет.
— Ну?..
— Сейчас, сейчас... Поэт?
— Близко, но не то.
— Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть... Тьфу, черт... не то хотел сказать, извините, пожалуйста. — Некто покраснел.
— Ничего, — великодушно сказал Оптимист.
— Я хотел сказать — связист!
— Не то.
— Тогда не знаю. Пас.
— Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно.
— Почему?
— Потому что у меня нет никакой профессии.
Некто так и покатился.
— Ну ловко же вы меня!.. Ха-ха-ха!.. А что вы делаете?
— Ничего, в том-то и дело.
— Как?
— Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице.
— Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед!
— Да, я лежу и устремляюсь. Понимаете?
— ???
— Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед! Неужели вы себе не можете представить такого? Это после эйнштейновской-то теории?!
— Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления.
— Душой! Сердцем! Помыслами устремляюсь!
— А-а, вот теперь понял...

В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись, ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук Оптимиста волшебный листик и унес в окно.

— Так вы, значит, нигде не работаете? — строго спросил Некто. Он сделался пожилым, усталым.

— Нет.

— И не желаете работать?

— Работать — значит не устремляться вперед. Верно? Значит?..

— Попросите другого сюда, — распорядился Некто.

Но дверь сама открылась, и вошли Волшебный человек и Пессимист. Пессимист сразу зарычал на Оптимиста:

— Сороконожка!. Где волшебный лист?! Сейчас я тебя буду бить...

Волшебный человек остановил его твердой рукой.

— Спокойно.

— Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?! — вскричал Оптимист. — Вот один из них. Позвольте ваш наган, на минутку: я его кокну.

— Спокойно! — опять сказал Волшебный человек. — Сядьте. Лист у меня, больше вы его не получите.

— Но он же исказил картину жизни!

— Нет, это ты ее исказил!

— Спокойно! — еще раз сказал Волшебный человек. — А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков. — Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся: — Гы-гы-гы...

Пессимист и Оптимист не засмеялись.

Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал.

— Вы оба исказили картину жизни, — сказал он. — Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы... — Он опять погрузился в свои думы.

— В чем смысл? — спросил Оптимист. — А то я волнуюсь.

— Смысл в том, чтобы... Заманчивая идея, черт возьми! — Волшебный человек опять погрузился в думы.

— У вас туалет где? — негромко спросил его Оптимист.

— В коридор и налево. Побыстрей там, я сейчас буду изрекать смысл — нечто новое.

— Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь...

— В чем смысл? — нетерпеливо спросил Пессимист.

— Смысл в том, — торжественно заговорил Волшебный человек, — чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить — третью! А? Заделаем?

— Как? — спросили все.

— Так. Я перевожу свои волшебные часы... Есть. Сватовство идет. Семейство Невесты такое, каким его видит наш Оптимист. Семейство Жениха — как видит Пессимист.

— Ура! — вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за руки и стали танцевать.

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!

— Вперед, шалунишки! — скомандовал Волшебный человек. — Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое.

А в это время в доме Невесты творилось что-то невероятное.

Дед читал Непонятно кому свою книгу:

— ...Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» — сказал я и ее тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» — разнеслось по всем комнатам.

— Сколько метров? — спросил Непонятно кто.

— Где?

— Квартира?

— Не знаю.

— А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.

В другом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы.

— Крюк! — закричал разгоряченный Жених. — Опп!

Отец Невесты отлетел к стенке.

Отец Жениха повел его опять к окну.

— Удар, а?..

— Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Крайний Север...

— Погоди ты со своим Севером! Становись.

— Вы полегче его, — сказала Мать Невесты. — А то сотрясение будет.

— Какое сотрясение! — воскликнул Отец Невесты. — Надо — значит, надо!

— Он мне один раз как засветил, — вспомнил Отец Жениха, — я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда?.. Ну-ка, ему тоже так!

— Прямой правой? — спросил важный Жених.

— Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпались.

Все засмеялись.

— Как образно! — сказала Невеста. — «Искры посыпались...» Какой все-таки русский язык!..

— Это — правой в лоб, снизу, — вспомнил Жених. — Это делается так... Нагни голову!

Отец Невесты послушно нагнул голову.

— Есть.

— Ниже.

— Есть.

— Следите за моей правой ногой... Вот что она делает... Удар пойдет оттуда.

Все замерли и следили за правой ногой Жениха. Он прыгал.

— Опп! — сказал Жених, и Отец Невесты полетел в угол.

— Все, нокаут, — сказал Жених.

Действительно, Отец Невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.

— Ты увлекся, Андж, — сказала Невеста.

— Если бы я увлекся, здесь бы давно уже никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым... А дружок с женой был. А там один фраер был. Ну, мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся! Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет...

— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила Мать Невесты.

— Не хочет!

— А вы?

— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в два часа ночи голый когти рвал.

— Это же неэтично, Андж.

— Э? — спросил Жених.

— Неэтично...

— Зато — голый! И скорость приличная.

— Я понимаю твое увлечение скоростью, Андж, но согласись: голый человек в два часа ночи... Ты можешь возразить: а как же Высокое Возрождение?..

— Они не успели, — сказал Жених.

— То есть?

— Мы пришли раньше.

— Я говорю о Возрождении.

— Я тоже. Они не успели. Мы пришли раньше.

— При чем тут вы?

Жених посмотрел на Невесту как на дуру. Показал пальцем на лоб.

— У тебя что замкнуло?

— Андж!!!

В это время в комнату вошли Волшебный человек, Оптимист, Пессимист и Некто. На них никто не обратил внимания.

Дед и Непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала. Жених возражал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже заспорили с Матерью Невесты и Отцом Невесты.

— Он меня хотел изуродовать! — кричал Отец Невесты. — Это членовредительство!

— Членовредительство бывает не такое! — возражал Отец Жениха. — Он куда тебя шарахнул? По башке?..

— Я бы попросила!.. — тоже горячо заговорила Мать Невесты. — Я бы попросила выбирать выражения!

— Да?! — спросила Мать Жениха. — А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то — сквозняк!

Отец Жениха взял Отца Невесты за грудки.

— А я тебе говорю: голова — это что?

— А что же это такое, по-вашему?

— Голова-то?

— Ну.

— Голова — это орган. А членовредительство — это... Пойдем к двери, я тебе покажу членовредительство!

— Не пойду!

— Пойдешь!..

Страсти разгорались.

Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать.

И в этот момент раздался громкий протяжный возглас:

— Полундра!.. — Это Дед вскочил с места и забегал по комнате. — Где моя сабля?! Я его сейчас развалю на

две половинки! У меня еще полно пороха в пороховницах!..

Непонятно кто бегал за Дедом и повторял:

— Сундук! Сундук!

— Аттас! — вскричал Жених и стал снимать пиджак.

Отец Жениха тащил Отца Невесты к двери.

— Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! Счас я тебе объясню...

— Полундра-а! — кричал Дед.

Тут не выдержал Волшебный человек и решил вмешаться.

— В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?

— Он на меня говорит: «Сундук»!

— Слушай, — обратился Волшебный человек к Непонятно кому. — Почему ты на него говоришь «Сундук»?

— Потому что он не хочет делать тумбочки, — сурово сказал Непонятно кто.

— Я пишу книгу!

— Он пишет книгу...

Тут подошел Пессимист и засмеялся «под Мефистофеля»:

— Ка-ка-ка!

— Что, что тут смешного? — встрял Оптимист. — Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков.

— В том-то и дело! Поэтому-то я и хочу развалить его на две половинки!

Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты.

— У нас спор, — сказал Отец Невесты. — Что такое голова?

— Голова? — удивился Волшебный человек. — Голова — это... — он подумал, — это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.

— Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову — кумпол.

— А вот у нас тоже был случай, — подошел Жених. — Идем мы раз с другом к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному...

— В каком районе? — спросил его Некто.

— Запутать хочешь, да? — насторожился Жених. — Не на того нарвался.

— При чем тут сразу — «запутать»? — вмешался Волшебный человек. — Он просто поинтересовался...

— А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.

— Сынок, дай им всем снизу вверх под сорок пять градусов, — посоветовал Отец Жениху.

— Что-то я не вижу тут ничего нового, — сказал Пессимист.

Волшебный человек нахмурился.

— Молодой человек, разве можно так выражаться?

— Они вообще расхамились тут, — сказал Отец Невесты. — Дочка, дай ружье.

— Руки! — закричал Дед.

— Кто сказал — «руки»? — озверел Жених. — Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет — правой снизу в челюсть! Следите за ногами. — Он запрыгал перед Дедом.

— Сейчас он его изуродует, — радостно сказал Отец Жениха.

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали.

— Следите за ногами, — предупредил Жених, — удар начнется оттуда.

Дед растерянно ждет.

— Он же убьет его! — сказала Мать Невесты.

— Не убьет, у нас бокс любительский, — заметил Оптимист. — Но челюсть может вылететь.

— Сынок, — заговорила Мать Жениха, — лучше левой в печень, чтобы он сразу загнулся.

— Правильно, — согласился Непонятно кто, — метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать.

— Нет, лучше по голове...

— По голове не надо, — предупредил Дед. — Я не допишу книгу.

— Следите за ногами! — опять крикнул Жених.

— Сейчас он его...

— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил Оптимист. — Я завтра статью о вас буду писать.

— Семьдесят восемь.

— Кошмар! Давно надо было...

— Что давно?

— Давно надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?

— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.

Жених перестал прыгать.

Все тоже удивились.

— В плену?

— Конечно. Он у меня двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земного шара и говорит: «Все, я больше ничего не знаю». Но этот номер ему не прошел...

— Следите за моими ногами! — вскричал опять Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Дочка, дай ружье!

— Держись, дедушка!

Все кричат, ничего не разобрать.

Дед громко запел:

— А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Слушайте, прекратите это! — потребовал Некто у Волшебного человека. — Тут ничего невиданного нет.

Волшебный человек посмотрел на руку... — часов нет.

— Кто свистнул мои волшебные часы?!

— Следите за ногами!... — орал Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Снизу вверх под сорок пять! Снизу вверх под сорок пять!

— Гоп со смыком — это буду я! Ха-ха!..

— Папаша, стреляй! Огонь, папа!

— Кто свистнул часы?!

«А я еду, а я еду за туманами,
за туманом и за запахом тайги!»

— Кто взял часы? Какая сволочь?

«В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!» —

пели Оптимист и Пессимист.

— Огонь, папа!

Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.

— Снизу вверх под сорок пять!

В это время вошел Сосед.

Взял за воротник Волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад.

Потом взял Пессимиста и выпроводил его таким же образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом.

Все замолчали. И смотрят друг на друга с недоумением.

— Теперь давайте так, как это бывает на самом деле — с точки зрения нормальных людей.

* * *

— Проходите, товарищи, — сказал Отец Невесты, — садитесь, пожалуйста. Чем обязаны?

Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно.

— Дело такое, — заговорил Отец Жениха, — пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?

— Да ведь тут... как тут возразишь? — Отец Невесты засмеялся (нормально). — Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж... просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.

— Прошу, дорогие гости, прошу, — сказала Мать Невесты.

— Э-э! — воскликнул Дед. — Так я еще и на свадьбе погуляю!

Все засмеялись и стали садиться за стол.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

Киноповесть

Накануне, ближе к вечеру, собралась родня: провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт. К морю. Первый раз в жизни. Ну, выпили немного — разговорились. Заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили: надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо. Даже обозлился.

— Вот что я вам скажу, уважаемая родня: пеньком дремучим — это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети с малых лет развитие получили! Вот так. Не отдых мне этот нужен!.. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке — и все, и печки-лавочки. Отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю... Так? А вон им, — в сторону маленьких детей, — им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море — а они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были. Я вон отца-то почти не помню, а вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Вот ведь что запомнилось! Ведь тоже, небось, и ласкал, и конфетку когда привозил — а вот ничего же не запомнил, а запомнил, как возил с собой на коне в Березовку...

— А я тебе скажу, почему, — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. — Это потому, что на коне.

— Что «на коне»?

— На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу...

— Да это не поэтому! — зашумели на Ваську.

— Это ерунда! Какая разница — что на коне, что на мотоцикле?

— Сравнил козлятину с телятиной!

— Дайте мне досказать-то! — застучал вилкой по графину Иван. — Я для того и позвал вас — выяснить...

— Да не пропадут! — воскликнул дед Кузьма, храб-

рый старый матрос. — Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же.

— Да шибко уж маленькие, прямо сердце заходится, — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. — Чего уж так зазудело-то?

— Он же говорит чего.

— Блажь какая-то...

— Да с грудными и то ездют.

— Да с грудными-то легче. Его накормил, он и спит себе. А ведь тут, отвернись куда, они уж — под колесами.

— Ну уж — под колесами. Чего уж?.. Езжай, Ванька, не слушай никого.

— Нюр, — обратились к жене Ивана, — ты-то как? Чего молчишь-то?

— Да я прям не знаю... Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж и не знаю, как теперь... Вроде, так-то, охота, а у самой душа в пятки уходит — боюсь.

— Чего боисся-то?

— А ну как да захворают дорогой?

— Чирий тебе на язык!

— В сумку, чтоб сухари не мялись, — в сердцах молвил языкастый Ванька. — Ворона каркнула во все воронье горло.

— А захворают, вы — так, — стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя, — сразу кондуктора: так и так — у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все! Она идет в радиоузел — она обязана, — вызывает по рации санслужбу, и на следующей станции...

— Ну, тут семь раз дуба врежешь, пока они там по рации...

— Это все — колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, — стал по-своему учить Васька Чулков. — Как ребенок захворал, — ты ему компресс на грудку. Нюра, возьми с собой ваты и бергаментной бумаги. У меня вон...

— Я взяла.

— А?

— Взяла, говорю! Бергамент-то.

— Вот. Ты вон глянь что у меня с горлом-то делается... Нет, ты глянь! А-о!.. О-о! — Васька растопырил перед Нюрой свой рот. — Меня же ангина, сволочь,

живьем ест! У меня же гланды в пять раз увеличены... Ты глянь!

— Да пошел ты к дьяволу со своими гландами! — рассердилась Нюра. — Водку пить — у вас гланды не болят.

— Так я потому и пью-то! Вынужден! Если бы не гланды, я бы ее, заразу, на дух не принял.

— Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво... Слышь? Ты как приедешь, ты... Слышь! Ваня, слушай сюда!.. Ты как приедешь...

— Ты дай сперва приехать, елки зеленые! — все злился Ванька. А злился он потому, что говорили все сразу и никому до его забот не было дела, а так — лишь бы поговорить. — Приедешь с вами.

— А вот приехал тоже один мужик в город и думает: где бы тут подцепить?..

— Чего подцепить?

— Не чего, а кого, это же одушевленный предмет.

— Кто?

— Ну, кто?.. Что, не понимаешь?..

— Не, ну ты говоришь — подцепить. Кого подцепить?

— Кралю каку-нибудь, кого.

— А-а. Ну, так.

— Ну, слушай... — Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки.

— Ты слушай!

— Я слушаю, чего ты руки-то тянешь?

— Я не тяну. Слушай!

— Ну?

— Приехал и думает: где б тут подцепить?

— Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает... Чего ты руки-то тянешь?

В другом конце стола подняли тему — как надо лечить язву желудка.

— Я и разговорись с им в автобусе-то, — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал, длинно. Со вкусом. — Да. Он меня спрашивает: чо, мол, такой черный-то? Не хвораешь? Да и хворать, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовешь, это я-то ему. Язва двенадцатиперстной, говорю. Он говорит: я тебя научу, как лечить. За месяц как рукой снимет.

— Как же?
— Возьми, говорит, тройного одеколона — флаконов пять сразу, слей в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко алоя — и намешай...
— А почему одеколон, а не водку?..
— Обычно же на спирту настаивают.
— А черт его знает — обязательно, говорит, тройной одеколон.
— Ну, и по скольку принимать?
— А вон и Лев Казимирыч идет! — увидел кто-то.— Э-эй, Лев Казимирыч!..
По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок, Лев Казимирыч.
Застучали в окно, позвали в несколько голосов:
— Лев Казимирыч!..
Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил.
И сразу же за столом заговорили об одном — какой умный этот Лев Казимирыч, сколько он, собака, знает всякой всячины, выращивает даже яблоки и выписывает книги.
— Этто иду лонись мимо его ограды, он мне шумит из-за штафетника: зайди! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой — яблоко. Вот, говорит, — теория, а вот — практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко...
— А как он рой Егору Козлову посадил! Ведра, тазы, миски хватайте, кричит, чо попало— стучите! Гром нужен! Я тогда в суматохе Нюрашке Козловой крынок штук пять расколол — они сушились на плетне, я и пошел колышком по им — гром делать...
Засмеялись.
— Нюрашка-то по голове тебе гром не сделала?
— Рой сажал! — тут не до крынок.
— Ой, и башка же у этого Казимирыча!
— А мы как-то...
Вошел Лев Казимирыч... Снял шляпу, слегка — с достоинством — поклонился честной компании.
— Мир дому сему.
— С нами, Казимирыч!
— Дайте стул-то!.. — засуетились.
— По поводу чего сбор? — спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу.
— Да вот Ивана провожаем. На море едет...

Лев Казимирыч слегка удивился.

— На море?

— Отдыхать. В санаторий. Да вот, Казимирыч, помоги советом: хочет детишек взять, Иван-то, а мы — против, — обратилась к умному Казимирычу Акулина Ивановна, теща Ивана. — У меня сердце загодя мрет — шибко уж маленькие дети-то! А он их потащит. На кой же черт?

— Зачем? — спросил Казимирыч Ивана.

— Чего «зачем»? — не понял тот.

— Детей-то?

— Позагорать... Море посмотреть.

— Ты в своем уме?

За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча.

— А что? — спросил Иван.

— Ты хочешь оставить там детей?

— То есть?

— То есть, у них там сразу откроется дизентерия... Если еще не по дороге. Папа... ничего умнее не придумал?

— Да?

— Да, — спокойно сказал Казимирыч.

Всем сразу стало как-то легко. Даже весело.

— Вот, Ванька!.. А ведь говорили ему! Говорили! Нет, уперся, дубина!.. Спасибо, Лев Казимирыч!

— Не за что.

— Выпьете, Лев Казимирыч? Махонькую...

— Нет, спасибо. Нельзя.

— Махонькую!

— Нельзя. Спасибо.

— Лев Казимирыч! — полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. — А вот скажите мне на милость: если намешать алой с тройным одеколоном...

— Да не лезь ты со своим тройным одеколоном! Если уж хочешь знать, то я тебе скажу: «Красный мак» лучше. Лев Казимирыч, у меня к вам другой вопрос: вот, допустим, у вас засорился жиклер...

— Так, — сказал Лев Казимирыч, склонив набочок головку. — Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну?

— А мотор работает!

— Мотор не работает.

— Работает!

— Значит, жиклер не засорился.

— Нет, засорился: идет натуральная стрельба.

— Значит, засорился, но не совсем. Логика.

— Споем, Лев Казимирыч?!

В дальнем конце стола, где мужичок с золотыми зубами, услышали «споем» и запели:

А сброшу кольца, сброшу серьги.
В шумный город жить пойду... —

запела здоровенная, курносая девица и скосила... опасный, как ей, должно быть, теперь казалось, глаз на молодого соседа.

Там назову себя цыганкой,
Себя цыганкой назову.
Раз я сидела и мечтала
Да у открытого окна;
А чернобровая, в лохмотьях,
Ко мне цыганка подошла...

Опасный глаз не встревожил молодого соседа. Он о чем-то задумался... Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает.

— А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился! Понял?!

— А что же?

— Поршни подработались. Кольца. Ты давно их смотрел?

— Я их никогда не смотрел.

— Смени кольца!

А горят свечи восковые;
Гроб черным бархатом обшит.
А в том гробу лежит девчонка —
Да и она крепко, крепко спит.

Прислушались было к песне, но... петь вместе не умели, а чего же так сидеть слушать? — не на концерт же пришли.

А на коленях перед гробом
Стоит изменник молодой...

— Зина. А Зин! — едва остановили крупную девушку. — Давай каку-нибудь, каку все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшно как-то — гроб...

— Эх-х!.. — Сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный и мрачноватый, положил на стол ладонь-лопату; Лев Казимирыч вздрогнул. — Лев Казимирыч, давай что-нибудь революционное! А?

— Спойте хорошую русскую песню, — посоветовал Лев Казимирыч. — «Рябинушку», что ли.

И запели «Рябинушку». И славно вышло... Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый хороший вечер — поплыла в улицу, достигла людского слуха, ее не обругали, песню.

— У Ваньки, что ли?..

— Ну. Провожают. Поют.

— Поют. Хорошо поют.

— На курорт, что ли, едет?

— На курорт. Деньги девать некуда дураку.

— Ваня, он и есть Ваня: медом не корми, дай вылупиться. Нюрка-то едет же?

— Берет. Хочет и детей взять.

— О-о!.. Знай наших!

— Ты поросят-то не ходил глядеть к Ивлевым?

— Нет. Я нонче не буду брать... Одну покормлю до ноября — и хватит. Ну их к черту.

— Почем же, интересно, Ивлевы-то отдают?

— Да почем?.. Двадцать пять, известно. Месячные?

— Месячные.

— Двадцать пять.

— Сходить завтра поглядеть... Я бы боровка взяла одного. Покормила бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса-то, тоскливо.

— Знамо, тоскливо.

— Тоскливо.

Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса. На тракт.

Шли серединой улицы — Иван с Нюрой в центре, по бокам — тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте — нарядная, как в праздник.

Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, смаху вколачивал по струнам.

Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села — так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание.

Пришли на автобусную станцию... Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали: положено. На дорожку.

Скоро Иван и братья вышли из чайной — красные, покашливали. Закуривали.

— Дай твоих, у меня мятые какие-то...

— Спал, что ль, на них?

— Сел где-то...

— Ваньк, дорогой-то не пей шибко.

— Да ну, что я?..

— Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива — не задуреешь, все будет нормально.

— Да ну, что я?..

Братья — ребята все крепкие, кулакастые — вместе кому хошь свернут шею. А города опасались. Иван слегка волновался.

— Не духарись там особо...

— Да ну, что я?..

Подошел автобус.

Родные наскоро перецеловались...

— Иван, гляди там!..

— Мама, ребятишек-то, это — смотри тут за ими. На реку бы не ходили...

— Да ехайте, ехайте — погляжу тут.

— А то у меня душа болит...

— Ехайте! Раз уж тронулись — ехайте. Чего бы, дуракам, здесь-то не отдохнуть? Ехайте уж...

— Нюра, Нюр, — подсказывали под руку, — ты деньги-то под юбку, под юбку, ни один дьявол не догадается... Я сроду под юбкой вожу... Целеньки будут.

— Мам, ребятишек-то гляди... На реку бы, на реку — гляди!

— Пишите! Иван, пиши!

— Все будет — печки-лавочки! — кричал уже из окна Иван.

— Мама, ребятишек... ради Христа!..

Поехали. Автобус двинулся. Поехали наши — не робейте, держитесь! Привыкайте.

Иван маленько в автобусе принахмурился; все глядел в окно, пока проезжали деревню, знакомые с детства места... Поскотину проехали, лесок...

— Первый раз? — поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек.

Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал:

— Да ну, что вы!.. — И посмотрел на Нюру, и опять

принахмурился и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу. — Куда первый раз?

— В далекий путь-то.

— А вы почему догадались?

— Ну... видно: всей родней провожали.

— Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал — первый раз.

— А куда?

— К Черному морю.

— Хорошее дело.

— В санаторий.

— Хорошее дело.

Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь.

Стал за каким-то человеком в шляпе — шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли.

— За билетом? — спросил он у человечка в шляпе.

Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана...

— Нет, за колбасой.

Иван не обиделся.

— Далеко?

Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана...

— В Ленинград.

— А я — к югу.

— Хорошо.

— Да решил, знаете... Ну ее, думаю, все к черту — поеду. Билетов-то хватит?

— Должно хватить. А там... бог ее знает. Народу много.

— Да. — Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газетой. — Куда к черту едут? Чего дома-то не сидится?..

Человек еще раз глянул на Ивана... И стал опять читать газету.

Иван помолчал, посмотрел вокруг... Посмотрел на длинную очередь... Заглянул через плечо человеку — в газету.

— Ну, что там?

Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:

— В Буэнос-Айросе слона задавили. Поездом.

— Ох, о!.. — удивился Иван.

Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой.

— А как же поезд? — спросил Иван.

— Поехал дальше. Слушай, неужели охота говорить при такой жаре?

Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным — всем повеселей будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру... Та подошла.

— Постой маленько, — сказал Иван. — Я покурю.

— Иди к чемодану, там покури.

Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди — терпеливо, с пониманием, что надо стоять, долго надо стоять.

Билетов всем хватило... Даже еще, наверно, остались лишние, так как в купе, кроме Ивана с Нюрой, был только один пассажир.

Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру.

— Вот!.. Здесь — двадцать два, двадцать три. Давай сюда! Здравствуйте!

У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу... Записной командировочный.

— Ну, — сказал командировочный, глядя на Нюру,— будем знакомиться? Николай Николаевич.

— Иван Расторгуев, — сказал Иван. — А это жена моя, Нюра.

— Так, так... — И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, только что не похлопывать. — Далеко ли?

— К югу. — Иван старался быть вежливым, знающим.

Николай Николаевич засмеялся:

— Вы что, перелетные птицы, что ли? К югу?

Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду.

Вошел проводник.

— Постель будете брать?

— Мне не потребуется, — сказал командировочный, — я в Горске схожу. А им вот потребуется, конеч-

но. Они — к югу. — И командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру.

— Да, да, — поспешно сказал Иван, — нам, конечно, потребуется. Тащите.

Проводник принес два комплекта — постели.

— Два рубля.

— Каких два рубля? — не понял Иван.

— За две постели.

— Это... — Иван почуял некий подвох с этими двумя рублями. — А что, за постели отдельная плата?

Командировочный и проводник переглянулись.

— Отдельная, отдельная. Давайте поскорей, мне некогда.

— Нюся, дай два рубля, пожалуйста, — спокойно сказал Иван.

— Загороди меня, — тихонько попросила Нюра.

Иван стал так, чтоб загородить жену от мужчин.

— Счас мы свои рублишки достанем из чулочка... И отдадим. — Ивану страсть как неловко было, что деньги — где-то у жены «в чулочке»... И он прямо, вызывающе-прямо посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного, и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательней на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно — он улыбнулся. — Жена у меня боязливая... возьмут, говорит, да своруют наши рублишки... А кому они нужны, наши рублишки? Верно?

Нюра достала наконец пятерку... Подала кондуктору. Тот сдал трояк сдачи и ушел.

— Первый раз? — весело спросил командировочный.

— Что?

— Едешь-то. Первый раз?

— Так точно! А что?

— Надо доверять людям... Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали... аж вон куда! — командировочный опять посмеялся. — Значит, не доверяете мне. Так? Объективно так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко — вы так и будете всем не доверять? Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали... к югу, как ты выражаешься, надо соответственно и вести себя... Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-то? Юг большой...

— На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся... Вот я туда первый и смазал лыжи.

Нюра засмеялась. Невольно.

Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась.

— А ты что это сразу в бутылку-то полез?

— А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не...

— О-о! — Командировочный удивился и засмеялся насильственно. — Да мы, оказывается, с гонором!

— Так вот, дорогой товарищ... Я бы лично эти ваши ухмылочки не строил. Что, вы от этого сильно умный, что ли, стали? Нет же...

— Иван! — вмешалась Нюра.

— Слушайте!.. — посерьезнел командировочный. — Вы все-таки... это, научитесь вести себя, как положено, — вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться. Поняли? — Командировочный повысил голос. — Научись сначала ездить. Еще жену с собой тащит...

— А что тебе моя жена? — зловеще тихо спросил Иван. — Что тебе моя жена?

Нюра знала, что после таких вопросов — так сказанных — Иван дерется.

— Вань!..

— Что тебе моя жена-то?

— То, что надо сначала самому научиться ездить, потом уж жену за собой возить.

— А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?

— Да вы только не это... не стройте из себя припадочного. Не стройте. Видели мы и таких... И всяких. — У командировочного серьезно побелели глаза. — Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте! А то ведь — как сел, так и слезть можешь.

— Это кто же, ты ссадишь?

— Ванька! Да перестань ты, господи-батюшки!.. И вечно с им какие-нибудь истории!

Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.

— Так вот, чтобы историй этих больше не было — мы поможем ему... Ишь ты, понимаешь...

— Ну-ка, помоги.

— Сча-ас. Вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями-то придется остановку сделать... суток на пятнадцать. Подумать, как вести себя в дороге. А то...

— Профурсетка в штапах, — отчетливо сказал Иван. — Он еще пугать будет... Сам у меня слезешь. Спрыгнешь... И — по шпалам, по шпалам... — Иван встал; Нюра вцепилась в него.

Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно, и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.

— Ах, так? Ну погоди... — И он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся. — Счас ты у меня уедешь. — И вышел.

Нюра перепугалась.

— Опять!.. На кой черт потащил тогда, па самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь?..

— Не гнуси. Я, что ли, начал?

— Ссадют, правда, на станции — кукуй там...

— Счас — ссадили.

— Он, может, начальник какой, откуда ты знаешь?

— Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?

— А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их!.. Как хорошо поехали! — нет, надо свой характер показать!..

— Не ори. И не пужайся — наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.

— Как хорошо поехали!.. — горько горевала Нюра.

Дверь в купе отодвинулась...

Стояли два кондуктора, а за ними — командировочный.

— Вы что тут? — спросил кондуктор, который выдавал постели.

— Что? — откликнулся Иван. — Ничего.

— Чего шумите-то?

— Кто шумит? Никто не шумит.

— А кто меня из вагона выбросить хотел? — спросил командировочный.

— Вы что-то перепутали, — спокойно сказал Иван. — Это вы меня ссадить хочете... А мне неохота — слезать-то... Я затосковал.

Кондукторы увидели, что пассажир — не пьян, обратились к командировочному:

— Перейдите в другое купе, места есть. Во втором есть два места.

Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:

— В Горске мы еще увидимся.

— Давайте. По кружке пива выпьем...

— Ты это... не очень! — прикрикнул на Ивана кондуктор. — А то выпьешь у меня.

И они ушли.

— Вот так! — сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. — А то будут тут мне... печки-лавочки строить, понимаешь.

— Сиди уж!.. Герой! У самого небось душа в пятки ушла.

— У кого? У меня? Мне только на станции сидеть неохота, а то бы ему... сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало!.. Хорошо! — Иван полез в карман — закуривать.

— Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверно.

Иван вышел в коридор.

В коридоре стоял молодой мужчина... Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда — кирпича просит.

Иван похлопал по карманам — в одном брякнули спички... Но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папиросу. Иван прикурил.

— Маленькое недоразумение? — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе.

— Да один товарищ... начал чего-то — ни с того ни с сего...

— Далеко?..

— Еду-то? К югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт. — Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд.

— Один? — все расспрашивал смуглый, скорый.

— Нет, с женой.

Смуглый вдруг протянул руку — знакомиться.

— Виктор.

— Иван.

— Кроме вас, в купе есть кто-нибудь?

— Нет. Этот-то ушел...

— Я тогда перейду к вам... — Виктор зашел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. — А то у меня там одни женщины... Пойдем в твое.

— Пошли.

Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье.

— Ну вот... — сказал он облегченно. И улыбнулся Нюре. — Ну, как там... в колхозе-то?

— Да ведь оно — как? — пустился в рассуждения Иван. — С одной стороны, конечно, хорошо — матери-

ально нас поддержали, с другой стороны... А вы кто будете по специальности?

— Я?

— Ну...

— Конструктор.

— Вот — городской человек. Вот нам говорят: давайте сравняем город с деревней. Давайте! Значит, для вас в городе главное что, деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем — деньги будут главными. А — хрен!.. Так нельзя.

— Иван, — сказала Нюра.

— Ну?

Нюра притворно посмеялась.

— Ты с какими-то разговорами... Человек, может, устал, а ты...

— Нет, нет, я не устал, — сказал Виктор. — Ну, так — деньги?

— Деньги. Я, например, тракторист, она — доярка. Мы в добрый месяц зашибаем где-то две — две с лишним сотни.

— Да? — удивился конструктор. — Я думал, меньше.

— Да что вы! Иной раз до трех выходит!..

— Вань...

— Чего тебе?!

— Ну, ну? — любопытствовал дальше конструктор.

— Теперь, — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы. — Что получается? Если я не поленюсь, я эти свои сто двадцать рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи... а то и ночи прихвачу... Так?

— Ну.

— Правильно! — Иван всерьез волновался. — Но один маленький вопрос: чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот.

— А в чем вопрос-то? Это ответ.

— Ну, ответ. А вопрос еще хуже: спроси?

— Кого?

— Меня.

— О чем?

— Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?

— Все.

— Хрен!.. Это на заводе — сковал я, допустим, ось, так она ось и нужна — я все сделал...

— Но ось-то — тоже для машины! На одной оси-то не поедешь.

— Правильно! А машину потом соберет другой — и за это тоже ему плати денюжку...

— Но ведь и у вас: ты вспахал, другой посеял...

— Я вспахал — получил, он посеял — получил, а хлеба, например, нету. А мы денюжки получили. Я к примеру говорю.

— Это какой-то Гегель получается...

— Да никакой не Гегель!

— Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли?

— Да меня это не касается, вот штука-то! Не знаю, может, неурожай. Я пахал хорошо. И получил хорошо — на курорт вот поехал... Хватило.

— Вань...

— Не ванькай! Я ж за колхоз волнуюсь, а не... чего-нибудь. Мне тоже понять охота.

— Значит, вы живете хорошо, — подвел итог конструктор.

— Хорошо. Вон у меня ряшка-то — с похмелья не... это... Она и у те... Да. Хорошо живем!

— А почему вы в город из деревни бежите?

— Это не вопрос, это — семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе?..

— Наверно.

— Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах — сумею...

— Сумеешь.

— То в городе я на эти сто двадцать рублей... интересней проживу. В городе у меня все под боком: и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино... А у себя-то я со своим рубликом еще побегаю поищу — где пальтишко девчонке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонное супруге... За любым малым пустяком — в райцентр. А до райцентра — семьдесят километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.

— М-да. А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать?

Иван обиделся.

— Ать! — поймал! Пойма-ал, конструктор... — Посмеялся недобро. — Что, есть на примете хорошее местечко?

— Обиделся! — Конструктор тоже посмеялся — до-

брее. — Оби-иделся пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла. Куда едете-то?

— Я же говорил — к югу.

— А, да. К югу — это хорошо, — похвалил конструктор. — Я сам думаю махнуть скоро... — И конструктор пропел шутливо: — Там море Черное, песок и пляж, там жизнь привольная чарует нас!.. Да?

Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась как-то очень доверчиво и мило — хотелось ее смешить.

— Так, так, — сказал довольный конструктор. И поднялся. И достал из-под сиденья чемодан. — Ну, что нам тут положили? Собираешься вечно второпях... вечно торопишься... Ну, конечно, — ключи забыл дома. На пианино. Вечная история! Ножик есть, Ваня?

— Есть.

— Да зачем же ломать такой добрый чемодан! — встряла Нюра.

— Ничего. На наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? — Конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.

— Вы не по тракторам конструктор?

— Нет. По железной дороге.

— А то бы я вам задал пару вопросов...

— Нет, лучше не надо, Иван. — Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. — Я устал от вопросов... Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрасно. А тут что?.. Купюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... М-да. Ну? — Конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру... И какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.

— Ну-ка, Маруся, встань.

— Нюра. Маруся у нас дома осталась.

— Ну-ка, Нюра, примерь...

— Зачем?

— Примерь, я посмотрю.

— Ой, да я сроду и не нашивала таких...

— Да примерить просют! — воскликнул Иван.

— Ну, отвернись.

Мужчины отвернулись. И, отвернувшись, поговорили малость.

— Какое отношение к коньяку? — спросил конструктор негромко.

— У меня? Хорошее.

— Рюмочку — не возражаешь? КВК.

— Что это, коньяк?

— Да. Генеральский.

— Не возражаю.

— Ну, глядите! — сказала Нюра. Кофточка так ее скрасила, так преобразила!.. Нюра покраснела под взглядами мужчин. Засмеялась милым своим смехом.

— Идет вам.

— Это кому же вы такое богатство везете? — спросила Нюра.

— Носите на здоровье, — просто сказал конструктор.

— Да что вы? — испугалась Нюра.

— Ничего, носите. Это так вам к лицу!.. — Смугловатый джентльмен улыбнулся. — У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск — тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.

— У нас... это... — растерялся Иван, — деньжонок в обрез... На дорогу только. А она ж дорогая, наверно...

Конструктор укоризненно покачал головой.

— Не обижай, Иван. Деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим коньячишко?

— У нас огурцы малосольные есть...

— Нет, огурцы здесь не... Ага! — Конструктор нашел в чемодане шоколад. — Ах, молодцы! Все продумали.

— Заботливая у вас жена, — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.

— Ничего... Немножко рассеянная.

— Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученый — такой умница, такой башковитый, добрый тоже такой, а ширинку вечно забывал застегнуть. — Нюра засмеялась. Конструктор тоже посмеялся. И Иван посмеялся. Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.

— Держи, Иван.

Нюра дернула было Ивана за пиджак — чтоб он не увлекался коньяком-то, но Иван только ногой дрыгнул и досадливо, с укором поморщился.

— Вот так вот живешь, работаешь... а радости — нет. Радость — на нуле. — Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий... устаю. Все время в напряжении, все время нервы, как струны, натянуты, и я боюсь, что когда-нибудь они лопнут.

— Железная дорога! — понимающе сказал Иван. — Тут так-то просто проедешь, и то голова кру́гом, а вам все время думать надо. Это ж не печки-лавочки, понимаешь.

— Ну?..

— Поехали...

Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету с золотым обрезом — тоже из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.

— Покой нам только снится, — сказал он негромко.

— Но я вам так скажу, Виктор...

— Александрович. Друзья меня называют — Виктор.

— Я вам так скажу, Виктор, — пустился в подхалимаж Иван, — без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали...

— Куда вы без нас!

— Вот я — тракторист. Я поучился три месяца — и готово дело: управляю. А ведь его же придумать надо было, сконструировать! Сколько там всяких узлов, систем... — Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. — Система питания, система зажигания, система охлаждения...

— Молодец, хорошо знаешь трактор, — похвалил Виктор. — А вот нам, авиаконструкторам...

— Вы же — по железной дороге.

— Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему игрек: железная дорога без мостов.

— Как это?

— Так. Вот идет поезд, на пути — река... А моста нет.

— Ну а как же?

— Очень просто: поезд пла-авненько поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы.

— Где же у него крылья-то будут? — тоже очень заинтересовалась Нюра.

— Никаких крыльев — воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара — и по пару, по пару...

Иван засмеялся.

— Премию большую могут дать за такую механизацию!

— Могут дать, — согласился Виктор, улыбаясь.

— Так что, правда, что ли? — не поняла Нюра.

Мужчины засмеялись вместе.

— Что ты, шуток не понимаешь? — сказал Иван.

Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.

— Это какая станция? — встрепенулся Виктор.

Иван выглянул в окно.

— Гор...ск. Горск.

— Сколько здесь стоит?

— Не знаю.

— Наливай по рюмочке... И продолжаем мирно беседовать.

— Хватит бы вам, — сказала Нюра. — Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит. А то он счас по вагону начнет бегать.

— Зачем? — не понял Виктор.

— А он всегда так: как выпьет, так...

— Да брось-ка ты! — обиделся Иван. — С коньяка не забегаешь! Это тебе не самогон.

— Зачем же он бегать будет? Мы будем спокойно сидеть — беседовать. Вы на съезде колхозников были?

— Нет.

— Но какие вопросы...

В это время дверь в купе отодвинулась: стояли милиционер, а за ним... командировочный.

— Вот, пожалуйста, коньяк сидит дует! — брезгливо сказал командировочный. — Он до Новосибирска не доедет. И эта — тоже... куда с таким пьянчугой поехала! На куро-орт!..

— Куда едете? — строго спросил милиционер Ивана.

— К югу. А чего, я не понимаю?.. Вот билеты, вот путевка...

— Тебе не на курорт надо, а в вытрезвитель, — зло говорил командировочный. — Еще жену за собой тащит...

— Минуточку, — остановил его милиционер. Внимательно посмотрел билеты, путевку. — Как же так: не успел отъехать — уже за бутылку?

— Тут недоразумение, товарищи, — спокойно, чуть принахмурившись и негромко заговорил железнодорожный конструктор. — Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы — вот, что видите, — совсем немного. До этого он был совершенно трезв, я это утверждаю.

— Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам...

— Я не заступаюсь! — повысил голос конструктор. — Я констатирую (он выговорил — консцацирую) факт: то-

варищ был совершенно трезв, и угостил его — я. А вас... вам стыдно, товарищ, бегать по милициям и вносить дезинформацию. Кляузами заниматься.

— Я же и кляузничаю! А это что у вас на столе? Боржоми?

— Это коньяк. КВК. У нас в стране нет сухого закона. Ясно? И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут...

— А кто вы такой, собственно? — ощетинился командировочный.

— Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати? — Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать.

— А вы куда едете? — спросил его милиционер.

— В новосибирский академгородок, — небрежно бросил конструктор. — Так где вы работаете, товарищ?

— Не ваше дело.

— Хорошо. — Конструктор спрятал записную книжку. — Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича. — Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. — Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников. Почему вы им устраиваете проверку документов... и прочее.

— Вы же не слышали, как он тут обзывался...

— Это ваше мужское дело! — Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом, например. — Вышли в тамбур и выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых его обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка....

— Спокойней, товарищи, спокойней! — влез наконец милиционер со словами. — Наше дело — предупредить, чтобы товарищ... не забывался, что он в дороге, тем более что он не один. И вам, так же самое, — совет: выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле мало — развезет, и сами не заметите как. Вон же, есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так — это же риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но опять же, мой совет, как старшего товарища: будьте с этим делом бдительны.

Коньяк — его ведь только пить приятно, но он свое берет. До свиданья.

— До свиданья.

Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.

— Валерьянка есть? — спросил он. Он, и правда, побледнел.

Нюра испугалась.

— Я схожу спрошу у этого... какой постели выдавал... У них есть, наверно.

— Нет, — сказал конструктор. — Не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем. — Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил. — Вот так. Пройдет.

Поезд тронулся.

— Поехали? Ну вот... а ты, дурочка, боялась... — Конструктора что-то кинуло в ботливость, с коньяка, что ли.

— Ты, Иван, спрашивал насчет системы игрек: только что, на твоих глазах, сработала система игрек. Мы же были в воздухе. Ты не заметил?

— Как в воздухе? — спросила Нюра. — Мы стояли.

— Мы были в воздухе. Пла-авненько поднялись и опусти-и-лись. — Конструктор показал рукой, как пла-авненько поднялись и опусти-и-лись.

— Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, это точно, — признался Иван.

Конструктор почему-то обрадовался. Даже засмеялся.

— Испугался?

— Испугался! Ссадют, думаю...

— А-а, вот так! И ссадили бы — запросто. Да. Ну, хорошо с вами... но мне пора.

— Куда вы?

— Да пойду поищу тут товарища одного... — Виктор затянул чемодан ремнями. — Товарищ один должен ехать... тоже конструктор. — Виктор взял чемодан в левую руку, правой еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.

— Вы коньяк-то пробочкой заткните да в карман, — посоветовал Иван. — Товарища-то стренете — будет что выпить.

— Мы найдем. До свидания.

— Виктор Александрыч, — заговорила Нюра, — за кофточку-то... я уж и не знаю как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть...

— Должны быть по идее.

— Не заругали бы вас дома-то. Скажут: такое добро, а кому-то отдал.

Конструктор прислушался к шуму в коридоре.

— Ничего... Носите на здоровье, Нюра. В Крыму, даст бог, увидимся.

Конструктор отодвинул дверь, выглянул... И скоро ушел.

— Гляди-ка, какие люди-то бывают! — сказала Нюра. — Даже не верится. Ведь такая кофта... рублей сорок, а то и все пятьдесят. Вон Грушке Богатковой брат прислал — сорок пять рублей, пишет, а она победней этой-то.

— Эта? — Иван прикинул на глаз. — А шестьдесят не хочешь? Сорок... Это ж заграничная, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки.

— Все-таки никак я его не пойму: за что?

— А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем: сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все так. А есть — люди! Орлы! Я бы сам такой же был, если бы не твоя жадность. Дай-ка мне сюда деньги, а то каждый раз лезешь туда... со стыда сгораю.

— Не сгоришь. Они там надежней будут. Дай тебе бог здоровья, добрый человек! — Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. — Прямо сият, сият!..

Вдруг зеркало отъехало в сторону — в двери стояли два милиционера и проводники. И еще один — в гражданском.

— Где он? — спросил милиционер, тот самый, который был здесь с командировочным.

— Кто? — не понял Иван.

— С вами ехал... Он ушел?

— Ушел.

— Когда? Давно?

— С полчаса. Может, минут двадцать... Это вы про конструктора?

— Конструктора... Он все с собой забрал? Что у него было?

— Чемодан... Желтый такой.

— И все?

— Все... Вроде, все.

Нюра так и села. В кофте-то. И с ужасом смотрела на милиционеров.

— Но он не в Горске сошел? Позже?

— Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать... Он пошел товарища, говорит, поискать...

— Наверно, на Верхотурском подъеме спрыгнул, — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. — Не иначе.

— Черт его... мог и на шестьдесят седьмом спрыгнуть. Он куда пошел: вперед или в хвост поезда?

— Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели. А в чем дело?

Милиционеры и в гражданском ушли. Но сказали:

— Не уходите никуда из купе.

— Вот, брат, какое дело... — Один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана. — Зачем посадил без билета?! Ну, есть места — и посадил. Ну, нет: теперь виноватых надо найти! Как же! Он вот и с вами, вижу, коньяк выпивал — выходит, и вы виноватые?

— А что случилось-то?

— Сами поймать не могут, давай на других сваливать! — Проводник очень, очень расстроился. — Ну, посадил... Они просются завсегда, а места есть, все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай — надо же ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Эх-хе-хе!.. — Проводник встал и ушел.

Нюра, как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа...

— Вань... да что же это?

— Вор, вот чо эта такое. Ворюга несусветный... — Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. — Снимай кофту, — велел он. — Быстро! Давай ее сюда. Одевай свою!..

Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала и заглянул проводник.

— Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать — отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите.

— Сидим.

Проводник удалился... Иван подождал немного, выглянул в коридор... И быстро-быстро по коридору — в туалет.

В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил... Кофта застряла в трубе: раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира —

нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи, раз, другой... Пошевелили ручкой.

— Счас! — громко откликнулся Иван. — У меня понос, товарищи!

— Иди, там следователь пришел, — сказал проводник.

— Счас приду.

Проводник все не уходил... Стоял за дверью.

— Иди, он зовет, — еще сказал он.

— Да счас иду! — заорал Иван со злостью.

— Давай, — сказал проводник. И ушел.

С отчаяния Иван еще разок нажал на педаль внизу... Вода полилась через край, на пол...

В купе следователь расспрашивал пока Нюру.

— Он что, знакомым вашего мужа представился?

— Да нет, он вышел покурить, муж-то, а смотрю, вместе идут...

— Значит, просто попутчик? — Следователь (это тот, что был в гражданском, в красивых очках) внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно доконал ее. — И что он сказал, когда вошел?

— Ничего. Здравствуйте, мол. Обходительный.

Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся.

— Обходительный...

— Ну а где же... товарищ-то отсюда? — повернулся следователь к проводнику.

— Я сказал ему! — поспешно воскликнул тот. — У него... Разрешите? — Проводник наклонился к уху следователя, что-то сказал.

Следователь поморщился.

— Со страха, что ли?

Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал:

— Это уж точно.

— Понос, что ли? — спросила Нюра. — У него бывает.

В дверь купе постучали.

— Да! — сказал следователь.

Вошел Иван... Правый рукав его нового пиджака весь был мокрехонек до плеча.

— Здравствуйте, гражданин следователь.

Следователь, забыв свое важное положение, громко

засмеялся. И проводник — не понимая, в чем дело, — тоже неуверенно подхихикнул. И Иван тоже изготовился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю.

— Почему же я — гражданин? — спросил следователь, отсмеявшись.

— А как?

— Обыкновенно — товарищ.

Проводник понял наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил.

— Рано!.. Рано гражданином-то. Это потом, чудак!..

Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал... Жизнь, нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах.

Вот встретили какого-то флотского, старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изобразил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать... Актеры, эти флотские! Ему кричали, шли рядом с вагоном, его звали скорей сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас, и что он теперь будет делать!.. Потом поезд совсем остановился, флотский упал на руки друзей...

А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолоку, держит в руках каракулевую папаху, какие носят полковники, и негромко, однообразно повторяет:

— А вот папаха. А вот папаха. Кому папаху?..

— А ну, дай глянуть, — остановился один удачливый спекулянт. — Что просишь?

Поезд опять поехал.

Иван снял пиджак, надел другую рубаху... Сидели с Нюрой, молчали. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот «железнодорожный конструктор».

— Да-а, — только и сказал Иван, глядя в окно. — Дела...

— Такой молодой — и надо же! — вздохнула Нюра. — И что заставляет?

Тут дверь в купе отодвинулась, вошел пожилой опрятный человек с усиками, с веселыми, нестариковски живыми, даже какими-то озорными глазами. Вошел он и опускает на пол... большой желтый чемодан с ремнями.

— Здравствуйте! — приветливо сказал пожилой, веселый. — По-моему, это здесь... Двадцать четыре — здесь. Будем соседями?

Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, «сделал ушки топориком». Нюра тоже смотрела на нового пассажира подозрительно и со страхом.

— Далеко ехать? — спросил словоохотливый сосед.

— Далеко, — сказал Иван.

— И мне далеко... — Сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей. — Я не помешал вам?

— Нет.

Некоторое время сидели молча.

— Вы не конструктор будете? — спросил Иван.

— Нет... А почему вы решили, что конструктор?

— Да так... — Иван насмешливо, с укоризной посмотрел на пожилого соседа. — А кто вы будете, интересно бы узнать?

— Я — профессор. Но... самый, наверно, несерьезный, странный профессор: ездил в ваши края собирать частушки, сказочки...

Иван с Нюрой переглянулись.

— Собрали?

— И преизрядное количество! — Профессор хлопнул чемодан по пузу. — Богат народ! Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром — нате! Здесь, в этом чемодане, — пуд золота. Могу показать — хотите? — Профессор полез было в чемодан.

— Нам ничего не надо! — вскричала Нюра.

А Иван даже предостерегающе привстал... И смотрел на профессора недобро, очень серьезно.

Профессор вовсе был удивлен.

— М-гм, — сказал он. И замолчал.

Все долго молчали.

— Пойду, пожалуй, чайку спрошу, — сказал профессор. И встал. — Для вас не попросить?

— Нет, — сказал Иван.

— Нам не надо, — сказала Нюра.

Профессор вышел.

— Проверь деньги, — заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась. — А то тут снова пошли печкилавочки.

Нюра пощупала на боку деньги.

— Здесь.

— Переверни вниз и сиди на них. И не вставай зря...
— Да уж отсюда-то... как, поди?
— Они с руки часы снимают, не то что... оттуда. С такого объема — ты и не почувствуешь.
— Да ведь все какие обходительные!
— Чай принесет, тоже не бери: может подсыпать снотворного... По-моему, они из одной шайки. — Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан «железнодорожного конструктора».
— Может, сказать кому-нибудь?
— Да? А потом — нож под ребро... Сиди и помалкивай: мы — деревенские, люди темные, с нас взятки гладки. Спать будем по очереди.
Вошел профессор.
— Ну, вот и чаек! Да такой, знаете, славный!... Напрасно отказались.
— Мы уже... почаевничали, — сказал Иван.
Профессор внимательно глянул на Ивана.
Нюра хранила молчание.
— Сельские? — полюбопытствовал профессор.
— Ага, сельские. Из деревни.
— Ну и как там теперь, в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало? А? Люди как-то веселей смотрят...
— Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица — как начнет хохотать, ну спасу нет. Пожарными машинами отливают.
— О, как! Массовое веселье... Чего они?
— А вот — весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь...
— А знаете, что надо делать, чтоб остановиться? Со мной бывало такое — тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться...
— Ну-ка? А то прямо беда!
— Беда, беда. Что вы!.. Я знаю. То ли работать, то ли смеяться...
— Вот, вот.
— Надо встать на одну ногу, взять правой рукой себя за левое ухо, за мочку, прыгать и... Вас как зовут?
— Иван.
— Прыгать и приговаривать:

Ваня, Ваня, попляши,
Больно ножки хороши;

Больно ножки хороши -
Ваня, Ваня, попляши!

Нюра невольно засмеялась.

А Ивана почему-то эта песенка оскорбила.

— Помогает? — зло спросил он.

— Как рукой снимет.

— Вот... ученые-то, все-то они знают! Прямо позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить. Как? Ваня, Ваня, попляши?

— Ваня, Ваня, попляши.

— А вдруг да заместо того, чтоб хохотать — плясать примешься? Тоже ведь — опасно.

— Плясать?

— Но. Попрыгаешь так-то, да и пойдет чесать целый день.

— Хм... Не исключено, не исключено. Ну, что-нибудь и здесь придумается. А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина? — вдруг от души предложил профессор. — А то мы... — Он хотел еще сказать: «А то мы что-то никак не наладим добрые отношения — все что-то с подковыркой говорим». Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали:

— Нет.

— Что так?

— Нет! Большое спасибо.

— Не понимаю...

— Он у меня непьющий, — пояснила Нюра.

— И некурящий, — добавил Иван.

Профессор посмотрел на него.

— Золотой мужик.

— Подарок, — еще сказала Нюра. — На балалайке играет.

— А при чем тут — золотой? — спросил Иван.

— Ну — непьющий, некурящий... Денег, наверно, много?

— Откуда? — воскликнула Нюра. — Мы вот поехали к югу, и только-только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам... назанимались...

— А как же оттуда? — удивился профессор.

— Да не знаю, как... Как-нибудь.

Профессор смотрел на сельских жителей — он, правда, не понимал, что происходит.

— Я вот, допустим, тракторист, — стал рассуждать Иван, — она — доярка... Откуда же у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите — выпьем. Я б выпил,

приласкал душеньку... Только она, рюмочка-то, кусается нынче. Я вот к вечеру-то наломаюсь хорошо, иду мимо магазина — эх, двести бы граммчиков! А? А в уме прикинешь — рубль с лиху... слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой да нормального само... вот! И все, и проходишь мимо магазина. Попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот он желудок-то и не подготовлен к вину. Даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами. С удовольствием...

— Его сразу стошнит.

— Да, сразу...

— Чувствую, — заговорил профессор серьезно, — ломаете дурака, Иван Иваныч...

— Иван Федорыч.

— Иван Федорыч... Ломаете дурака, Иван Федорович, а не пойму — зачем?

— Вы одного конструктора знаете? — в лоб спросил Иван.

— Я их много знаю, не одного... А что?

— Да нет, ничего, все ясно. По железной дороге, да?

— Что «по железной дороге»?

— Без мостов. Система игрек?.. Пожилой человек. Не стыдно?

— Вань!.. — взмолилась Нюра.

— Да пошли они к..! — открыто обозлился Иван. — Бессовестные. Люди за копейку-то горб ломают, а эти — стянул чемодан, и радешенек, и богатый, хорошее вино пьют, коньяки... Есть у меня деньги, есть! — не подговаривайся! Только попробуй возьми хоть один рубль — вот, видел? — Иван показал увесистый кулак. — Быка-трехлетка с ног сшибаю...

Профессор понюхал протянутый кулак.

— Да, могилой пахнет. Серьезный кулак. Надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете... Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам? А ему я покажу документы. Хотите, вам покажу?..

— Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо. И я никуда не пойду — не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю.

— Нет, я все-таки схожу. А то этак мы всю дорогу и будем подозревать друг друга...

Профессор вышел.

— Вань, — встревожилась Нюра, — не зря мы человека-то обидели?

Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу.

— А, Вань?

— А я откуда знаю? — взорвался Иван. — Иди разбери их... Откуда он, пуд золота-то? — Иван пнул профессорский чемодан. — Может, кокнул кого-нибудь в тайге — вот и...

— Да шибко уж не похожий.

— А тот был похожий?

— Господи, господи, — только и сказала Нюра. — Правда, трудно понять людей.

Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется.

— Ты чего это тут бдительность развел? — спросил он. — Это товарищ Степанов, профессор из Москвы... Тебе уж теперь на каждом шагу будут воры казаться. Некрасиво, обидел товарища...

— Насчет обиды — это не надо, — попросил профессор. — Никакой обиды.

— Ну как же?..

— Никакой обиды! Хорошо, что все объяснилось.

— Давай тут... не очень! — счел нужным еще сказать проводник Ивану. — Какой же он вор! Хоть немного-то разбирайся в людях.

— Ты много разобрался в том конструкторе... которого без билета посадил? — обиделся Иван на нравоучения лакеистого кондуктора. — Бегал тут... икру метал. Еще ухмыляется!

— Ну-ка! — прикрикнул проводник. — Давай-ка, приведи себя в порядок! Не очень тут!.. Не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор.

— Я устроюсь. Хорошо.

— Если он будет тут чего-нибудь фордыбачить, скажите мне... Мы его живо приструним. Мы ему...

— Да идите вы к дьяволу! — вскричал вдруг профессор. — Чего вы пристали к человеку?!

Проводник опешил. Молчал.

— Извините, пожалуйста! — сказал профессор. — Спасибо. Мы теперь сами разберемся. Идите.

— Ну, давайте, — сказал проводник. — Ничего. — И ушел.

— Фу ты, дьявольщина какая! Нехорошо как...

— Товарищ профессор, вы уж простите нас, ради бога, — сказала Нюра. — Обознались мы...

— Да что вы!.. За что? Я, старый дурак, поперся к проводнику... Надо было самим разобраться.

Иван, опозоренный, молчал, насупив брови.

— Попроси прощения! — строго сказала Нюра. — Язык-то не отсохнет.

— Та-а... — Иван сморщился. — В этом, что ли, дело?

— Забудем все недоразумения! — решительно сказал профессор. — Нам же далеко ехать!.. С какой стати мы испортим себе дорогу? Иван!..

А поезд опять подходил к станции.

И опять перронная кутерьма... Приехали. Уезжают.

В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая, гитаристская группа студентов — юноши и девушки, большинство — девушки.

Поезд тонко закричал...

Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор — с блокнотом в руках — экзаменует Ивана на предмет владения родным языком. Настроение у них хорошее; Иван относится к «экзамену» довольно серьезно; Нюра — больше на подсказках.

— Просто — ударить. Он ударил — я ударила — кто-то ударил...

— Вломил, — начинает Иван.

— Так.

— Жогнул.

— Жогнул?

— Ну — жогнул. Рраз! — жогнул.

— Ага! Хорошо. Еще?

— Тяпнул.

— Да. Еще?

— Матерно можно?

— Нет, это не надо.

— А там много, вообще-то...

— Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина.

— Она слышала...

— Итак?

— Наподдал, — подсказала Нюра.

— Наподдал... Да. Невыразительный глагол. Женский какой-то.

— Хряпнул. Ломанул.

— Вот это... глаголы! Мускулистые.

— Перелобанил. Окрестил. Саданул... Нае... Нет, не туда. Врезал. Смазал.

— Так, так, — подбадривает профессор.

— Пиннул, — опять вмешивается Нюра.
— Пиннул? Это хорошо. Пнул, да?
— Ну да. Пиннанул, у нас бабка говорит.
— Это старушечий, — снисходительно бросил Иван. — Взял на калган, — еще вспоминает он.
— Это что такое?
— Головой дал! Вот так вот. — Иван взял профессора за плечи, рывком кинул на себя и подставил голову, но, конечно, не ударил — показал.
— О-о! А калган — это голова?
— Голова.
— Это по-каковски же?
— По-русски! Кал-ган. У нас еще зовут — сельсовет.
Профессор засмеялся.
— А как еще?
— Чердак.
— Чего попало! — изумилась Нюра. — Неужели вам это на самом деле нужно?
— Нужно, Нюра.
Тут в купе вошли веселые девушки-студентки устраивать одну свою подружку. Трое.
— Нам сказали, у вас одно место свободное...
— Так точно! — приветливо откликнулся профессор. — Располагайтесь. Которая из вас? Стоп, мы сами выберем. Самую красивую.
— А ну? — Девушки все были хорошие, крепкие, голоногие. — Выбирайте!
Профессор поверх очков оглядел всех... Искренно вздохнул.
— Оставайтесь все. Выбирает тот, кто... забирает. О-о!.. — сам болезненно сморщился он. — Вот это каламбур!
Девушки засмеялись.
— Какую же?
— Какую, Иван?
Иван гигикнул, покраснел и... посмотрел на Нюру.
— Ну, раз ты уже выбрал, то мне — все равно: я свою станцию проехал, — сказал профессор.
Оставили голубоглазую грудастую Любу.
— Закончена сессия — и ноги в руки! — позавидовал профессор. — Что за институт?
— Педагогический.
— Факультет?
— Физмат.
— Физмат и только физмат. Всемогущий физмат! —

огорченно сказал профессор. — Куда только прибежите со своим физматом.

— А вам не нравится физмат?

Профессор весело посмотрел на девушку с физмата.

— Милая, он вам самой не нравится.

— Почему? — растерялась девушка.

— Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин...

— Одно другому не мешает.

— О, еще как!

— Педагогический — это, значит, будете учительствовать? — встрял в разговор Иван.

— Да.

— Да-а... — значительно сказал Иван. — Вот сейчас радуетесь, что учитесь, веселитесь — в люди выходите, а я смотрю на вас и жалею...

— Иван! — сказала Нюра.

— Что?

— Чего заборонил-то? Жалеет он. Ты что?

— А что такое, Иван? — заинтересовался профессор. — Нюра, почему вы остановили?

— Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских...

— Ну?

— Да ладно!

— Да что же ладно? Расскажи.

— Достается им, бедным... Но, может, я, правда, чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать... Ладно.

— Фигура учителя заметно стала ниже, — сказала девушка Люба. — Очевидно, он это хотел сообщить.

— Что ты хотел сообщить, Иван? — спросил профессор строго. — Что подлинные учителя в городе остаются?

— Он сам не знает, что он хотел сообщить, — сердито сказала Нюра. — Выпил лишнего? Ложись вон, спи.

Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные... Но молчал.

Тут из соседнего купе пришла делегация девушек.

— Сергей Федорыч... простите, пожалуйста...

— Ну, ну, — сказал профессор.

— Мы вас узнали... вы по телевидению выступали...

— Выступал. Был грех.

— Пойдемте к нам... Расскажите нам, пожалуйста... Мы вас приглашаем к себе. Мы — рядом.

— Пошли, Иван. Недалеко. — Профессор встал. — Бутылочку брать с собой? — спросил девушек.

Девушки засмеялись.

— Берите!

— Ваня, а ты бы воздержался — не ходил, — сказала Нюра.

Но Ивану очень интересно с профессором.

— Да будет тебе! Чего тут такого? Рядом же.

— Да ничего! Будешь потом по вагону бегать...

— Нюра, он не будет бегать по вагону, — пообещал профессор.

И профессор с Иваном ушли.

А луна светила!.. Ночь шла по земле, выстилая на полях белые простыни.

Жутковато, гулко прогудел мост... Поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле.

Выбежали к дороге белоногие березки — и такие они ясные, белые под луной, такие родные... И грустные. Смотрят вслед поезду.

— А вот вы приезжайте, посмотрите! — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. — Вот тогда узнаете, как я живу!..

Студентам весело. Ивану тоже.

Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана: не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него.

— А косить мы будем?

— А зачем косить? У нас теперь машины косят... А-а, так — в охотку? Можно покосить. Я вам устрою. Но это, ребятки, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки... Как в песне-то поется:

С сестрой мы в лодочку садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам...

Студенты засмеялись.

— А «Волга» у вас есть?

— А зачем она мне? Я без «Волги» вот так живу! Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет! У меня — зайдешь в дом — пять ковров сразу висят. Персидских.

— А шкура медвежья есть?

— Три штуки. Одна в прихожке — я сапоги об ее вытираю, одна в детской, детишки на ней играют, волосья дерут... Дальше, посмотрим направо — барометр висит...

— А громоотвод?

— Громоотвод — на крыше. Я пока внутренность опи-

сываю. А налево, как зайдешь, — сервант на тоненьких ножках... Я его один раз — с получки — задел нечаянно, на сорок восемь рублей одной только посуды расколол...

— Жена вам — скандал?

— Не, она у меня не базланит. Это не то, что есть некоторые... Ох, не будьте такими — это хуже всего на свете. Тут и так-то... не сладко, а если еще и дома... Если я устал, как собака, я посплю — отдохнул, можно снова за работу. А если еще дома... Нет, это плохо. Хуже нет.

— Вы же говорите, вы хорошо живете.

— Я-то хорошо! Я про других. А я-то — дай бог каждому! Я, допустим, прихожу с работы: «Ну, Нюся, давай корми, голубушка». Она на стол — картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не выводится. Свиннота эта у меня вот здесь сидит. — Иван хлопнул себя по загривку. — Ох, и прожорливые же!.. Иной раз взял бы ружье и пострелял всех к чертовой матери. А если, бывает, совсем здорово устанешь па работе, я сразу, с порога: «Ну, Нюся...»

Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио.

Вошел профессор.

— Ну, Нюся!.. Что, скучаем?

— Что он там? — озабоченно спросила Нюра.

— Иван?.. Да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато.

— Тьфу, трепло! Вот трепло-то! Пара штанов завелась лишняя да рубаха-перемываха... Богач! Вот, знаете, так мужик — ничего, грех жаловаться: ребятишек любит, меня жалеет... Но как выпьет, тут уж держись: или хвастать начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько уж раз учили, дурака, один раз голову стяжком проломили — неймется! Нальет глаза, и все нипочем: па пятерых — па пятерых лезет.

— Часто пьет?

— Да нет, так-то грех тоже жаловаться. Работает-то он, правда, много. У их все в роду — работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка... Как праздник подходит, так у меня душа загодя болит. Люди веселятся, а я сижу дома, жду: счас прибегут, скажут: «Ванька дерется!»

Профессор вздохнул.

— Смеются там над ним? — спросила Нюра.

— Да нет... Ну, молодые: им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно... Сострить опять же мож-

но. Только... — Профессор не стал говорить, что это «только». — Ничего. Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться — не чужой. Сердце-то болит.

В купе, где студенты, слышно, запели под гитару нечто крикливое, бестолковое:

В трюмах кораллы и жемчуг;
Весел пиратский бриг.
Судно ведет с похмелья
Сам капитан — старик...

— Пираты, — в раздумье молвил старик профессор. — Пираты, ковбои... Суровая зелень. Отчаянный народ.

В купе заглянул курносый парень.

— Это у вас?

— Что?

— Пели-то.

— Нет, это по соседству, — сказал профессор. — Они уже перестали. Слова списать?

— Я бы их так запомнил... Хорошая песня.

— Куда путь держим? — спросил профессор.

— В Крым. — Курносый присел на диван. — Второй раз. Опять радикулит... Замучил.

— Болит? — посочувствовала Нюра.

— Болит, — отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом. — Во народу где! Идешь по пляжу — тут женщина голая, там голая — валяются. Идешь, переступаешь через их...

— Совсем голые?! — удивилась Нюра.

— Зачем? В купальниках. Но это же так — фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал: «Купи плавки!» Так они что там делают, по улице и то ходят вот в таких вот штанишках — шортики называются. — Курносый чуть подсюсюкивал, у него получалось — «станиски», «сортики». — Ну, идешь, ну, смотришь же... Неловко, вообще-то...

— Ну да, — согласилась Нюра, — другая и по морде даст.

— Да нет, там это само собой разумеется. Но, вообще-то, неловко. Ну, мне там один тоже посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь...

— Во!

— Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а

тут наяривают, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я скажу! Вот, собаки! Сердце заходится. Так глядишь — вроде совестно, а потом подумаешь: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего же мне-то совестно? Ритмичность... везде ритмичность. Там один тоже стоял: бесстыдники, говорит, что вытворяют! Ну, его тут же побрили: не нравится, говорят, не смотри. Иди спать. А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение (осюсение), полезь на меня десять человек — не страшно. Я чуть не заплакал. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз — ну, красота! На всех пароходах — музыка. Такое ощущение, что музыка из воды идет. Спускаемся — опять в ресторан...

— Это ж сколько денег просадить можно?! — сказала Нюра. — Тут ресторан, там ресторан...

— Они там на каждом шагу! Мне там один тоже говорит: первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул. Нет, там есть пельменные, вообще-то. Три порции — от так от хватает...

...А в купе, где Иван, некто молодой, очень красивый, пел под гитару очень красивую песню — про «Россию-матушку».

За Россию-матушку — все умны,
За Россию-матушку — все смелы...

Иван слушал, стиснув зубы. Песня очень ему понравилась.

Вошел курносый (курортник), присел, тоже стиснул зубы. Ему тоже очень понравилась песня.

Песня кончилась.

Все посидели молча... Курносый спросил гитариста:

— А «Очи» можешь? Дай «Очи»!..

Иван пристукнул кулаком по колену... Встал и пошел из купе.

И запел в коридоре:

С сестрой мы в лодочку
садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам!..

Потом Иван вошел в свое купе.

— Дорогие мои, хорошие, — заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собой, и Иван смолк.

А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого

внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили:

— Прямо не знаю, как вам и сказать... — раздумчиво сказала Нюра. — Все же у меня двое детей... да маленькие такие!..

— Господи! — тихонько воскликнул профессор. — Ну и что? И прекрасно. Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик... будете жить-поживать да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить. Решайся.

— Прямо не знаю... — тихо и грустно опять сказала Нюра. — Если уж честно-то: конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда: опять, думаешь, какая-нибудь история... А ему сколько лет-то?

— Тому человеку-то? Семьдесят. Но он еще в форме... Седой такой, головку носит гордо — красавец. Он всю жизнь танцевал в оперетте, поэтому... головку умеет держать.

— Многовато, вообще-то...

— Да я же говорю: он любого молодого за пояс заткнет! Ну, и потом — культура! Там же через каждое слово — «мерси», «пардон», «данке шён»... Ты хоть отдохнешь от этих всяких «чаво» да «надысь»...

— Да охота, конечно, пожить, как...

— Я извиняюсь, — вмешался Иван, заметно трезвея. — Про кого тут речь?

— Дело же не в том даже, что самой пожить, — продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, — а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас-то — что за пример они видят!

— Я же про то и говорю! — подхватил профессор. — Пример же будет.

— Я подумаю, — сказала Нюра.

— Подумай, подумай.

— Ну и что, что семьдесят: я за ним ухаживать буду...

— Так, а что там ухаживать-то: утром отнес его в садик, посадил в креслице — и сиди он себе, «мерсикай». Ест мало, кашку какую-нибудь сварил, он покушает, и все. А вечером...

— Слушайте, — заговорил Иван, угрожающе округлив глаза. — Я говорю, я извиняюсь, но я же — тут! В чем дело?!

— А, ты тут? — «спохватилась» Нюра. — А мы и не слышим — заговорились с Сергеем Федорычем. Давно пришел?

— Да так тихо вошел! — удивился и Сергей Федорыч.

— В чем дело? — спросил Иван.

— Ни в чем.

— Кому семьдесят лет?

— Мне, — сказал профессор.

— Нет, я же слышал...

— Ложись-ка спать, Ваня, — мирно сказала Нюра. — Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел... чего еще? Свою норму выполнил — можно и на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый. Лезь баиньки. Давай.

— Я ничего не понимаю, — пробормотал Иван.

— Завтра поймешь. Завтра все поймешь.

Иван полез на верхнюю полку и затих.

Пришла Люба... Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла.

Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.

— Что же, правда, что ли, там такая жизнь?.. — спросила Нюра тихо. — Парень-то рассказывал...

— Нет, — тоже тихо откликнулся профессор. — Впрочем... что-то есть и от правды.

— Гляди-ка, корову, говорит, целую ухнул... Неужели можно?

— А сколько корова стоит?

— Четыреста — четыреста пятьдесят... А с телком — так и больше.

— Можно. Можно и корову с телком ухнуть... На Руси умеют коров ухать.

Все, наверно, спят в длинном поезде.

Не спят только на паровозе.

Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника:

— Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?

— Знаю. Третий сказал: «А сколько вам надо?» Ты уж седьмой раз рассказываешь.

Машинист засмеялся:

— Придумают же!.. Смешно.

— Анекдот-то — вот с такой бородой.

— Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет?

Колька пожал плечами.

— Люди...
— Я вот хочу какой-нибудь сочинить, и никак не выходит.

Нюра спит... Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице.

Она увидела сон:

Распахнулся огромный, с плющом, с фикусами в огромных кадках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танце... «Очи черные».

Гремит и кривляется «ритмичная жизнь». То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра — конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу, и нет ли тут — среди обаятельных дам и джентльменов — этих, с хвостиками и на копытцах?

С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал... И вышла к столу, где пирует ее Иван. Он славно пирует! По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское...

— Пойдем домой! — сказала Нюра.

Иван отрицательно покачал головой. И усмехнулся.

И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно...

Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись, девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками...

И вдруг Нюра остановилась. И заткнулась музыка... И все замерли. Нюра пошла опять к столу... И с ее шагами, сперва тихо, потом громче стала нарастать удалая, вольная музыка «Из-за острова на стрежень».

И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина... И грозно смотрит на Нюру.

Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад. И сама пошла следом за ним.

На пороге, в дверях, оглянулась и произнесла гневную речь.

— Эх, вы! — сказала она. — Смеетесь?! Над кем смеетесь?! Это над вами смешно-то. Это мне надо смеяться-то, а не вам. Что вы делаете?! Как вам не стыдно?! Девушки!.. Зачем заголились? Чтобы мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас же глядеть муторно! Тьфу!.. В такие-то годы — работать да детей рожать, а вы с ума сходите.

За Нюрой, за ее спиной, стали появляться мужчины пенсионного возраста, и тоже укоризненно смотрели. И молчали.

— Мой вам совет: прекратите это и займитесь полезным трудом!

Положительные мужчины за Нюрой захлопали.

— Чтобы я этого больше не видела!

Мужчины опять захлопали...

Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала.

— Вань!..

Иван спал глубоким сном.

Нюра встала, потрогала его на верхней полке... И опять легла. И закрыла глаза.

Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо.

Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества.

— Я тоже был гордый! Я очень красиво выразился: «Не моя воля, что я родился под этой крышей, отныне моя воля в том, что я навсегда ухожу отсюда!» Во как сказал! Я был позер. В двадцать лет все позеры.

— Почему все? — возразила Люба.

— Все, без исключения, — подтвердил профессор.

— Ну а дальше? — попросила Нюра.

— Я ушел. Простите, уехал.

— А она?

— Она осталась.

— Но вы же любили ее!

— Да. Но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодщину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время!.. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу — зеленый...

— Что же дальше? — все не терпелось узнать Нюре.

— Дальше... Я встретил там Машу... Свою Марью Ивановну. И все.

— А Катя?

— А Катя встретила своего... какого-нибудь Василия Ивановича — баш на баш.

— А кто раньше встретил: Катя или вы? — спросила Люба.

Профессор засмеялся.

— Вот что значит — не романист я! — пропустил

такую главу... Катя встретила первая. Я был очень далеко... в деревне — с экспедицией. И там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком сто двадцать верст...

— Что же, никто не мог подвезти?

— Я не хотел. Я нес свое горе, страдал! Не на телеге же страдать. И, знаете, я правильно сделал, что протопал эти сто двадцать верст. Я не верю в скоротечные — в одну ночь — перерождения... Но в сто двадцать верст вологодских дорог я верю. Много я передумал всякого... Много понял.

— Господи, прямо как в книге, — сказала завороженная Нюра.

— Вот это-то я и понял главным образом: что все это — мое горе, мои страдания — это пока роман. Но еще не жизнь. Жизнь началась потом...

— А к отцу-то вы вернулись?

— Нет. Уже не вернулся. И, вообще, дальше уже... нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий... А?

Обе в один голос — и Нюра и Люба — воскликнули:

— Очень интересно!

— Очень.

В купе заглянул проводник.

— Чайку не желаете?

— Желаем! — сказал профессор. — И побольше, пожалуйста. Десять стаканов. Скажите, а газеты здесь носят?

— Нет, газеты на станциях.

Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул под простынью штаны, слез с полки.

— Здравствуйте, — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.

— Стыдно, — сказала Нюра.

— Чего? — не понял профессор.

— Ну... вчера хватил лишка, сегодня стыдно. Весь день молчать будет.

— Ну зачем же так? Так даже скучно.

— Ничего, пускай. Пускай помается.

— Всегда так?

— Всегда. А если где подерется, то и ночевать домой не придет — в мастерской спит, у сторожа. Дня по два там живет. Совестно.

Поезд подошел к станции.

Иван, с полотенцем в руках, выскочил из вагона и

побежал к газетному ларьку. Накупил газет — всех по одной... побежал обратно.

В купе готовились пить чай.

Иван вошел с газетами... Положил их на стол. Фальшиво-небрежным тоном сказал:

— Почитаем, что ли...

— Газеты! — удивился профессор. — Где достал, Иван?

— Там... — Иван кивнул в сторону станции.

— Ну как? — спросила Нюра строго.

Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно:

— Что, что?

— Ничего!

— А что? Ничего. А что?

— Ничего... и совесть спокойна, и душа не болит?

— А что, что? — тихо, впробормот спрашивал Иван. И ни на кого не глядел.

— Крепкая же у тебя совесть... — Нюра взяла полотенце и пошла умываться.

Профессор с Иваном остались одни (Люба ушла к своим).

— Попало? — спросил профессор.

— Та-а... — Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.

— Голова болит?

— Не! — поспешно, с бодрецой откликнулся Иван. Но головы опять не поднял.

— У меня есть бутылочка сухого. Выпьешь?

Иван глянул на дверь...

— Она долго не придет — там очередь. Выпей, легче станет.

— А вы?

— Я не хочу... У меня не болит.

Профессор достал из чемодана длинную бутылку. Сам тоже посматривал на дверь. Налил стакан.

Иван одним махом оглушил стакан.

— Ху!..

— Еще?

— Нет. Спасибо.

— Тяжело бывает после выпивки?

— Да не то что тяжело — муторно.

— Но ты особо-то не переживай, ничего вчера безобразного не было.

Иван мучительно поморщился.

— Трепался, наверно?.. Гадский язык: обязательно натрепаться! Ненавижу себя за это!.. Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе, за пятьдесят километров. Смолол. Ну, выпили там с мужиками... И чего мне в башку влетело: стал всем доказывать, что я Герой Социалистического Труда.

— О!

— Ну! Меня насмех, я в драку... Как живой остался! — их человек восемь, мужиков-то.

— Да-а. А вчера что-то быстро ты захмелел-то?

— Да я же еще днем коньяк пил! С этим ворюгой-то. Ну и развезло — ерш получился. Я так-то не слабый... А чего я говорил там?

— Где? У студентов? Рассказывал, как ты хорошо живешь.

— О-о!.. Вот же козел!

— Ну, а как жизнь, вообще-то? Если не трепаться...

— Да ничего живу... Нормально. Я не гонюсь за богатством. Мне бы вот ребятишек выучить — больше ничего не надо. Ничего так-то — все есть. Телевизор есть, корова есть. Свинья даже есть, хоть я их ненавижу, собак, — прожорливые. Все есть, я не жалуюсь.

— Иван, ты хотел про учителей рассказывать... Расскажи?

Иван посмотрел на дверь купе...

— Ладно, — сказал профессор, — мы еще выберем время.

Велика матушка Русь!

И на восходе солнца, и на заходе солнца, и белым днем, и ночью, — идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди? Куда-то все едут, едут...

Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе:

— Все это хорошо, но это — сплошная чувствительность. Мы сегодня — не те.

— Но это же прекрасно, — неуверенно сказала соседка. И прочитала:

Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

— Не мужские стихи, — проговорил жестокий лейтенант. — Розовый конь... — это не из двадцатого века. Согласитесь.

Как тут не согласиться! И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять как «пожалуй».

Две дамы от души состязаются в любезности.

— Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.

— Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть.

— Но меня это нисколько не затруднит!

— Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы!

— Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит...

— Нет, пожалуйста, пожалуйста...

Внизу на диване полулежит здоровенный парнина и, отложив «Огонек» в сторону, с интересом слушает дам.

А вот — дядя... Вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных и поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат:

— Что же ты прешь, как на буфет! Дядя!..

— Ну куда? Куда?

— Эй!.. Можно поосторожней?!

Дядя — ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное — занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейные, а если будут общие, то в них будет свободно... И что же будет? — тоска зеленая!

Едут, едут, едут...

Спят...

Читают...

Играют в карты...

Играют в домино...

Рассказывают друг другу разные истории из жизни...

Едят...

Едят...

Едят...

Иван двинул с дороги письмо домой.

«Здравствуйте, родные:

теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки: Валя и Нина! Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам на-

шей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая — градусов двадцать пять по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан. Взяли на первое — по борщу, на второе — бистроганов. Едет с нами один старичок профессор, очень хороший. Ну, были другие разные происшествия — приедем, расскажем. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь — у него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь. Берегите детей.

Иван».

И вот — Москва.

По радио торжественно объявили:

— Граждане пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — город-герой Москву!

Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра. Профессор с интересом наблюдал за ними.

— Ваня!.. Глянь-ка, дом-то! Вань! — вскрикивала Нюра.

Ивану тоже страсть как интересно, но он сдерживал себя. И Нюру.

— Чего ты орешь-то? Чего орешь-то? — Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора — тоже посмеяться вместе над Нюрой. — Ну, дом... колоколенкой.

— Гостиница «Ленинградская», — сказал профессор.

— Сколько этажей? — спросил деловитый Иван.

— Черт его знает!.. Понятия не имею.

Поезд остановился.

Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон. Профессор высматривал кого-то в толпе.

— Сын должен встретить, — пояснил он. — Иван, расскажи ему про учительницу... Вообще поговори с ним, а то эти молодые ученые... решили, что они все знают...

— Тоже ученый? — полюбопытствовал Иван, но только за-ради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него.

— Постоим тут, — велел профессор. — А то разминемся.

Остановились в стороне от потока.

— Народу-то, народу-то! — все изумлялась Нюра.

— Миллионов десять живет? — поинтересовался точный Иван. — Или побольше?

— Понятия не имею! — несколько даже гордо ответил профессор. — Это наши ученые знают... Знают, а ничегошеньки сделать не умеют: Вавилон растет и растет. Вон он! О-о!.. Одна поступь чего стоит!.. Ужасно самовлюбленный народ... — Профессор помахал рукой.

— Чую, батько! — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока.

— Наконец! — сказал веселый, иронический профессор.

Они поцеловались. Профессор представил сына:

— Сын.

— Иван, — сказал сын.

Иван тоже назвался:

— Иван.

Профессор засмеялся.

— Нюра, — сказала Нюра. И подала ладонь лодочкой.

— Это мои гости, — пояснил профессор. — Мать здорова?

— Относительно...

— Твои?

— Все в порядке! Хорошо съездил?

— Хорошо. Пошли, пошли, чего мы стоим? Пошли.

— Тебе звонили из...

Трое наших затерялись в толпе.

А «миллион народа» все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал...

Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглоликая Мария Ивановна.

Перецеловались, перезнакомились в прихожей...

— Проходите сюда! — позвал размашистый великодушный профессор. — Иван!..

— Да, папа?

— Не ты, Иван-гость. Ну и ты — давайте сюда! Иван-сын, как у тебя день?

— У меня лекции. Я отпросился тебя встретить.

— Лекции, лекции, — недовольно заметил профессор. — Поговорил бы лучше с живыми людьми — это не социологические столбики с цифрами...

— Социология — это как раз живые люди, — отрезал сын. — Вечером мы с удовольствием поговорим.

— Вечером у вас Дом кино, театр, друзья... Послушал бы, правда. Иван, расскажи ему про учительницу...

Где-то в одной из комнат затрещал телефон. Иван-сын скоро пошел туда.

— А ведь какая видимость деятельности! — все ворчал профессор.

Иван и Нюра не понимали: всерьез профессор чем-то недоволен или же это такая его манера говорить дома?

— Папа, тебя! — позвал сын.

Профессор пошел к телефону.

Супруги Расторгуевы на малое время остались одни.

— Опять вылетел с языком? — сердито, негромко заговорила Нюра. — Чего рассказывал про учительницу-то? Про какую учительницу?

— Да это... про Федорову...

— Тьфу! Вот пропишут куда-нибудь в газету!.. Сказал-рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?

Иван лихорадочно обдумывал положение.

— Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивши... Спьяну молол. Так? Потом, я говорил, что она получает сто рублей... Но я же забыл алименты! Сорок семь рублей алиментов. Сто сорок семь — не такая уж это бедность.

— Дрова бесплатно привозют, — подсказала Нюра.

— Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу...

— Для чего он тебе, телефон-то?

Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.

— Да здесь-то, для сравнения-то, надо чего-нибудь говорить! Мало ли, что он не нужен, делай вид, что пропадаешь без телефона...

— А чего ты ему говорил-то?

— Та-а...

— Ванька, скажи! Я, может, что-нибудь придумаю — выручу тебя. Чего говорил-то?

— Ну, говорил, что я, необразованный человек, живу лучше ее... Ненормально, мол, это. Оно, так-то подумать — ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже... Да я готов ей вскладчину допла...

В комнату вошли профессор с сыном.

— Ну иди, иди, — говорил отец. — Ай да наука!.. Наизусть на дом не задают?

Иван-сын пожал плечами и вышел.

Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.

— Иван, Нюра... вы распрямитесь как-нибудь... Чувствуйте себя свободней!

Иван пошевелился на стуле, а Нюра — как сидела, так осталась сидеть — в гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть улыбнулась и чуть кивнула головой.

Профессор пошел на кухню.

— Они надолго? — спросила Марья Ивановпа.

— А что? — наструнился профессор.

— Ничего, просто спрашиваю.

— Мне показалось — не просто.

— Но я должна подумать, рассчитать...

— Изволь, опи пробудут здесь две недели, — спокойно сказал профессор. И даже пе стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. — Приготовь завтрак.

— Почему две недели? Они же куда-то дальше едут...

— Они едут на юг. А почему бы им не пожить две недели в Москве? У них это не так часто случается.

— Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?

— Я? Нисколько.

— Только очень тебя прошу: води их по Москве сам, не проси Ивана — ему, действительно, некогда.

— Я знаю, у него лекции.

— У него лекции, да, — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. — Если тебе...

Иван-гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги.

— Не тронь! — сказал Нюра.

— Чего?

— Сядь и сиди. Не лазий там. Чего ты там забыл?

— Книги смотрю... Что тут такого? Все культурные люди так делают.

— Культурные люди в чужом доме сядут и сидят.

— Ну и неправильно! Надо... развязней быть... Поговорить...

— Ты уж один раз поговорил... Говорун.

— Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были... Чтоб интересно с нами было, — учил Иван. Откуда только набрался! — Возьми вот расскажи, как вы в прошлом годе от медведя чесали. Пусть люди похохочут...

Вошел профессор, весело объявил:

— Сейчас будем завтракать!

Нюра не шевельнулась.

А Иван кивнул головой, одобрил:

— Хорошее дело.
— Ну, так как вам Москва-то?
— Очень большая, — вежливо сказала Нюра.
— Вавилон! Заметьте, однако: за последние годы рождаемость в городах упала в два раза. А прирост населения в полтора раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью!.. Охломоны.
Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком:
— Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же...
— Им это полезно знать.
— Сына упрекаешь за лекции, а сам...
— Это цифры ученых. Социология.
— Что же здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются... Они ставят перед обществом вопросы.
— Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не...
В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать.
Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор... Лысый. Поздоровался.
— Приехал?
— Приехал...
— Ну как? Полностью сельский человек?
— Не говорите! С собой даже привез... На сына набросился — за лекции...
— Предлагает ехать в деревню? — с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. — В народ?
—Теперь это надолго, — вздохнула Марья Ивановна.
Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату.
— Ну здравствуйте, здравствуйте!.. С приездом. — Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. — Как поживает деревня-матушка?
Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку.
— А как себя чувствует Вавилон?
Профессор-гость не снимал игривого тона.
— Ну, ему-то что сделается! Растет. Шумит.
— Нет, это не рост — нагромождение, — сказал хозяин. — Рост нечто другое... Живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе.
— Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы: тело не упадет, если сохранит

скорость... Не нам с тобой, Сергей Федорыч, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить... Постараются сохранить скорость.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила хозяйка к столу.

И тут Нюра совсем выпряглась.

— Спасибо, спасибо, — сказала она. — Мы утром чай попили...

— Да вы что! — воскликнул профессор-хозяин. — Ну-ка давайте...

— Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой...

Даже Иван понял, что это уж слишком.

— Садись, что ты?

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила и хозяйка. — Зачем же идти в столовую, когда можно дома?

— Мы в столовой-то, знаешь, сколько время потратим! — убеждал жену Иван. — А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила.

Нюра сдалась.

— Ну, можно закусить немного...

Когда сели уже за стол (профессор-гость отказался, просматривал записи, привезенные хозяином), пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее.

— Это мои гости, — сказал профессор-хозяин.

— Очень приятно.

— Людмила... как у тебя день?

— У меня с двух часов заочники.

Профессор помрачнел. Замолчал.

— Ваня звонил? — спросила Люда, не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел.

— Он ушел на лекции.

Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню.

— Странный ты человек, Сергей Федорыч, — заговорил профессор-гость. — Ну, а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?

— Это ты странный!.. Я предлагаю! Я уже давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить!..

— Ну как же быть?

— На это мог бы ответить хозяин дома. Но таковых теперь в домах не бывает... Разве вот у них, — Сергей Федорыч кивнул в сторону Ивана и Нюры. — И то вряд ли.

— Частенько русские... домострой вспоминают. Странная тоска... В профессорском доме. Не находишь?

— Нет, не нахожу.

Профессор-гость уткнулся в тетрадку.

Гости — Иван и Нюра — не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так, — из ложечки же. И снова доставал.

— Вкусная штука, — похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина.

— Ешь, ешь, — кивнул Сергей Федорыч. — Это память о домострое. Редкая штука.

ГУМ.

Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов... То вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя.

Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу... Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала — что-то такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку.

Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки... Продавщицы ей делали замечания, Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие — перебирать товары. Она прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность!

Она тащила Ивана все дальше и дальше... Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали... Вместе заглядывали в бирочки, где указана цена... И шли дальше.

В одном месте толпа растащила их в разные стороны...

Иван забеспокоился... Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная женщина, с веснушками.

Одни качали головой — не видели...

Другие улыбались...

А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану...

А профессор Сергей Федорыч в это время названивал по телефону в справочное Курского вокзала. Справочное все время было занято.

— Кошмар!.. — застонал профессор. — Целый час — все занято.

Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил:

— Они кладут трубку на стол и читают детективные романы.

А Иван стоял у фонтана в ГУМе и ждал... жену. Волновался, как любовник.

— Нет, это черт знает что такое! — взревел профессор-хозяин. И бросил трубку. — Это же, простите, не работа!.. — Он встал и заходил по комнате. — Это не неумение работать, это не-же-ла-ние работать! Ну как же: она десять лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий — это беспосадочный перелет Москва — Владивосток...

— Старо! — сказал профессор-гость.

— Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд «Москва — Симферополь»! Фи! — Сергей Федорыч всерьез разволновался. — Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни!.. Вот увидишь, сейчас, если дозвонюсь, рявкнет: «Москва — Симферополь» отходит в поль целых...» И подумает: «Старый осел».

— А ты как-нибудь... молодым баритоном попробуй.

Профессор опять подсел к телефону. Опять было занято.

— Так!.. — Профессор тихо стал звереть. И неожиданно перешел от крика на тихий, зловеще-вкрадчивый голос: — А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело — ответить, если спросили, — и есть высокий долг...

— Видишь, у тебя получается — баритоном-то.

— Пошел к дьяволу!

— Чего ты психуешь-то? Ну занято... Один ты звонишь, что ли?

В это время пришел Иван-сын.

— Вий пришел, — сказал отец. — Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста...

— В чем дело?

— Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято...

— Когда нужны билеты?

— Ты хотя бы узнай...

— Когда нужны билеты? Их принесут сюда, на дом.

— На завтра.

Иван-сын подсел к телефону, набрал номер...

— Сергей? Сережа, нужно два билета... Хотя, подожди... У них сквозной до Симферополя?

— Нет.

— На завтра. Два билета. До Симферополя. Спасибо. — Сын положил трубку. — Завтра утром сюда принесут два билета. От десяти до двенадцати.

Старики молчали. Долго молчали...

— Так жить можно, — не то шутя, не то серьезно сказал профессор-отец, — блат кругом. — И продолжал иным тоном: — Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия...

— Ну уж! — воскликнул профессор-гость. — Вся, сразу — в одном Иване...

— О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня? Но я больше его знаю об этом.

— О-е-е!

— Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране — женщины. Могу назвать цифры...

— Не надо. Ну и что, что женщины?

— Это нехорошо. То есть не то что вовсе нехорошо, но желательно, чтоб мужчин-педагогов было больше. Не нужно же тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, положим, сказанное учителем-мужчиной совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем.

— Ну и что вы собираетесь делать?

— Пишем диссертации, — не то в шутку, не то всерьез ответил сын.

— Лихие ребята!

— Дальше, мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей... Ну, как бы это... оставляет желать лучшего, что ли. И вовсе не потому, что они...

Зазвонил телефон.

Профессор поднял трубку, послушал и сказал:

— Его нет дома. Позвоните попозже. Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а...

— Меня просили?

— Да. Переживут. А почему же?

— Первое: огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей, я имею в виду. Любовь местных властей общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских Советов — словом, актив.

— Не вижу ничего в этом плохого.

— Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть... Они падают от усталости.

— Третье?

— Третье: я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это не могу сделать.

— И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны — дети. Между прочим, никто из них — я говорил со многими — не пожаловался. Очень добрые, приветливые люди... Даже веселые.

— Это труженики. И потом, что же, они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым?..

Профессор-отец ничего на это не сказал. Не ответил.

— Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?..

— Кто? Да нет... что же? Нет, конечно, не помешаете. Этот... волосатый — придет? — Профессор весь перекорежился, перекосился — изобразил, что играет на гитаре.

Иван-сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца.

— Ах, славно! — воскликнул профессор-гость. И хлопнул ладошкой по тетрадке. — Много ты добра привез, Серега! Славные есть штучки.

Профессор-хозяин посмотрел на него... Ничего не сказал. Помолчал, задумчиво глядя на телефон... И сказал вдруг:

— А кумекают... эти-то. — Кивнул в сторону, куда ушел сын.

— А? — откликнулся профессор-гость. — Эти-то? Кумекают.

— Кумекают. Славные, говоришь, есть штуки?

— Ах, славные! — Профессор-гость ласково погладил тетрадку.

В ту ночь профессору пришла в голову блистательная идея: устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета — всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, — встречу с Иваном Расторгуевым. Собралось несколько человек — «любители словесности».

В аудитории, где происходила встреча, во вступительном слове профессор слазал:

— Уважаемые коллеги, друзья! Я пригласил вас на эту встречу вот с какой — единственной — целью: просто, чтобы мы послушали одного из тех, кого мы назы-

ваем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку!.. И собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами... Я уже говорил и писал, почему эти... «ловцы губок» привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем, мы строим невиданный Вавилон... Мы оглушили себя треском машин, воем сирен... Мы, в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением, мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии... мы уже давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же!

Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану:

— Рассказать?.. Ну расскажи что-нибудь... О себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему попременно надо учить. Расскажи, как ты обо всем этом думаешь — получится про жизнь.

— Можно, Нюра тоже выступит? — попросил Иван.

— Можно.

— Нет, я не буду, — воспротивилась Нюра. — Я не умею.

— Ну, посмотрим, как там будет... Только, Иван, дело-то в том, что это вовсе не значит — выступать. Надо рассказать, как умеешь... Понимаешь ли?

— Все будет в порядке, — заверил Иван.

А еще раньше, в тот же день, утром, у профессоров — Сергея Федорыча и его коллеги — произошел серьезный разговор.

— Почему? — спросил Сергей Федорыч коллегу.

— Потому, — стал внятно, жестко, но не зло пояснять лысый профессор, — что ты его не знаешь. Не понимаешь. Не чувствуешь, выражаясь дамским языком. И не суйся ты в это дело. И не срамись: и себя подведешь, и парня... поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот... И фамилия его — не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма! Даже удивительно.

— Жалко, Лев Николаич помер — послушал бы хоть. Тоже был идеалист безнадежный.

— В отношении мужичка — да, был идеалист.

— Ну, и как же его фамилия? Мужичка-то нынешнего? Полупроводник Шестеркин?

— Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от... некоторых. Наверно, не Шестеркин, но и не

Каратаев. И не Сивкин-Буркин. Не смеши, Серега, народ честной, не смеши.

— Посмотрим.

И вот вышел Иван на трибуну...

Професор и Нюра сидели за столом. Лысый професcор — в зале.

— Уважаемые товарищи! — громко начал Иван. — Меня Сергей Федорыч попросил рассказать вам... как я думаю про жизнь. Я хорошо думаю, товарищи!

В зале засмеялись.

— Я родился в крестьянской семье... Нюра тоже в крестьянской. Значит... воспитывались там же, то есть, в крестьянской семье. Я окончил шесть классов, Нюра прихватила восьмилетку. За границей не были...

В зале опять засмеялись.

— Что он делает? — негромко спросил профессор Нюру.

Нюра, очень довольная, сказала:

— Выступает. А что?

— Я по профессии механизатор, тракторист. Норму...

— А Нюра? — спросили из зала.

Нюра привстала и сказала:

— Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю.

— Даже перевыполняет, — продолжал Иван.

— На сколько прóцентов?! — опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.

— Процéнтов, — поправил Иван. — Нюра, на сколько процентов, я забыл?

Нюра опять привстала.

— На тридцать-сорок.

— На тридцать-сорок, — сказал Иван. — Вот гляжу на вас, молодой человек, — тоже весело и незло продолжал Иван, глядя на гривастого парня, — и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла... Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки, стало быть, — Иван наладился на этакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать, — была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев, по прозвищу Дятел, потому что ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по голенищу стукал, и вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделано у коня товарища

маршала на параде». Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка?! — она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается... Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать — ни в какую! Кусается и задом норовит накинуть... Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы — к нему. Он нам и говорит: «Отпустите ее на волю на недельку... Пусть она одна побудет, привыкнет без гривы-то. На кой, говорит, черт вы ей гриву-то отхватили, оглоеды?» Вот, товарищи, какой случай был. Теперь насчет...

— Почему кобылу звали Селедкой? — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил.

— Почему Селедкой-то? А — худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то.

Засмеялись.

И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой.

Нюра наклонилась к нему, спросила:

— Ну как — ничего?

— Ничего, — сказал профессор, — хитер мужик твой Иван. Хорошо выступает.

Нюра была польщена.

— Он умеет, когда надо...

— Иван, — спросил профессор Сергей Федорыч, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, — скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про Селедку-то...

Лысый профессор громко засмеялся.

Иван улыбнулся...

— Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик.

— А тебе что, трудно пришлось?

— Да не то чтоб уж трудно... Я не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история? С кобылой-то.

— Славная история, Иван! — воскликнул лысый профессор. — Славная. Жалко — про Вавилон еще не поговорили.

— Про какой Вавилон? — спросил Иван.

— Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город...

— Не город, — поправил профессор Сергей Федорыч, — а Вавилон. Надо быть точным, даже если... передергиваешь карты.

— Вавилон, — согласился лысый профессор. И пере-

вел Ивану: — Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди...

— Большой-большой недостроенный город, — опять уточнил Сергей Федорыч.

— Да. Так вот, есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне, с удобствами, так сказать, но продолжают всячески поносить...

— Нет, — резко сказал Сергей Федорыч, — это... Так нельзя. Это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана: нравится ли ему город?

— Не совсем так...

— А как?

— А мне так нравится! — воскликнула Нюра.

— Мне тоже нравится, — сказал Иван. — Зря вы спорите, товарищи. Жить можно. Чего вы?

Профессора засмеялись.

Из Москвы Иван двинул домой второе письмо.

«Уважаемые родные, друзья!

Пишу Вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе — не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не ходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но... профессора коробит. Меня тоже.

Сегодня в 22-30 отбываем на юг.

Иван».

И вот — юг.

Иван объяснился для начала с директором санатория. В его, директорском, кабинете.

— Как — с вами? — не понимал директор. — У вас же только одна путевка.

— Больше колхоз не дал... Не было.

— Так зачем же было ее везти с собой?

— А что же?.. Я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать.

— Вы что, серьезно? — не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме. — Вы не разыгрываете меня?

— Кто — я? Бог с вами!

— А где ваша жена?

— А вон! — Иван показал на окно. — Вон она сидит.

Директор подошел, посмотрел вниз.

Во дворе санатория, у фонтана с каменными лебедями, сидела Нюра.

Директор прошелся по кабинету.

— Вы сделали большую глупость.

— Почему?

— Ее придется отправлять назад...

— Почему? — Иван с этими своими «почему» способен был вызвать раздражение. И он вызвал раздражение.

— Да потому! Почему... Потому, что так никто не поступает: взять одну путевку и везти с собой еще жену.

— Но ей же тоже охота...

— Что вы дурачка-то из себя строите? Чего дурачка-то строите?

— Почему?

— А где она жить будет?

— Со мной.

— Да как с вами-то? Как?

— Но мне же положена одна комната...

— Так...

— Поставим раскладушку...

Директор в изумлении хлопнул себя по ляжкам.

— Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?

— Не трогайте мою тещу! — обиделся Иван. Обиделся и осердился: — Такую тещу, как у меня, — поискать! И нечего ее трогать...

— Идите устраивайтесь, — тоже осердился директор. — Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть речи.

Иван растерялся... Долго молчал.

— А куда же она?

— Куда хотите. Вы что, думали, здесь Дом колхозника, что ли?

Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.

— Счас, одну минуточку, — сказал он. — Я к жене схожу... — И вышел.

— Ну? — спросила Нюра.

— Уперся... Слушать не хочет.

— Да ты попроси хорошенько! Скажи, мол, издалека приехали...

— Просил всяко! Не могу, говорит. Это... чего я подумал, может, сунуть ему? Рублей двадцать...

— Ну-ка да не возьмет?

— Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало — двадцать?

— Да хватит!

— Может, четвертак? Ведь месяц почти жить...

— Ну, дай, черт с им! Только уж пусть он получше комнату-то подберет. Побольше.

— Ну, сделает, наверно!..

— Хорошо бы, если б из окошка-то вот этот бы фонтан видно было. Прямо глаз не оторвать — до того глянется. Хорошо-то как здесь, господи! Рай.

— Вот черт, понимаешь... — стал мучиться Иван.

— Чего ты?

— Не умею я давать-то... Не приходилось.

— Сунь ему в руку...

— Сунь! Тут кто кому сунет: я ему или он мне, как сунешь...

— Ну, парень!.. Как же теперь? Надо как-то выходить из положения.

— Пойдем вместе? — сказал Иван.

— А я-то чего там?

— Ну, я, может, похрабрей буду...

— Да хуже только: так — с глазу на глаз, а так — свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет — не возьмет: в лоб не ударит.

— Да если б ударил-то — это бы полбеды, а то потянет за взятку-то. Отдохнешь... в другом месте, елки зеленые. Будешь там заместо отдыха... печки-лавочки делать.

— Как же быть-то?

— Погоди, счас, может, насмелюсь... Черт, никогда с этим не приходилось! Шофера, те привычные... Ладно, пошел.

В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач.

— Подождите минутку, — сказал директор Ивану.

Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете. И присел на стул.

Женщина-врач посмотрела на Ивана... И решила, что при нем можно рассказывать свое.

— Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, говорит, присылайте другую сестру. Иначе буду жаловаться. Представляете? Что в таком случае...

— Минутку, — сказал директор. И повернулся к Ивану. — В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал: идите устраивайтесь.

— Вы беседуйте, беседуйте, — вежливо молвил Иван. — Я подожду.

— Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через... десять минут. Мы вот с товарищем тут...

— Хорошо.

Женщина вышла.

Директор изготовился, видно, говорить строго.

— Слушаю.

Иван подошел к столу, посмотрел на директора — в глаза ему в самые — и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.

— Сойдемся?

Директор... молчал.

— Что? — спросил Иван. — У меня больше нету: осталось здесь пожить и на обратную дорогу.

Директор посмотрел на бумажку... Потрогал ее.

— Я бы больше дал, нету, — еще сказал Иван.

— Ладно, — решил вдруг директор. Встал. — Устрою твою жену. А деньги возьми.

— Да без этих-то я обойдусь!.. — запротестовал Иван. — Бери!

Директор засмеялся.

— Что? — спросил Иван.

— Возьми деньги, — велел директор. — Откуда приехали-то?

— С Алтая. — Иван вышел на балкон и крикнул Нюре: — Заходи!

Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтоб Иван — на втором этаже — слышал:

— Взял?

— Потом. Счас я иду к тебе.

В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди.

И вот вышли они к морю!..

— А народу-то! — заорал Иван.

— Не ори, — сказала Нюра. И засмеялась.

Они подошли к воде... Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела пока так, на камушки.

— Море, море!.. — сказал Иван вдохновенно, оглядел, зачарованный, даль морскую, залитую солнцем... Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул: — А холодная-то!

— Холодная? — испугалась Нюра.

Иван засмеялся.

— Я шучу. Молоко парное!.. Раздевайся.

И третье письмо написал Иван — с моря. Оно начиналось словами:

«Здравствуйте, дорогие мои!

Стою на берегу моря! Если смотреть прямо, — будет Турция. Справа и слева от меня — голые счастливые люди. Да и сам я — в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка...»

КАЛИНА КРАСНАЯ

Киноповесть

История эта началась в исправительно-трудовой колонии севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе.

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не певческого облика.

— В группе «бом-бом», — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:

— Бом-м, бом-м...

В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю... А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи, — напомнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да... Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову...

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким вымем. — Егор показал руками.

— Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А то выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя... Толку-то что? Корова должна быть... стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугодничал Егор вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему по ногам? По породе. Существуют породы — такая-то порода... Например, холмогорская... — больше начальник не знал.

— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло... поставлю...

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо, — согласился начальник. — Только... что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий.

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее... как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да. А какой урок-то был? Тема какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно, в Татьяне?

Что, говорю, им там... — Начальник некоторое время слушал тонкий, крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно. — Пусть... Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?! Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им... Ладно, счас Николаев придет к вам. — Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне... Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать...

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница. — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить. Хорошие письма. Покой от них... Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю, — тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни заявишься. — Начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за... почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.

— Артисты... — только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вдохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать, — сказал Егор. — Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и засеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти. Егор достал из кармана пачку денег, показал... и пошел садиться рядом с шофером.

В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, — не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо? — Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!

— Вон как!.. — Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.

«Волга» поехала.

Старушка некоторое время смотрела ей вслед:

— Скажите... Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению.

Кончился поселок, выскочили на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша.

Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье. Закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор. — Рад... — Он точно на вкус попробовал это словцо. — Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые. — Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами, ничего не ответил.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок, — не умеешь.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.

— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Парень опять неопределенно пожал плечами.

— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, — а ты радоваться собрался.

— Я и не собирался радоваться.

— Стихи надо любить, — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие стихи бывают. — И Егор начал читать — с пропуском, правда, потому что подзабыл:

...в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!

Город! Город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске...

какой-то. Тут подзабыл малость.

Телеграфными столбами давясь...

Тут опять забыл. Дальше:

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!...
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь, припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даешься ножу.
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отщменья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он когда-то бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка... я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.

Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здоро́во! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все

теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, малыш, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда?

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».

«Малина» была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами... Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон... Сидел в кресле губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское... Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже драные, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, — логово.

Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой...
А я...

Во входную дверь постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Цепочка, — сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь. И поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех...

Дверь закрылась.

И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся.

К нему подходили, здоровались... Но старались не шуметь.

— Привет, Горе. (Такова была кличка Егора — Горе.)

— Здорово.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были и не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?

— Ларек наши берут, — пояснил один, здороваясь. — Должны звонить... Ждем.

Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее... И всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.

— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела...

— Ну-ну, — говорил счастливый Егор. — И что я во сне делал?

— Обнимал меня. Крепко-крепко.

— А ты ни с кем меня не спутала?

— Горе!..

— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп. — Экий ты какой стал!

Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.

— Я вспоминаю один весенний вечер... — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит

в глазах. Все люди взволнованны — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек...

Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.

— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь. Горе пришел... Да. Только что. Ждем. Ждем. — Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. — Начали.

Все пришли в нервное движение.

— Шампанзе! — велел Губошлеп.

Бутылки с шампанским пошли по рукам.

— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.

— Кусков на восемь, — сказал тот. —Твое здоровье! Выпили.

— Люсьен... Что-нибудь... снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.

— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.

Тары-бары-растабары,
Чары, чары...
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали —
Уходите прочь!
Во лугах, под покровом ночи,
Счастье даром раздают!
Очи, очи...
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!
Тары-бары-растабары...

Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.

Все пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?

— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые... Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза. И кивал головой, и говорил: «Так, так».

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.

— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой бросил свой фужер.

И у него тоже заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу. — Пусть сбацают.

— Чего ты? Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул белый платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.

Две гитары дернули «барыню».

Пошла Люсьен... Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой...

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, — сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась ему желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою... Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая... милая... добрая... Устала».

— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.

— Нет, она незлая, — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто заколачивалась в гроб некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.

— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.

— По темечку ее... Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пущу в ход...

— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он худой, как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху... И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эх-х!.. — огорчилась Люсьен. — Скука... Опять покойники, кровь... Бр-р. Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку... Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.

— Сгорели, — коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда, — скомандовал Губошлеп. — Веером. На две недели все умерли. Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп. — Сбор у Ивана. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я?.. — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.

— Каким сельским хозяйством?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить... Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может...

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся...

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет, — твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь, — сказал Губошлеп, наливая в два фужера. — Отдохни, дружок, — хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за... сегодняшнее. Но... Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И — до свидания пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали...

— А то могу подкинуть.

— Давай, — передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?

В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.

— Квартал окружили, — сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю, куда... Я вам сказать.

— Сам прет на рога, — засмеялся Губошлеп. — Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой... За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались шаги...

— Так, — сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости. — Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу.

Шаги с обеих сторон приближались...

В одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган...

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор. — Психопат. Может, те не расколются... А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — первно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот я сейчас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении, — заговорил Егор быстро, выискивая глазами — в какую сторону рвануть. — Справка помечена сегодняшним числом... Я прикрытый. Догонят — скажу: испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру... Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них... И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо... Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через трубы... Сзади в темноте, совсем близко, бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги...

Егор сидел скрючившись и довольно улыбался. И шептал:

— Д-ничего я не видал, д-никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, ох, никого не знаю! Д-никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то невысокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок... Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же, сбежал! — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые. А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни.

— Ох, д-ничего ж я не видал, д-никого не знаю, — еще разок спел Егор. И включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты — пока машина огибала угол. И тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам... Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова — вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— «Спи спокойно до светлого утра», — успевал прочитывать Егор. — «Купец первой гильдии Неверов»... А ты-то как здесь?! — удивился Егор. — Тыща восемьсот девяноста... А-а, ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии... «Едут с товарами в путь из Касимова...» — запел было негромко Егор, но спохватился. — «Дорогому, незабвенному мужу от неутешной вдовы», — прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время... Встал. — Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь... Пойду себе, как честный фраер: где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же? Надо. — И все же спел еще разок: — Д-ничего ж я не видал, д-никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе... Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— И выйду!

— Выйдешь... Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью. — Только правду! А то ведь я узнаю... И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели непонятно? Шляются тут по почам-то.

— Поджечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане. — А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй, — сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно. — Попробуй и подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На Север куда-то.

— А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот и уехала... С такими же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почему? — орал он в трубку.

Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все, — с дрожью в голосе сказал Егор. — Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посажу в клумбу... Ну, твари! — Егор бросил трубку... И задумался. — Люба, — произнес он с дурашливой нежностью. — Все. Еду к Любе. — И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой: — Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъемся около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения. — Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не огля-

нулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел. — Задушу в объятиях!.. Разорву и схаваю! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее... В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Ё-моё, — говорил он себе негромко, изумленный, — да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто... Красная шапочка...

— Здравствуйте, — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку. — Георгий. — И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И — на всякий случай — тряхнул ее, тоже с чувством.

— Люба. — Женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора. Молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно.

— Это я, — сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я, — сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый, — зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной, — сказала она. — Расскажи про себя, что ли...

— Я непьющий, — поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень както просто у нее это получилось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не так, чтобы засандалить там... Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько. — Люба все смотрела на своего заочника... И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: «Ну не дура ли я? Что затеяла-то?» Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает, что хочет. — Пойдем... Расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом. — Люба шла немного впереди и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и ве-

селый. — А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да, — сказал он «интеллигентно». — Стечение обстоятельств, громадная невезуха...

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит...

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся... Это хорошо, — похвалил Егор. — Молодцы.— Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили... И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно... Нюра, Нюр! — позвала Люба девушку. — Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? — повернулась она к Егору.

— Красненького, — сказал Егор, снисходительно поморщившись. — У меня от водки изжога.

— Красненького, Нюр! — Загадочное впечатление производила Люба: она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий... — начала она, — расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе, — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я бухгалтер, работал в орсе, начальство, конечно, воровало... Тут — бах! — ревизия. И мне намотали... Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай, — тоже перешел он на «ты», — давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти...

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было в карман.

— Я верю, верю, господи! Я так, к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все... А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится.

— Что? Руки?.. А-а. Так это я их уже там натренировал... — Егор потянул руки со стола.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах... — Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?

— Нет! — поспешно сказал Егор. — Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться... А можно малость попридержать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. — Ты как-то сразу погнала вмах: работа, работа... Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба. — Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил...

— А-а, — протянул Егор, пораженный. — Вот оно что... — И ему стало легко и даже весело. — Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие, — с сожалением сказала Люба. — Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор. — Тебе нравятся? Может, талант пропадает... — Он пропел: — Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Централка, все ночи полные огня... Давай, давай!

— А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор. — И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтер... — Егор хохотнул. — Бухгалтер... По учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спросила Люба. — Обманывал-то... Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?
— Что?
— Чего хочешь-то?
— Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но это тоже не то: для меня отдых — это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь.
— Эх, Егорушка.
Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала — так говорила далекая Люсьен.
— Что?
— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя, правда, что ли, никого нету? Родных-то...
— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю.
— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.
— Я не из-за денег иду.
— Из-за чего же?
— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором. —Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.
— Ое-ей! Ну, допивай да пойдем, — сказала Люба.
— Куда? — удивился Егор.
— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей было легко с Егором, очень легко.
— Погоди... — не понимал Егор. — Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер...
— Ну, уж ты тоже выбрал профессию... — Люба качнула головой. — Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик... Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?
— Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к вашему сведению: я шофер второго класса.
— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горе! Бича хорошего нет на это горе. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я...

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор. — Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем... Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку... Украсть у меня все равно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут, встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом... не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так. А папаша твой не приголубит меня... колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она. — Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку.

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он. — По внутреннему распорядку, язви тя в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывала Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну, окаянная, ну халда! — сокрушалась старуха.— Ну чё я могла с халдой поделать? Ничё же я не могла...

— Ты вида не показывай, что мы напужались или

ишо чего... — учил ее дед. — Видали мы таких... разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо?.. — первая же и сообразила старуха. — Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу...

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем... через дочь родную. Ну, Любка, Любка...

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули... И открыто, в упор разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш, — как ни в чем не бывало заговорила Люба. — И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по... этому, по...

— По недоразумению, — подсказал Егор.

— И сколько же счас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять, — кротко сказал Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загудел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал, — пояснила Люба. — Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока, — велела Люба. — Я пойду баню затоплю. И будем обедать. — Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор. Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было. Где-то же надо было и пересидеть пока, и осмотреться.

— Кури, — разрешил дед. — Какие куришь?

— «Памир».

— Сигаретки, что ли?

— Сигаретки.

— Ну-ка, дай я спробую. — Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался.

Закурили.

— Дак какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да... — неопределенно сказал он. — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...

Старуха выронила из рук полено и села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят... — закрестилась старуха. — Федя...

— Тихо! — скомандовал старик. — Один дурак городит чего ни попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы... Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет! Но только ты тоже, того... что ты булгахтер, это ты тоже... не заливай тут. Булгахтер! Я булгахтеров-то видел-перевидел! Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки... и потом я заметил: они все курносые. Какой же ты булгахтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот — или за драку, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец, — сказал Егор. — Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего — он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он. — Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю... Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы не воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой «допрос», чтобы сби-

вать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь, — продолжал Егор. — Ну, хорошо... Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступаем?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито, но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. — Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна... Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия, люди, можно сказать, заикаются от напряжения, — Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его, — люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно... Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе с всеми...

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха. — Он с малолетства на пашне...

— Реплики потом, — резковато осадил ее Егор. — А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.

Егор остановился удивленный.

— Так чего же ты сидишь молчишь? — спросил он другим тоном.

— Молчишь... Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там, — сказала старуха, вконец сбитая с толку.

— Где «там»?

— Вон, в шкапчике... все прибраны.

— Им место не в шкапчике, а на стене! В «шкапчике». Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь...

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело. Она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка... Та-

кая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее. — Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — Старик засмеялся.

Старуха только головой покачала... И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале... Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.

— К Любке-то приехал... Этот-то, заочник-то, — сразу сообщила она.

— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. — Ну и что? — Пнул баллон, другой.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се... А по роже видать: бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро. — Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время... Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — Петро продолжал пинать баллоны. — Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — завысила голос Зоя. — У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: «Ну и что? ну и что?» Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! «Ну и что». Чтокалка чертова, пень. Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит...

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он «шагу не прибавит» — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он

медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием.

— Вот счас с Петром вместе пойдете, — говорила Люба, собирая Егора в баню. — Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется!

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик. — А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копья.

— Ну-ка вот, мужнины бывшие... Нашла. Небось годится. — Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего... — Люба стояла с бельем в руках. — А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор. — Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираное...

— Бери, чего? — сказал и старик. — Оно же чистое.

Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно... Я потом вам спою песню: «Во саду ли, в огороде».

— Иди, иди, — провожала его к выходу Люба. — Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всяких принимают, — все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что», сказал Петро.

— Будем знакомы — Георгий. — Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось. Люба, что ли?.. — Я говорю: я — Георгий.

— Ну-ну, — сказал Петро. — Давай еще целоваться. Георгий, значит, Георгий. Значит, Жора...

— Джордж. — Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор. — Курва, суюсь сегодня, как побирушка!.. — Егор бросил белье на лавку. — Осталось только хвостом повилять. Что, я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать? — Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то?

— Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения... Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!.. — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом...

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну надо же!.. — сказал он. — Как бедный родственник, мля.

Открылась дверь бани, и из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидыш.

— Во!.. — сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки... Не выдержал и опять открыл дверь. — Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?

— Сейчас возьму и силком сунду в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку. Без паспорта. — Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой. — И хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться. — А то начинает тут... Диплом ему покажи!

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне исте-

ричная. — Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали...

— Любка, Любка!.. — насилу дозвалась мать. — Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да потом опять зауситься по свету, — то, скажи, уезжай седни же, не позорь меня перед людями. Если, скажи, у тебя...

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он — парень семнадцати годов? Ты думаешь своей головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и...

— Ему собраться — только подпоясаться, — встрял в разговор молчавший до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня, ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего... девка... Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди седни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете...

— Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем сдурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю... — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу... Еще на карточке заметила: глаза какие-то... грустные. Вот хоть убейте вы меня — мне его жалко. Может, я и...

Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро. — Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые, убили!..

— Не ори, — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать на каменку, а он взял меня да окатил.

— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор, — как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, — толстая. Я же не знал, что надо на каменку...

— «Пальцем попробовал», — передразнил Петро. — Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо...

— Да я еще не парился! — заорал спокойный Петро. — Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь... Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь, — велел старик. — А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться:

— Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал — дышать нечем и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести...

— «Бала-анс», — опять передразнил его Петро. — Навел бы я те счас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то — весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал...

— «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор, — мне легче будет. — Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю...

— Петро... — заговорила Люба. — Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.

— Чё там у них? — спросил у стоявших вновь подошедший мужик.

— Петро ихний... Пьяный на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка.

— Ох, ё! — сказал мужик. — Дак а живой ли?

— Живой... Видишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задребезжали.

— Заорешь...

— Чё же, задом, что ли, приспособился?

— Как же задом? Он же сидит.

— Да, сидит же... Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?

— Это ж надо так пить? — удивлялась старушка.

Засиделись далеко за полночь.

Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.

— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!

— Правильно. За этого, как его? За этого...

— За Митьку Хромова она выходила!

— Ну, за Митьку.

— А Хромовых раскулачили...

— Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь!..

— Да не Громовых, а Хромовых!

— А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.

— А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили...

— Правильно, он маслобойку держал.

— Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чё! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли... Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.

— Нашли?

— Девять пар.

— Дак а Митьку-то не тронули?

— А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из

Краюшкина: чижало ему показалось после этого жить там.

— Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?

— Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Этто как-то стрела ее па базаре: жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то, маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли — в тягость стала.

— Оно так, — сказали враз несколько старух. — Пока водисся — нужна, как маленькие ребятишки подросли — не нужна.

— Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе...

— Какие они нынче, зятья-то! Известное дело...

Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.

— А это Михаил, — показывала Люба братьев. — А это Павел и Ваня... вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо присылал... Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо... Во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш... Во, строгий какой, а самому всего только... сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно... А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра... Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня... ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты...

— Да ты что! — искренне воскликнул Егор. — Я, правда, думал — он на себя просит; как говорится: вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну... везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего

нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плеснанул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону... Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик, сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, — каким-то нездешним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих. И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окна луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался... Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубахе, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло... Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы. И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, совсем не сонный голос Любы:

— Ну-ка, марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал...

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи... думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор. — Хотел задать пару вопросов...

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос! — вконец обозлился Егор. — Больше не задам...

— Любка, возьми чего-нибудь... Возьми сковородник, — раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба.

Егор пошел на место.

— Поше-ол... На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышут. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!.. — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой!.. Телом!.. Фраер со справкой!

Он полежал тихо... Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела. — Он опять перевернулся. — Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь,— пояснил Егор.— А Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит.

— Тоже, наверно, булгахтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз, — откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спите! — сердито сказала старуха.— Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики.

И пялилась в окошки луна.

Наутро, когда отзавтракали и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь... Еду в город заниматься эки... ров... экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай, — сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?.. Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба, — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая, — вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. — Повело!.. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!.. Дай, я сделаю так. — Егор положил свою руку на руку Любы. — Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба.

— Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу... — У Любы и теперь на глазах выступили слезы. — Но худого слова не скажу.

Егору вовсе стало невмоготу: он не переносил слез.

— Так... Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу пардона.

И вот шагает он раздольным молодым полем... Поле непаханое, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко. Решительно. Уп-

рямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел — как будто в этом одном все искупление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает... И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы... И Губошлеп пропал.

...А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали.

Работалось и не работалось Любе в тот день... Перемогалась душой. Призналась нежданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то. — Сказала и сама подивилась. — Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Ка-кой! «Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку, да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел... Ну, паразит!.. — И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету негромко рассказала: — Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему: пить надо меньше. — И Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Люба своим мыслям.

— А? — не поняла Верка.

— Да когда, говорю, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу... — и Люба беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло, — сказала та. — Пьяницу на вора... Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела. Самой противно... Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал...

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет... Все про жизнь. Он, правда, наверно, повидал много, черт стриженый. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде.

Перво-наперво он шикарно оделся.

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— «Деньги передать губошлепу», — прочитала девушка в окошечке. — Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал. И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!..

— Бывают похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов. — Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну, и... нормальная фамилия.

— Вообще-то нормальная, — согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился. — Скажите, пожалуйста, — сунулся он в окошечко, — вот я приехал с золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых...

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!..— строго повысила голос девушка.— Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмущался он. — «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте, — сказал Егор. — А то только глазками стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел, — не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала тоже не глядя: положила на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлеки ее от этого дела.

— Шалашовки, — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краковяк!. — Он зашагал к вокзальному ресторану. — Польку-бабочку! — Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. — Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки... Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак. — Дальше он и вовсе бесмысленно бормотал, что влетит в голову: — Тарьям-па-пам, тарьям-папам!.. Тарьям-папам-папам-папам...

В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся...

— Очень благодарен, очень благодарен...

— Ерунда, — сказал Егор. И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку. Официант присел па стул рядом. — Я приехал с золотых приисков, — продолжал Егор, изучая податливого человечка, — и хотел вас спросить: не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся...

— Ну, я грубо выразился... Я волпуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку.— Егор вынул из кармана довольно толстую пачку десятирублевок и двадцатипятирублевок.— А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сих старался хранить достоинство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлович... Нужен праздник. Я долго был па Севере...

— Я, кажется, придумал, — сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал. — Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить... Что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка — в честь прибытия, так сказать.

— Да-да-да, — заволновался Егор. — Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро... Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал: вот с кем я взлохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — спросил Егор. — Чего смеешься?

— О'кэй, — весело сказал Михайлыч. — Ми фас попъяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-е! Любаша!.. — кричал Егор. — Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да. — Егор кивнул Михайлычу. — Да, Любаша!

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко прошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?!

Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать?! Придется даже ночевать, наверно. Да, да... — Егор долго слушал и «дакал». И улыбался, и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспокоюсь, говорит. И жду.

— Жди-жди, дол... — подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну, дает!.. — прошептал в притворном восхищении Михайлыч. — Волнуюсь, говорит!.. — И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь, на диванчике... Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!.. — У Егора это вырвалось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех. — До свидания, дорогая моя! До свидания, целую тебя... Да я понимаю, понимаю. До свидания.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жесткость, строптивость.

— Да... — сказал Егор, очнувшись. — Ну что, трактирная душа? Займемся развратом? Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то... Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну? — Егор надел длинный халат, стеганый, местами вытертый. Огляделся.

— Больше нигде нету, — оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат, — похвалил Егор. — Н-ну... как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты.

Егор прилег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай, — кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь... И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

«Развратничать» собрались диковинные люди: больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — весело и громко сказал Егор. И прошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да, — не удержался он. — Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек, — обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти, — ты объясни нам: чего это мы празднуваем-то? Случай какой... или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь, — негромко, раздумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского, — чтобы... — Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. — Братья и сестры, — проникновенно сказал он, — у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу. — Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех. — Весна... — продолжал он. — Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые... — Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало.

— Троица скоро, чего же, — сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я,

как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! — Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных. — Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она отелится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь. — Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас... — Егор прошелся по-за столом. — Не понимаю! Отказываюсь понимать! И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все! Идите, воруйте сами... Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то... — неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского... взяли, взяли! Взяли? Откручивайте, там проволочки такие есть, — стреляйте!

Все задвигались, заговорили... Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрей, пока градус не вышел! — распоряжался Егор.

— А-а, правда, — выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

— Пролил. Жалко — добро такое.

— Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.

— Да уж, конечно! Тут уж, конечно, стараются...

— Ух, а шипит-то!

— Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. — Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас!

На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он

порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.

— Выпили! — сказал Егор.

Выпили.

— С ходу — еще раз! Давай!

Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.

— Ух ты, все шипит и шипит!

— Но счас уже поменьше. Уже сила ушла.

— Но вкус какой-то... не пойму.

— Да, какой-то неопределенный.

— А?

— На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то... неясный.

— А чего-то оно в горле останавливается... Ни у кого не останавливается?

— Да, распирает как-то.

— Ага! И в нос бьет! Пей — хорошо!

— А вот градус-то и распирает.

— Да какой тут к черту градус — квас! Это газ выходит, а не градус.

— Так, оставили шампанское! — велел Егор. — Взяли в руки коньяк.

— А мы куда торопимся-то?

— Я хочу, чтобы мы песню спели.

— Э-э, это мы сумеем!

— Взяли коньяк!

Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.

— Налили по полстакана. Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!

Выпили.

— Песню! — велел Егор.

— Мы же не закусили еще...

— Начинается... — обиженно сказал Егор и сел. — Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели!..

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы?..

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуски, я моментально

под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил... Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чё!

— Нет, наверно, раз он говорит, что ночует там...

— Да он говорит, только развесь уши.

— Я думаю так, — решил старик, — ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба. — Ночую, говорит, здесь на диване...

— Да все учериждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха. — Вы чё? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет...

— Ну, мама!..

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама»! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить, — тормошил он лысого мужика, — а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...

Егор махнул, но группа «бом-бом» не поняла.

— Ну, чего вы?! Я же сказал: как махну, так «бом-бом».

— Дак ты махнул, а сам поёшь...

— Наступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине... И я запел потихоньку. А вы свое «бом-м, бом-м». Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую, — это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует, — подсказал Михайлыч. — Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете, — вконец рассердился Егор. — Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят... Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...

— Бо-м, бо-ом, бо-о-ом... — вразнобой «забили на колокольне», все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной «камыш» затянуть.

Группа «бом-бом», да все, кто тут был, растерянно помолчали... Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести.

— Чего он?

— А вы уж тоже — «бом-бом» не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч. — Чего там петь-то!

— Да разнобой вышел...

— Это Кирилл вон... Куда зачастил?

— Кто зачастил? — оскорбился Кирилл. — Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскачать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, — он же велел гулять.

— Оно, конечно, того... вроде не заслужили, но с другой стороны, а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас... с колоколами-то.

Егор помолчал... И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Дак это... Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам велел.

Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Ясного. Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Ясное-то?

— У меня там друг. — И опять стал взволнованно ходить. — Душа у меня... наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальное. Не обмани! Я заеду, узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Егор летел светлой лунной ночью по доброму большаку — в село, к Любе.

«Ну, что это, что это? — пытал себя Егор. — Что это я?» Беспокойство и волнение овладели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну как там... насчет семейной жизни? — спросил он таксиста. — Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах...

— В книгах-то понапишут, — недовольно сказал таксист. — В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни... Что, сам не знаешь, как в жизни?
— Плохо, да?
— Кому как.
— Ну, тебе, например?
Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон.
— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.
— А чего мне тут — хихикать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?
— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пахнет».
Таксист засмеялся.
— Что, тебе говорили так?
— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.
Таксист глянул на Егора, но смолчал.
А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино, — все в голове спуталось из-за этой Любы.
Подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину. И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота — в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко — босиком — прошли по сеням, и голос Петра спросил:
— Кто там?
— Я, Петро. Георгий, Жоржик...
Дверь открылась.
— Ты чего? — удивился Петро. — Выгнали, что ли?
— Да нет... Не хочу будить. Ты когда-нибудь «Рэми-Мартин» пил?
Петро долго молчал, всматриваясь в лицо Егора.
— Чего?
— «Рэми-Мартин». Двадцать рублей бутылка. Пойдем врежем в бане?
— Пошто в бане-то?
— Чтоб не мешать никому.
— Да пойдем на кухне сядем...
— Не надо! Не буди никого.
— Ну, дай я хоть обуюсь... Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как студентка.

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро... — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо! Петро достал из кармана старых галифе два стакана. Помолчали.

— Не знаю, я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого... Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой... нормальный пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Сижу за решеткой в темнице сырой... —

завел первым Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

Вскормленный в неволе орел молодо-ой,
Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,
Кровавую пищу клюет под окном...

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней, — у нее бы-

ло светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так... — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись. — Люба засмеялась. — И не боятся ведь! Меня сроду туда почью не загонишь.

Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то... Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу... И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти... Я их знаю!

— Когда ты ночью па машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал.

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Да-да-да, — притворно посочувствовал Егор. — Прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-ё!.. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма... Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то, — повторял он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют... — Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился. — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает на дорогах, на

плетнях остается... Вот... А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался, этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша...

— Брось, — сказал Егор. — Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как... — Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно и чуть стесняясь погладил ее по спине. — Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет... Кому?

— М-гм... — Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. — Кошмар. — Все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. — У нас был. — Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас, хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — Директор крепко тряхнул руку Егора. — Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер, — не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— У него еще паспорта нету... — Гордость Любина угасла.

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

— Егор!.. — заволновалась Люба. — А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение, и слова эти нелепые — про

район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся.

— Поехали, — сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба. — Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете... Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно... Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий. Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. — Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да, — сказал он. — Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну... как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так... Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстуке... —

Егор посмотрелся в зеркальце. — Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо, — Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут... пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри. — И директор ушел.

Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг, подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро... Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая... Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну гляди. — И дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще, — приветливо говорил дед. — Чай, по дороге. То и дело ездите тут.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот... — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. — Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей иначе.

— Язву желудка лечить?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слыхал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба, — сказал директор, — а сам съездишь в Сосновку — здесь семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч...

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет... — Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый... Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но... Вот мне уже сейчас плохо — я пойду. — И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как... Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить... Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок...

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты!.. — сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок... Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу. Отошел и полюбовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку... И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог... Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы... Вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да... Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это... поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да... Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки...» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придтить. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей... Этого пьянчужку нанесло — насилу отбрыкались.

— Да, да... С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже... это смотрю — прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгий изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро придет?

— Петро-то? Счас тоже должон приехать... Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это... на чистом-то воздухе дурак согласится поработать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю... Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка!.. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед. — Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай...

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка, — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда.

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка, по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал... я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну... Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь... Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы... это, с племянником. Ну, и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме... Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета... Нет, не из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то наменяют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»...

— Вот увидишь.

Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку.

— Молчи, молчи. Делай, как знаешь, не спрашиваю.

— А что закричал... прости, — еще раз сказал Егор. — Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленый и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-Угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору... Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, разузнать все, — сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне платют двадцать рублей... — Она снизу, просто посмотрела на Любу. — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах... Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он домá строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже, видно, умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся:

— Вот... Живут. — И опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живы они, сердешные душеньки, или нету их давно. — Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не могла придумать, что еще спрашивать,— ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка... — Она вдруг забылась, что она «из райсобеса», подошла к старушке, села рядом, умело как-то — естественно, просто — обняла ее и приголубила. — Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся... Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то...

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сеням. Остановился около уличной двери, погладил косяк — гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку, и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так, что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту: ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Ну, будет уж! Будет!»

Егор заслышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны... Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало! — сказала она. — Прямо сердце заломило.

— Поехали, — велел Егор.

Развернулись... Егор последний раз глянул на избу и погнал машину.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула. Выехали за деревню.

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди... постоим... — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула:

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время, — почти зло сказал Егор. — Дай время... Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор. — Дай хоть волосы отрастут... Хоть на человека похожим стану. — Егор включил скорость. — Я перевел ей деньги, — еще сказал он, — но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и... скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Понимаешь?

— Останови-ка, — велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху, — ласково, умело — прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. — Она заплакала. — Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю!

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то,— догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал...

Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним.

— Там этот пришел... твой, — сказал он по своей привычке как бы нехотя, через силу.

— Колька? — неприятно удивилась Люба. — Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..

— Ну, я пойду познакомлюсь, — сказал Егор. И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!.. — всполошилась Люба. — Он же пьяный небось — драться кинется. Не ходи, Егор! — И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся, — сказал он. — Эй, Егор...

Егор обернулся.

— Там еще трое дожидаются — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же изобьют его! — чуть не плакала Люба. — Ты что? Ну, Петро!..

— Кого изобьют? — спокойно басил Петро. — Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят... И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а, — сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот. — Новый хозяин пришел. — Он встал с лавки. — А я — старый. — Он пошел на Егора. — Надо бы потолковать... — Он остановился перед Егором. — М-м? — Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на «хозяев» — старого и нового.

Егор решил не тянуть: сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы...

Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще... Ты был здесь последний раз, — сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли... И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной... Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Его-

ра в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой.

— Иди, иди-и, — с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь, — решительно сказал Егор. — Пошли дальше!

Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех.

— Слушайте, — остановился он, — идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и, — опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Прошли еще немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал. Но еще один кинулся, этого Егор ударил наотмашь — кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!.. — задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный — както по-особому спокойный, зловеще спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть, — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешьто?! — попытался еще надавить Коля. — С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. — Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним, — наверно, Коля, — но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской. Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.

Егор не остановился, не оглянулся.

Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь: неужто это его работа? Пнул сапогом ком земли, хмыкнул:

— Ну и ну... Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь! — Он оглянулся по степи, вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает... Волнующее чувство. Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди — не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь. Вот этого и будет жаль. «Да что же я за урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся!» — Егор глубоко вздохнул.

— Сто сорок лет можно жить... с таким воздухом, — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что, дождались? Зазеленели... — Он ласково потрогал березку. — Ох, ох, нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. Хоть бы крикнули, позвали, — нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь. —

Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Как-кие стоят! — И пошел к трактору.

Шел и все говорил по своей привычке:

— А то простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так. — И запел Егор:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки-и
Характер вызнала-а,
Характер вызнала-а,
Характер — ой како-ой...

Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь, но уже песни не было слышно из-за грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор. В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь отворилась, и заявился нежданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.

Егор даже слегка растерялся.

— О-о! — сказал он. — Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура, — поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал... — Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду нежданный. — Мы с Шурой служили вместе, — пояснил он. — У одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь, — пригласила и старуха.

А старик даже и подвинулся на лавке — место дал:

— Давайте.

— Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут...

— Да ты садись поужинай! — упорствовал Егор. — Подождет таксист.

— Да нет... — Шура глянул на часы. — Мне еще на поезд успеть...

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить,

что вконец запутывал других. Бывало это и от растерянности.

— Ну как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне спится. Ну, пойдем — чего там тебе передать надо: в машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем...

Они вышли.

Старик помолчал... И в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько опи на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю, — рассеянно сказала Люба. — Десять копеек. — Она в этом госте почуяла что-то недоброе.

— Десять копеек? Десять копеек — на тридцать шесть верст... Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет, — сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик. — Десять верст — это уже рупь. А тридцать шесть — это... три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят — семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола.

— Чего они там? — сказала она и пошла из избы.

...Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу — открыта. И она услышала голоса Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор. — Запомни и передай.

— Я передам. Но ты же знаешь его...

— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?

— Получил.

— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. — Егор коротко посмеялся. — Не советую.

— Горе... Ты не злись только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуру — раз, и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучонок... Сопляк... Догадался, сучонок!..

Люба грохнула чем-то в сенях. Шагнула на крыльцо.

Шура стоял руки по швам, бледный...

Егор протянул его деньги, сказал негромко, чуть охрипшим голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил, — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну, вот. — Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась... Проводил ее глазами и оглянулся на Любу.

Люба стояла над ним.

— Егор... — начала она было.

— Не надо, — сказал Егор. — Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не приедут.

— Егор, я боюсь, — призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас... когда уходят от них, то...

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись. И никогда больше не говори об этом. Садись... — Егор потянул ее за руку вниз. — Что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор. — Что закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне...

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня. — И Егор запел:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

Калина...

— Егор, — взмолилась Люба. — Христом-богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну что ты? — И Люба заплакала. — Как же ты меня-то не можешь понять: ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да... Да что уж я — проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?!

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне?

— Веришь, веришь... А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь...

— О-о!.. — взвыл Егор. — Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану, честное слово. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу! Ну, сжалься ты надо мной, Любушка.

— Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо, — четко, раздельно сказал Егор. — Клянусь, чем хочешь... всем дорогим. Давай песню. — И он запел первый:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно. На минуту забылась, успокоилась.

Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала-а,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой.

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.

— Спишите слова, — сказал он.

— Ну, Петро, — обиделась Люба. — Взял спугнул песню.

— Кто это приезжал, Егор?

— Дружок один. Баню будем топить? — спросил Егор.

— А как же? Иди-ка сюда, что скажу...

Егор подошел к плетню. Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил.

— Петро! — прикрикнула Люба. — Я ведь знаю, что ты там, знаю. После бани!

— Я жиклер его прошу посмотреть, — сказал Петро.

— Я только жиклер гляну... — сказал Егор. — Там, наверно, продуть надо.

— Я вам дам жиклер! После бани, сказала, — сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та — стойкая, любящие женщины знают это.

Егор полез через плетень к Петру.

— Бренди — это дерьмо, — сказал он. — Я предпочитаю или шампанзе, или «Рэми-Мартини».

— Да ты спробуй!

— А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой...

Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке — сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно сыпалось, — стояла молодая женщина с лопаточкой.

Подъехал Петро на своем самосвале с нашитыми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в сеялку. Малость поговорили с Егором:

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все... А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, наверное, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот «жиклер», который они вместе «продували» прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его.

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Но теперь уж сменю.

— Ну гляди. — И Егор полез опять в кабину. Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

...Егор отвлекся от приборов на щите, глянул вперед, а впереди, как раз у того березового колка, что с края пашни, стоит «Волга» и трое каких-то людей. Егор всмотрелся... и узнал людей. Люди эти были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий. А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье, дверца была открыта, и хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор.

Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо пахло землей, так густо, тяжко пахло сырой землей, что голова легонько кружилась. Земля собрала всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над

этой полоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость... Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней — и положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака? Вроде не виден.

Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать, — сказал помощнице.

— Мы же только засыпались, — не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами... из ЦК профсоюза поговорить.

Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на «Волгу», на Егора...

Егор тоже незаметно глянул по полю... Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к «Волге».

Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далековато от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губошлеп. — Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины. И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне... Смотрел на гостей... Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну, не узнал бы, ей-богу! — все потешался он. — Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь, — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее...

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен. — Ты сам скоро сдохнешь, зачем же...

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. Видно стало — проглянуло в глазах, — что мстительная немощность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему

некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост. — А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься — возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя, — сказала Люсьен после некоторого молчания, — не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам — конец, а он будет землю копать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. — Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры... У него справка.

— Он не вышел. — Губошлеп опять повернулся к Егору. — Он только еще идет.

Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже и походка-то какая стала!.. — с восхищением сказал Губошлеп. — Трудовая.

— Пролетариат, — промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат.

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя! Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше... Я им рассказал, как ехать туда...

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — закричала Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился.

Петро остановился...

Люба вскочила в кабину... Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!.. — У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем, — сказал Петро. — Я же недавно от него...

— Они только что здесь были... спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все что мог.

Группа, что стояла возле «Волги», двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили... И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись с глаз.

...В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у «Волги» пригляделись к нему. Поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к «Волге». «Волга» рванула с места и понеслась, набирая скорость...

...Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки. И на березах оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнал было за «Волгой». Но «Волга» была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя, — сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори. — Сильная Люба взяла его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего, — гудел он негромко. — Ерунда это... Штыком насквозь прокалывали и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать...

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там пуля, — сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.

Люба первая вскочила в кабину. Приняла на руки

Егора. Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка... милый. Счас доедем до больницы...

— Не плачь, — тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу...

— Плачешь... На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду...

Петро выворачивал руль и так, и этак — старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя... — сказала Люба.

— Да уж стараюсь. Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите, — попросил Егор.

— Почему, Егор? Скорей надо...

— Нет... все. Снимите.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба, — позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине. — Люба...

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она...

— Деньги... — с трудом говорил Егор последнее. — У меня в пиджаке... раздели с мамой... — У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам.

Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла.

Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча.

Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки.

— Да что же, — сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила, — так и уйдут, что ли? — Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки и теперь только сообразил, что «Волгу» можно перехватить — наперерез. «Волга» будет огибать большой выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой... А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакива-

ют на тракторных санях лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но «Волга», конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

...И Петро перехватил «Волгу».

Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось ее безысходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога... Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, — не для городской машинки. Оставалось попытаться все же по целине с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. «Волга» свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из «Волги» даже не успели выскочить... Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины...

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Сатирическая повесть для театра

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна... Впрочем, почему — жили, они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; у Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие, сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна — тоже демагог, но нет того мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она — из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли, она — продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это «но» много уже рассуждали — да: НО...

Аристархушка крепко пил.

И пил, собака, изобретательно.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОЧЬ

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письменный стол шампанским, коньяками, икрой в баночках... В комнате у Аристарха накурено и шумно — что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, пять штук.

Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то мешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха.

Гости шумели.

— Ты ль меня, я ль тебя любить буду!.. — пел один, вовсе лысый; и все одно: «ты ль меня, я ль тебя...»

— Ну, полетели?! Вы, полетели?! — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал: — Ну, полетели?!

— Рано, рано, — говорил Аристарх. — Тут еще полно всяких мошек.

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один — с большим брюхом — не знал, что это такое — «полетели». И тоже приставал ко всем:

— А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то?

— На Кудыкину гору!

— Куда, куда?

— Туда!..

— Да он же не знает, чего ты озверел-то? — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого, с брюхом.

— Ну, полетели же! — стонал курносый.

— Ну, полетели, — сказал Аристарх.

Присели на дорожку, налили по чарочке...

— Прощай, родина, — грустно сказал Аристарх. — Березки милые...

Курносый всерьез заплакал и замотал головой.

— Полянки... Простор...

Чернявый дал кулаком по столу.

— Не распускать нюни!..

— Инстинкт, — сказал один пожилой с простым лицом.

— Выпили на дорожку! — пригласил Аристарх.

Все выпили... Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел открыл дверь комнаты, вернулся и стал наизготовке посреди комнаты.

— Я — вожак, — сказал он.

За «вожаком» выстроились остальные пятеро...

И они «полетели»... Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за «вожаком». Сделали прощальный круг по комнате, «вылетели» в коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник.

Они сели, печальные, за стол... А Аристарх доставал из холодильника коньяк.

— Далеко теперь наши березки, — сказал курносый; он уже опять готов был плакать.

— А я люблю избу! — громко и враждебно сказал человек с простым лицом. — Я вырос на полатях, и они у

меня до сих пор — вот где! — Он стукнул себя в грудь. — Обыкновенную русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками...

— А коньячок-то любишь — похолодней, — вставил чернявый.

— Он в погребе будет холодный.

— В погребе он будет плесенью отдавать, — сказал брюхатый. — Ты попробуй поставь на недельку в погреб — потом выпей: плесенью будет отдавать.

— Сам ты плесень! — свирепел человек с простым лицом. — Свесил на коленки... По какому месяцу?

— Только... знаешь... не надо, — обиделся брюхатый.

— Не надо? Не надо и вякать, про чего не знаешь!

— Хватит вам, — хотел утихомирить их Аристарх.— Это вечная тема...

— Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха! Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые, боров, а утром не валялся бы до двенадцати...

— Ты!.. Жлоб! — прикрикнул брюхатый. — Ты грузишь тару — грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно!

— Да хватит вам! — встрял опять Аристарх.

— Деревню он любит!.. — тоже очень обозлился брюхатый. — Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..

— У меня ее нету.

— А-а... трепачи. Писатель есть один — все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я... — брюхатый ударил себя в пухлую грудь. — Я в коммунальной тогда жил, а он — в такой же — один...

— Как один? — не понял чернявый.

— Ну, с семьей!.. Но я — в коммунальной и никуда не призывал...

— Ему за это деньги хорошие платят, что призывает, — вставил курносый.

— Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь...

— Брюхо надо нормальное иметь, тогда и проедешь, — сказал человек с простым лицом. — А то отрастили тут... на самом деле, не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю?

— Грузите бочки апельсинами! — огрызнулся брю-

хатый. — Избу он любит... Полати он любит... А дулю с маслом любишь? Ну, и катись отсюда!

— Вот: я занимаюсь погрузкой, — показал свой кулак человек с простым лицом, — поэтому он у меня тренированный: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет.

— Ну!.. — громко огорчился Аристарх, — прилетели в жаркие страны и давай тут... Мы же в жарких странах!

Все засмеялись.

— С прие... это — с прилетом! — воскликнул чернявый.

(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый — это Чернявый, брюхатый — Брюхатый, курносый — Курносый, лысый, который все песенки поет, — это Лысый, а человек с простым лицом будет, для краткости, — Простой человек.)

— С приехалом! — поддержали Чернявого.

— С прилетёлом! — сострил Аристарх.

— А мне здесь не нравится, — заявил Лысый. — Вообще мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. Давайте споем?

— Выпить же надо, — сказал Простой человек.

— Да, елочки!..

— Коньяк стоит, а мы...

— С прилетёлом! — еще раз громко сострил Аристарх. Выпили.

— Споем? — предложил опять Лысый. И запел:

Из-за острова на стрежень,
На просто-ор речной волны-ы...

Его поддержали Чернявый и Курносый.

Эх, выплыва-ют, расписны-ые
Стеньки Ра-азина-а челны...

Но песня не сладилась — не вышла.

— Поехали обратно! — предложил Брюхатый. — Мне здесь тоже не нравится.

— Полетели?! — выкрикнул радостно Курносый. — К березкам!

— Я больше не полечу, — наотрез отказался Брюхатый. — Я поеду поездом.

— Идея! — закричал Лысый. — Едем поездом. Прихватим с собой на дорожку; будем на станциях выходить...

— Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть,— предложил Простой человек. — Я раз из Воронежа ехал...

— Нет, нет!.. — кричал Лысый. — Нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно с собой взять...

— Не надо! — Лысый воодушевился и сильно кричал. — Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно сразу... Слушай суда! — закричал тоже Простой человек. — Мы — сяли, поклали чемоданы — и в вагон-ресторан...

— Да иди ты со своим вагон-рестораном! — оборвал его Брюхатый. — Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ресторане сидел?

— Я не сидел! — гордо сказал Простой человек. — Я там ночевал!

— Мы нормально сядем в поезд, — продолжал Лысый, — выпьем на дорожку...

— Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? — Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не верит.

— Так, дальше? — слушал Брюхатый Лысого. — Выпили на дорожку?..

— Выпили на дорожку, малость проехали — у нас пересадка!

— Где пересадка?

— А вон в этой комнате,— показал Лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна. — Мы ее счас развеселим!

— По вагона-ам! — скомандовал Брюхатый. — Берите с собой на дорожку, а то пять минут осталось!

— А на посошок-то? Э-э!.. — напомнил Чернявый.

— Давайте быстрее! Быстрее, быстрее. — Брюхатый посмотрел на часы. — Четыре минуты осталось.

Тут все оживились, засмеялись, задвигались... Стали скоренько разливать коньяк по рюмкам.

— Скорей, скорей, — суетился Брюхатый. — А то опоздаем.

— Успеем. Он не точно отходит...

— На ходу запрыгнем.

— Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на рельсах. — Это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него.

— Я предлагаю вот этого... жлоба не брать с собой, — сказал он. — Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут.

— Ничего! — кричал Лысый. — Дернули!

Выпили.

И «побежали на поезд». На этот раз в голове строя стал Брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал...

— Пх-х, пх-х, пх-х... Ну, сели?

— Сели.

— Ту-ту-у!.. — тонко и выразительно «загудел» Брюхатый и медленно стронулся с места. И «поехали»...

«Выехали» в комнату Веры Сергеевны... Брюхатый стал «замедлять ход» и опять тонко, с какой-то даже тоской «прогудел»:

— Ту-ту-у!..

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на «поезд».

— Пересадка! — объявил Брюхатый.

«Пассажиры» вышли из вагонов... Расселись кто где смог: кто на тахту присел, кто на кресло... Простой человек сел на полу прямо.

— Много народу на вокзале, — сказал он.

— Вы давно сидите, гражданка? — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне.

— Нет, я недавно. А вот вам... не знаю, сколько сидеть придется, — как-то значительно сказала Вера Сергеевна.

«Пассажиры» переглянулись.

— То есть? — не понял Аристарх.

— Я эти... путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда, — опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна. — Вы у меня подудите... Подудите у меня, паразиты.

— Что, контролеры пришли? — испуганно спросил Простой человек с пола. — А у нас билеты-то есть?

Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу Простого человека.

— Да это так — пугают, — сказал Чернявый. — Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?

Вера Сергеевна больше не смотрела на «пассажиров», а смотрела телевизор.

— Ну, а почему же сразу — «паразиты»? — оскорбился Аристарх.

— А кто же вы? — повернулась Вера Сергеевна. И зло смотрела на мужа. — Ну — спекулянты, если не паразиты: еще хуже.

— Гражданочка, — опять заговорил Чернявый весело, — вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры... Едем на свои денежки.

— Вот и проезжайте. А потом вас повезут бесплатно.

— Куда это? — тоже зло спросил Аристарх. — Куда

это нас бесплатно повезут?.. — Он двинулся было к жене, но его остановил Брюхатый.

— Стоп, Аристархушка! — сказал он разумно. — Никаких скандалов на перроне... Нам действительно пора ехать. По вагонам! — опять скомандовал он.

И все опять со смехом построились в затылок друг другу, Брюхатый опять «загудел» — и «поехали» в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом.

— Хоть нормально посидим в ресторане, — пожаловался Лысый. — А то все — в дороге и в дороге... Все всухомятку, как попало...

— Что будем заказывать? — обратился ко всем Чернявый.

— Лично я, — сказал Простой человек, — выпил бы простой водочки. А?

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это.

— Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского...

— И коньячку, — подсказал Курносый. — На меня шампанское, как пиво, работает: я то и дело бегаю.

— Итак, — подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую, — коньяк, шампанское... Водки, извините, не держим.

— Ну, как же так — не держите?! — возмутился Брюхатый. — А если человек на полатях вырос?.. Что ему, ваш коньяк пить?

— Ерша ему! — подсказал Курносый.

А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку... И села писать.

И дальше, — если вообразить, что это на сцене, — можно услышать, что́ она пишет. Причем уже слабо слышно, как там «сидят в ресторане» наши «пассажиры», а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны:

«Уважаемый товарищ прокурор!

В то время, когда наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите: на какие деньги? Я вам отвечу: они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров...»

«Пассажиры» в это время танцевали летку-енку.

«Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они танцуют летку-енку. А в коридоре лежат покрышки для «Волги» в количестве пять штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их сымпровизировали. Так что, я думаю, что при вашей помощи они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет, я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уже всякое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами...»

УТРО

Утром Аристархушка проснулся с больной головой... Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом — бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал:

— Копия...

И побежал глазами по бумаге... И, даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены.

Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу... И тут ее перехватил Аристарх.

— Ты что? — спросил он.

— Что? — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди.

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это туда? — спросил Аристарх зло, сквозь зубы. — Куда это туда?

— Ударить хочешь? — спросила Вера Сергеевна спокойно. — Ударь — получишь лишних три года.

— Вера... — Аристарх растерялся. — Сядь... Давай сядем поговорим. — В чем дело?

Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье... Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой.

— Давай сядем, — суетился Аристарх. — Сядь же ты!.. Скотина.

— Пусти!

— Вера!.. Прости — ну, вылетело. Сядь, я прошу.

— От этого ничего не изменится. — Вера Сергеевна села на диван, на краешек.

— В чем дело? — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже. — Что случилось?

— Мне надоело! — закричала Вера Сергеевна. — Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не служанка!..

— При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить нельзя?

— С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак был в пудре! С кем?!

— Да мало ли... в автобусе прислонился...

— В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? — Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала: — «Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз — и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?..»

— Это деловое письмо! — вскричал Аристарх. — Дай сюда!

— Да? Шиш! — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку. — Развратник. Спекулянт. Я те покажу — голубь!

— Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой...

— Однокурсник? А почему же подпись — «Соня»?

— Псевдоним! Мы его в институте так дразнили.

— А почему «твоя Соня»?

Аристарх опять растерялся... И от растерянности больше обозлился.

— Плебейка, — сказал он зло и тихо. — Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят — до конца. Если он подписался «Соня», то он последовательно написал «твоя». Твоя — это значит твой.

— Твой Соня?

— Что, врезать, что ли? Врежу...

— Попробуй. Так тебе — лет восемь дадут, а так — одиннадцать.

— Ну, чумичка!.. — занервничал Аристарх. — В чем дело-то? Чего ты взбесилась-то?

— Я все там написала.

— Так. И куда ты сейчас?

— К прокурору.

— Сегодня воскресенье.

— Я в почтовый ящик брошу.

Аристарх побледнел... И долго стоял над Верой Сергеевной.

— Я — спекулянт? — спросил он дрожащим голосом.

— Спекулянт, — сказала Вера Сергеевна.

— Я ворую у государства деньги?

— Воруешь у государства деньги.

— Снимай все с себя! — приказал Аристарх. — Снимай, снимай!.. Это все куплено на ворованные деньги. — Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм. — Это все ворованно — чего ты напялила? Снимай!

— Пожалуйста! На!.. На, ворюга!..

— Все снимай! Твоего тут ничего нету!

— Что я, голая к прокурору пойду?

— Голая! — Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул — там ли заявление: заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри на ключ и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер. — Але? Семеныч? — И Аристарх заговорил негромко и торопливо: — Слушай, срочно ко мне... Да нет! Моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору... — Аристарх долго молчал, слушал. — Иди ты к черту! — сказал он. — Созвонись со всеми... давайте как-нибудь все... прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кинула: записку в карман подсунула, я даже не знал... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно.

Аристарх бросил трубку, минутку посидел, подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату.

Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване.

— Одевайся, Вера, — сказал он миролюбиво. — Давай спокойно поговорим обо всем.

Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза.

— Во-первых, — начал он, — ты думаешь, государство наше такое глупое?

— Я об этом не писала. Нечего мне тут...

— Я тебе прочитаю курс экономики! — воскликнул Аристарх. — Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что — воруют. Больше того, какой-то процент, кажется, пятнадцать процентов государственного бюджета отводится специально — под воровство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициати-

ву? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть — я умею работать! Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл, — это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону...

— А сколько тебе дадут по гласному закону?

— Дура!.. — сорвался на крик Аристарх. — Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да! Посадят — это, значит, я там буду канавы рыть? Но у меня же — голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они — покрышки лежат, — показал Аристарх в коридор. — Пять штук. Лежат? Лежат — ты можешь подойти и пощупать их: они есть. — Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку. — Но их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не су-ще-ствует. А они — лежат, пять штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен. Попробуй... без специальной подготовки, без головы!.. Попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов... А мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набраться-то? Ну, окончил он свой вузишко, ну — с дипломом... А что дальше? А дальше ничего: еле-еле будет на восемьдесят процентов тянуть. А то я не знаю таких! Так что ты... поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик. — Аристарх подсел к жене. — У нас вчера была самодеятельность... Согласен, самодеятельность, но это от избытка... я не знаю — чувств, что ли, ну расшалились... Может же художник... артист какой-нибудь там... в бассейне в бане кильку ловить и закусывать, ну а почему мы журавлей не можем изобразить? Нет, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность, но у тебя с этим заявлением — это, прости меня, безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, что ты моя жена.

Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он уж и понял это, но поздно.

— Прекрасно, — сказала Вера Сергеевна, — иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Я сделаю свое дело... Твою голову

оценит прокурор. И не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный? Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть.

Аристарх свирепо уставился на супругу.

— Лахудра, — сказал он весьма грязно, не по-вузовски. — Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике — чего ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов, — показал он на каракулевую шубу, — никогда не было на свете. Чумичка в каракуле!.. Не пойдет. Я ей мозги пудрю!.. Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! — Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.

ДВА ЧАСА СПУСТЯ

Все вчерашние «пассажиры» собрались у Аристарха. Нет только Простого человека — его не позвали.

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театрально заламывал руки и повторял:

— Как, как эту дуру образумить? Как?

— Как ты с ней говорил-то? — спросил озабоченно Брюхатый.

— Всяко!.. Даже развивал мысль, что нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой...

— Аристофан, мать твою!.. — заругался Брюхатый. — Мысли он развивал! Оскорблял, нет?

— А что, молиться на нее, на дуру?

— На карачках!.. Вот так вот ползать будешь! — воскликнул Брюхатый. И с досады даже показал, как ползают. — Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока ты их будешь развивать, мы уже будем... — Брюхатый сложил пальцы решеткой. — Я тебя вижу, ты меня — нет. Пойду сам...

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал... И пошел.

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал:

— Вера Сергеевна!.. Можно ваше одиночество нарушить?

— Ну? — откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна! — приветствовал ее, появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался.

— Здравствуйте, — с неким вызовом сказала Вера Сергеевна.

— Позвольте присесть?

— Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?

Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой.

— Ну, уж... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?

— Шумели-то, это бы еще ничего...

— А что такое? — встревожился Брюхатый. — Выражался кто-нибудь?

— И это бы ничего... Это я слышала.

— Ну, а что же мы такое вчера сделали?

— Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь.

— Чем?

— Воруете. Спекулируете.

Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол. Потом поднял голову.

— Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хотите?

— Хочу посадить.

— А я уж сидел! — почему-то весело сказал Брюхатый. — Сидел. Четыре года и восемь месяцев.

— Ну, еще разок посидите.

— А хотите, расскажу, как это было?.. Нет, я не про подробности дела, а про... судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: жена посадила. Не то что прямо пошла и заявила, а... когда надо было... как бы это вам... В общем, когда надо было сказать «нет», она сказала «да». — Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь. — А прожили мы с ней — ни много ни мало — четырнадцать годков. И когда я уходил, я ей внима-ательно посмотрел в глаза, внимательно, внимательно. И говорю: «Прощай, Клава. Не скучай, — говорю, — тут без меня... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну, а если уж не приведет бог, то, — говорю, — не поминай лихом. У меня, — говорю, — зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный

там, сгрубил когда... Я, — говорю, — старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел». Так я ей сказал. Она, значит, в слезы... А у меня вот тут вот закаменело — смотрю на нее... Ну, в общем, отсидел я свои годки — не досидел даже, вел себя примерно — вышел. Вышел — и к своей Клаве. «Здравствуй, — говорю, — Клава! Вот — дал бог, свиделись». И так это улыбаюсь — изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы... И — было на шею мне. Я говорю: «Стоп, Клавдия Михайловна: семафор закрыт. Проезда нету. Извините, — говорю, — Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути: разъезд». Она — туда-сюда — мол, я иначе не могла... Все! — Брюхатый это «все» сказал очень жестко. И прямо посмотрел на Веру Сергеевну. — Все, милая!

— К чему это вы? — спросила Вера Сергеевна.

— А просто!.. Случай-то — аналогичный. Но это не конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю... Все отдал! Квартиру, тряпки — все! А за четырнадцать-то лет мы же нажили кое-чего — все отдал! Бери! У тебя будет квартира, туфли, платья... А у меня — голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него — голова, — показал Брюхатый на комнату Аристарха, — а не надо этим хвастаться, не надо. Есть она — есть, нет ее — ничего не сделаешь. Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? Все бери! А со мной все мое богатство — тут! — Брюхатый ударил себя кулаком в лоб. — Хвастать не буду, но... прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочила замуж, разошлась; тот у ней половину площади оттяпал — он для того и расписывался... Тряпочки-шляпочки потихоньку в комиссионку ушли — ша! Как у нас там говорили: кругом шешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру, — Брюхатый стал загибать пальцы, — дачу, «Волгу», гараж... У меня жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но я опять же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься.

— Вы пугаете, что ли, меня?

— Да господь с вами! Пугаю... Просто рассказываю про... некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня: что я потерял за эти четыре года и восемь месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прямо в дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет института питания — надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия

Михайловна? Все. Год назад встретил — с авоськой из магазина кондехает... А я на «Волге» еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился... Подвезу, думаю. Скажу: «Клавдия Михайловна, позвольте, я вас до дома подвезу, я только не знаю, где вы теперь живете». Хотел так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу! Она, видите ли, «иначе не могла», а я тоже не могу: шлепай дальше со своей авоськой.

— Слушайте, не надо, — попросила Вера Сергеевна. — Не надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю.

Брюхатый встал.

— Да я ведь... что же... я ведь так: эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, порыв к прокурору — это красиво, руку будут жать, соседи скажут: «Какая молодец!» Но в душе подумают, — поверьте моему слову, я жизнь повидал, — в душе подумают: «Вот дура-то!» Вы вот телевизор любите смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай...

Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов.

В комнате Аристарха его молча ждали «пассажиры».

— Ну!.. — Брюхатый погрозил пальцем Аристарху. — Если она все же посадит нас... — он замолчал и слезливо заморгал глазами. И даже головой закрутил, и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы: — Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу! Не мог с женой уладить!.. Купил бы ей... не знаю, чертика с рогами, — забавляйся. Нет, он ей про государственные органы!.. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь. Она вон насмерть стоит, слюной исходит — посадить охота.

«Пассажиры» подавленно молчали.

Вдруг Курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне.

— Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими теориями!.. С вашим опытом.

Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в дверях, опустился на четвереньки... И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой.

— Пусть они как хотят, а я вот так буду. Не вставайте, умоляю вас, — сказал Курносый, — так и лежите: я буду так разговаривать.

— В чем дело?! — Вера Сергеевна все же чуть привстала.

— Я человек тоже энергичный, как треплется ваш

муж, — быстро заговорил Курносый, не поднимаясь, — но я не такой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не говорите!.. Дайте я скажу, потом — казните или милуйте. Я тоже замешан в этой... в этих... Но у меня двое маленьких детей, мать с отцом престарелые... Они не вынесут. Жена тоже не вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти... про себя информируют везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внимательней их... Я же вижу, Вера Сергеевна: вы скучаете. Не надо, не надо говорить! — Курносый вскочил с четверенек, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном. — Но вы же — красивая! Как вы можете скучать? Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я не знаю, чего там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал... По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна!.. — Курносый приложил умоляюще руку к сердцу. — Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво... то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо — дайте я все скажу! Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбления!.. Как он может оскорблять?! Он спекулянт-то не крупный, он — так: середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того чтобы... Нет, у меня в голове не укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь, хотите... Только не надо, не говорите: дайте я все скажу. Поймите меня: говорю это, спасая свою шкуру. Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но... Вера Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Красавец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина... Ну, все, все при нем, я, мужчина, любуюсь на него. Он даже своим режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь украсить!... И на него, — Курносый показал на комнату Аристарха, — на него-то злости не будет! Это уже проверено. Мир будет в доме, у кого хотите спросите. Вот спросите у своих подружек, которые рога мужьям наставляют: ведь позавидовать мож-

но, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной... Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, а поймите: мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу?.. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было расколоть — ну, то есть, разузнать у нее побольше, так, говорит, его подослали, он познакомился и... доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет!..

— Вон! — вскричала Вера Сергеевна, как графиня. — Вон отсюда!.. Сволочи! Совсем уж?..

— Да ну, что совсем? Что совсем?.. — бормотал Курносый, поднимаясь. — Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю... Вы подумайте, а мне только намекните...

— Во-он! — пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна.

— Ну-у... орать будем, да? Что за люди!.. — Курносый пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулся и, грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: — Но сидеть я не буду! Понятно? Пусть Аристарх сидит, если хочется, а я сидеть не буду.

— Будешь, — сказала Вера Сергеевна. — Еще как будешь-то.

Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением вошел в комнату, где сидели все «пассажиры». И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло:

— Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете садиться, а я не хочу. Поняли?!

— Ты что, с гвоздя сорвался? — спросил Аристарх. — Чего ты?

— Ничего! Пить надо меньше! — закричал Курносый на Аристарха. — Тогда жена будет любить... и сажать не будет. Импортанто!.. Садись тут... по милости всяких... Не буду сидеть! Не буду сидеть!

— Это уже психоз начинается, — сказал Лысый. — Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете?

— Она нас из-за Соньки вон его всех закатает! — все нервничал Курносый. — Нашел с кем — с Сонькой...

— В том-то и дело, что — не нашел! — тоже стал нервничать Аристарх. — Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы эта нашла.

— Ну, так и объясни ей, — сказал Лысый. — Я, мол, не захотел флиртовать, она обозлилась...

— Так она и поверила!

— Ну, а что же делать-то?! — теперь уж и Лысый закричал. — Что, так и поведут всех туда, как телят?

— Почему покрышки-то до сих пор здесь?! — закричал и Чернявый на всех, но особенно на Аристарха.

— А куда их теперь?! — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого. — Сейчас прикажешь выносить?

— Вчера надо было!

— Вчера!.. Вчера мы в жаркие страны улетали, — горько съязвил Аристарх.

«Пассажиры» явно нервничали... И не знали, что делать.

Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные «пассажиры» сейчас боятся и нервничают.

— Так, — сказал Лысый, — если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость. Где ее тряпки? — спросил он Аристарха.

— Зачем? — не понял тот.

— Дай-ка сюда... — он взял шубку Веры Сергеевны, костюм и пошел к ней в комнату.

— С вашего позволения! — явился он вполне официально, с шубой и костюмом на руке. — Позвольте присесть?

— Разрешаю — садитесь, — со скрытым значением сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване.

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее «садитесь». Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал... И сказал:

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — сказал он вполне бесцветным голосом.

— Как это? — не поняла Вера Сергеевна.

— Вы с уголовным кодексом знакомы? — в свою очередь, спросил Лысый.

— Приблизительно... А вы что, юрист?

— Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком, — неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: — Это ваши вещи?

— Мои.
— Вы их купили?
— Мне их... купил муж.
— Сколько ваш муж получает?
— Какое ваше дело?
— Это не ответ. — Лысый отлично «вел дело»: спокойно, точно, корректно. — Сколько эта шуба стоит?
— Какое ваше дело?!
— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина, — еще раз отчетливо сказал Лысый. — Вы прекрасно знали, что эти вещи — не по карману вашему мужу: он их «сымпровизировал», как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрышки пишете, а про шубу, про костюм... — Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату, — а про все остальное не пишете. Здесь все ворованное. — Лысый сделал широкий жест рукой по комнате. — И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным... И молчали. За это по статье...
— Здесь все мое! — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно.
— Ваша зарплата? — вежливо осведомился Лысый.
— Не ваше дело.
— Сто десять рублей, нам это прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров...
— Вы меня не запугаете!
— А я вас не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором. А я просто вношу ясность: сидеть будем вместе. Не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите: из всей этой гоп-компании мне корячиться меньше всех, я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас: вы еще молодая.
Вера Сергеевна что-то такое соображала... И сообразила.
— Все это, — сказала она и тоже повела рукой по комнате, — мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил...
— Лапочка, — сказал Лысый почти нежно, — тут и доказывать нечего: вот эту «Рамону» (гарнитур югославский) доставал ему я: я потерял на этом триста целковых, но зато он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зятю — по нормальной цене.
— А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячиться? Наберем! — весело сказала Вера Сергеевна. — Всем наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет

доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут... на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! — Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки. — Там их — пять штук: за каждую — пять лет: пятью пять — двадцать пять. Двадцать пять лет на всех. Что, мало?

Эта «арифметика» явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого.

— Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой?

— Мои папа с мамой всю жизнь работали... а я у них — единственная дочь.

— Неубедительно, — сказал Лысый. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл «процесс», это было совершенно очевидно. Но он не сдавал тона. — Аристарх, — продолжал он снисходительно, — конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да... Но ведь там-то, — показал Лысый пальцем вверх, — тоже не дураки сидят: скажут! Там умеют... И папаша ваш, если он потомственный рабочий, — что он, врать станет? Да он на первом же допросе... гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это... — Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм. — Поносите пока.

И Лысый вышел.

А в комнате, где «пассажиры», о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели... но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись.

— Чего вы тут?

— Инсценируем счас ее убийство, — сказал Курносый, хихикнув. — Надо такого ей страху нагнать!.. Так ее, дуру, напугать, чтобы она... на диван сделала.

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу.

— Как это? — не мог понять Лысый.

— Сделаем вид, что мы ее счас укокошим. Изрубим на куски, а вечером — по одному — всю вынесем в хозяйственных сумках.

— А он чего пишет?

— Полное ее отречение: «Ничего не видела, ничего не знаю». А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе! — пред-

упредил Курносый. — Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки, — добавил он, помолчав.

— Все, — сказал Аристарх, поднимаясь. — Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашней... Все делаем, как на самом деле.

— Все на полном серьезе!

— А заорет? — спросил Лысый.

— Ори. Кругом никого нету, все на сдаче норм ГТО, она это знает, — сказал Аристарх.

Стали вооружаться: Курносый взял большой кухонный нож, Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник...

— Я, как Юсупов, — сообщил он в связи с этим. — Они Распутина подсвечником добивали.

Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял... подушку.

— А это-то зачем? — спросил Брюхатый.

— А я ей вроде рот буду затыкать.

— А-а.

А Лысый не взял ничего. Он пояснил так:

— А я буду бегать вокруг вас и умолять: «Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается?»

Все это одобрили.

— Это хорошо.

— Правильно... А то все явимся, как в этой... мульти-пульти такой есть...

— Никакой оперетты! — еще раз предупредил Аристарх. — Она ж тоже... не совсем дура.

— Во, комедию отломаем! — воскликнул Курносый и опять хихикнул.

— А ее инфаркт не хватит раньше времени? — вдруг спросил всех Брюхатый.

Все на мгновение замерли...

— А?

— Инфаркт?

— Инфаркт... Нормальный инфаркт миокарда. Или — инсульт.

— Да ну!.. — сказал Лысый. — Она из рабочей семьи, у нее отец на гражданской...

— Как, Аристарх?

— А черт ее!.. Не знаю.

— Ну а если хватит? Ну и что? — спросил Курносый. И посмотрел на Аристарха. — Ну, допустим, хватит?

— Пошли, — сказал Аристарх жестко. — Она всех нас переживет... Какой там инфаркт!

И они вошли в комнату Веры Сергеевны.

Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну...

— Вера... — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх. — У нас положение безвыходное... Ты не догадываешься, зачем мы пришли?

Веру Сергеевну стали потихоньку окружать.

— Другого выхода у нас нет, Вера...

— Братцы, может, не надо? Может, она одумается? — засуетился Лысый.

— Вера... — Аристарх медленно приближался к супруге — в одной руке топорик, в другой — «отречение».

Вера Сергеевна побледнела... И все пятилась к окну.

— Да ничего она не одумается! — воскликнул Курносый. — Давайте кончать.

— У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах вот это вот — что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору... Или мы тебя...

— Давайте кончать! Чего тут тянуть?

— Я закричу, — еле слышно пролепетала Вера Сергеевна.

— А подушечка-то! — вылетел вперед Чернявый.

— Ты же знаешь, что кругом никого нет... Все на сдаче ГТО.

— А сумки-то заготовили? — спросил Брюхатый. — Разрезать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то?

— Да есть сумки — полно́. Помельче только разрезать... и по одному все вынесем.

— Все уже предусмотрели! — сердито обернулся на всех Аристарх. — Вы выно́сите по одному, а я останусь — замою тут все. Чего тут базарить-то?

— Главное, внутренности вынести, а остальное-то...

— Внутренности! А руки, ноги?.. Куда ноги, например, денешь? Они ни в какую сумку не полезут.

— Перерубим! Я ж те говорю: помельче изрубить.

— Вы же интеллигентные люди, — негромко сказала Вера Сергеевна. — Все в шляпах... в галстуках...

— Вывеска! — воскликнул Чернявый.

— Интеллигентные!.. — Брюхатый колыхнул животом от смеха. — Я в лагере трех человек задушил... вот этими вот руками...

— Мы, значит, жестокие? — спросил Аристарх. — А ты? Ты не жестокая? — столько людей сразу посадить собралась. Подписывай!

Как-то не заметили, что, пятясь, Вера Сергеевна подо-

шла к самому окну, которое очень легко открывалось... Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно:

— Если кто только двинется, я прыгаю! Тут только два этажа: сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь!

Все так и замерли.

Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно.

— Мы же шутим, Верунчик!.. Неужели ты поверила?

— Немедленно все убирайтесь отсюда! — Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос. — Шутники.

— Нет, вы... Нет, она правда поверит, что мы...

— Убирайтесь!

— Да шутим же мы! — воскликнул в отчаянии Брюхатый. И бросил подсвечник. — Какие мы убийцы! Нас самих счас...

— Убирайтесь!

— Нет, она в самом деле может подумать!..

— Да думай она! — взорвался Курносый. — Что хочет, то и пускай думает! — И тоже бросил нож. И первым пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело: — Но сидеть я все равно не буду! Ясно?! Сидеть я там не буду! Вот пусть они вот все... они вот, они — пусть сидят, а я не буду!

Никто ему на это ничего не сказал.

Он вышел... И за ним все тоже вышли.

И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали.

— Интересно, — заговорил Чернявый, обращаясь к Курносому, — как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь?

— Не буду! — повторил Курносый.

— А у тя что, сиделки, что ли, нету? — ядовито спросил его Брюхатый. — Она у тебя на месте: будешь сидеть, как все.

— Он там ходить будет, — подал голос Лысый.

Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался.

— Не буду сидеть! — опять тупо повторил Курносый. — Вы все как хотите, а я — не буду!

— Все будем сидеть, — сказал Аристарх, не поднимая головы.

Опять некоторое время молчали.

— Конечно, — заговорил опять Курносый, — если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы.

Аристарх поднял голову.

— А кто же я?

— Бабник! Шлюха в штанах!.. Да хоть бы умел, господи! А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту... тьфу! Рогоносец. С этой Сонькой...

— А ты подхалим, — сказал Аристарх первое, что выскочило из его оскорбленной души. — Ты перед начальством на полусогнутых ходишь.

— У меня пятеро на шее! — Курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку. — Пятеро!.. Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а у меня их — пятеро. Мне не до любовниц!

— Зато тебе — до коньяка, — вставил Брюхатый.

— А ты вообще заткнись! — развернулся к нему Курносый. — Тебе-то даже полезно посидеть: может, похудеешь маленько. В институт питания собрался!.. Вот тебе и будет институт питания. — И Курносый нервно засмеялся.

Брюхатый навел на него строгий взгляд.

— Шавка, — сказал он. Помолчал и еще сказал: — Моська.

— А ты слон, да? — вступился за Курносого Чернявый. — Это не тебя по улицам водили?

— Меня, — сказал Брюхатый. — А это не тебе я нечаянно на туфель наступил... двадцать седьмого июня тыща девятьсот семьдесят третьего года: на профсоюзном собрании? Что-то ты тогда был... зеленоватый, а сейчас, гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили?

— А кто всучил-то? Кто?

— Я, в том числе.

— Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выговор он всучил!.. У меня первый раз недосмотр случился.

— Минуточку, минуточку, — прервал Брюхатый, — как это ты выразился — «прохиндей»? Я одиннадцать лет после суда без единого взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут! Сам в выговорах весь, как... Ни одного же собрания не обходится, чтобы тебя...

— Хватит! — взревел Аристарх. — У меня вон, — показал он на стол, — семь почетных грамот лежат!.. Я и то молчу.

— А чего ты можешь сказать? — спросил его Лы-

сый. — Там — семь почетных грамот, а там, — в сторону коридора, — пять покрышек. Я думаю, покрышки — потяжельше, перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я.

— Ой! — изумились.

— Глядите на этого ангела!

— Прямо невеста... в свадебной марле.

— Шариков только не хватает.

— И ленточек разноцветных...

— Да! — гордо сказал Лысый. — У меня две общественные нагрузки, а у вас... У кого хоть одна общественная нагрузка?

Все промолчали.

— А-а, нечего говорить-то. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется.

— Да, я думаю, все учтется, — сказал Аристарх. — Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом — тоже учтется.

Лысый подрожал в гневе и обиде губами.

— Ворюга, — сказал он. — Плюс идейный ворюга: с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, столько тебе — отдельно — за базу.

— База — для дураков, — струсил Аристарх. — Я — нормальный спекулянт, чего ты тут?

— А-а!.. Очко-то не железное?

— Но ты тоже — не ерепенься тут, кудрявый!..

В это время в дверь позвонили.

Все оторопели на миг... Брюхатый даже за сердце взялся.

Еще резко, длинно позвонили.

— По одному... с вещами, — тихо сказал Чернявый.

— Иди, — кивнул Брюхатый Аристарху.

— Может, это макулатуру собирают... пионеры, — тихо сказал бледный Аристарх. — Подождем.

Опять звонок.

— А я нож-то там бросил! — вскричал Курносый. — Подождите, я нож-то хоть уберу, а то же!..

— Топорик мой...

— А?

— Топорик, топорик, — невнятно повторил Аристарх. И показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны. — Топорик...

— Чего топорик?

— Топорик мой тоже возьми, а то нам попытку к изнасило... ой, это... к убийству, к убийству...

— Тьфу!.. — заругался Курносый. И побежал за ножом и за топориком

— Мама, роди меня обратно: рубля государственного не возьму, — сказал Брюхатый.

— Не будет она тебя больше рожать, — зло и тихо сказал Чернявый. — Она и за этот-то раз раскаивается, наверно.

Курносый припес нож и топорик... И засуетился с ними. И зачем-то их оглядел еще.

— Ты что? — одними губами спросил Аристарх.

— Где они лежали-то?

— Вон...

Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не «пионерский».

— Какая макулатура! — тихо воскликнул Лысый. — Иди.

Аристарх поднялся... И медленно, тяжело — как если бы он шел уже по этапу — пошел к двери.

— Кто? — спросил он тихо, обреченно.

Из-за двери что-то ответили...

Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего:

— Какого черта ходишь тут?! Звони-ит!..

Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался.

— А я думал, нет никого! — Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с коньяком и улыбался. — Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!

И Простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу.

— Ну, ребятки, седня нам... до Владивостока хватит.

На него молча смотрели.

Только Брюхатый сказал:

— Идиот... Василий блаженный. На полатях вырос.

— А чего вы такие? — только теперь заметил Простой человек. — А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?

— Хочешь в свою Сибирь? В деревню? — спросил Брюхатый.

— Хочу, — сказал Простой человек. — Нынче поеду: у меня в сентябре отпуск...

— А в долгосрочный отпуск поедешь?

— Стоп! — воскликнул Чернявый. — Идея! Вот идея

так идея. — И он вскочил и обнадеживающе посмотрел на всех... — Кажется, мы спасены!

— Как? — спросили все в один голос.

— Ждите меня! — велел Чернявый и куда-то убежал — вовсе, из квартиры.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОЧЬ

«Пассажиры» ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался... Нет, одна бутылка была распочата: похоже, это Простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка: Вера Сергеевна опять смотрела телевизор.

Долго-долго сидели и ждали.

Наконец Простой человек не выдержал и встал...

— Пойду еще раз, — сказал он. — Хлопну для смелости — и пойду.

Он выпил коньяку... Все — от нечего делать — внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне.

— Я еще раз, — сказал он, входя. — Сергеевна, голубушка... ведь все это — опишут, — сказал он, показывая рукой на гарнитур, диван, ковры... — Все-все. Одни обои останутся.

— Пусть, — сказала Вера Сергеевна. — Зато преступники будут наказаны.

— Преступников не надо наказывать...

— А что же их надо — награждать?

— И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае, надо с имя находить общий язык.

— Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать?

— Они так и так будут продолжать! Потом: ну какие же они преступники! Вот эти-то?.. Господи!.. Это сморчки! Они вон уже перепугались сидят... с них капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте — ведь это готовое Ваганьково. Там только надписи осталось сделать: был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожа-

лейте вы их, ей-богу! Ну, припугнули — и хватит. Хоть Аристарха свово пожалейте: ведь он со страху... мужиком года полтора не будет.

— Ну, что вы — он любовниц заводит! — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе. — У него есть Соня.

— Сонька?! — удивился Простой человек. И хлопнул себя руками по штанам. — Господи, боже мой. Ну нашла же ты к кому приревновать. Да с Сонькой вся база... Я! Я!.. — постучал себя в грудь Простой человек, — я один, можеть, только и не вокшался: потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька!..

— Тем более! — мстительно воскликнула Вера Сергеевна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комнате. — Тем более!.. Скотина он такая. Мне его нисколько не жалко! Из всей этой бригады, — показала она на комнату Аристарха, — мне ни-ко-го не жалко. Вас только жалко.

— Да меня-то!.. — махнул рукой Простой человек. — Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить, а мне-то... Коньячка вот только не будет, вот жалко. Ну, отдохну от него, наберусь сил — тоже полезно. Да мне много и не дадут — от силы два года: за компанию. Мне их жалко, Сергеевна: у них, у всех, почесть, детишки. Вот этого толстого!.. — почему-то вдруг обозлился Простой человек, — вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, эт-то журавь, скажу тебе! Это самый главный воротила. Но его же отдельно не посадишь. Сажать, так уж всех.

— Вот все и будут сидеть.

— Оно, конечно... так. Знамо, что... А куда денешься? — будем сидеть.

И Простой человек вышел.

Когда он вошел в комнату, где сидели «пассажиры», на него посмотрели без всякой надежды, обреченно.

Простой человек присел к столу... И засмотрелся на бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул.

На него удивленно посмотрели.

— Прощайте... драгоценные мои, — говорил Простой человек, глядя на бутылки. — Красавицы мои. Как я буду без вас?.. Одно страдание будет, тоска зеленая... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело...

— Поплачь, поплачь, говорят, легче становится, — сказал Брюхатый.

— А я и плачу. Плачу и стонаю. Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду! — Простой человек сердито посмотрел на Брюхатого. — Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя... Недоедать из-за тебя не буду!

— Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду? — спросил Брюхатый.

— А что же ты там будешь делать?

— Библиотекарем пойду... Или санитаром.

Все засмеялись: это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех.

— Налей-ка и мне, — подошел к столу Курносый.

Простой человек налил две рюмочки... Одну пододвинул Курносому. Они чокнулись.

— За счастливую дорогу, — сказал Простой человек.

И тут вдруг сорвался «с гвоздя» Аристарх. Он вскочил, затопал ногой и закричал:

— Хватит паясничать! Хватит паясничать!.. Комеди францез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты!.. Говядина!

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха.

— Слушай.. — сказал он, — я умею останавливать истерики: я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно... такую-то экономическую гниду я сделаю.

Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться.

Простой человек промокнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову.

— Сергеевна, — сказал он, — а на кого квартира записана?

— Как?.. — не то что не поняла, а скорей растерялась Вера Сергеевна. — Как «на кого»?

— Кто ответственный квартиросъемщик?

— Он...

— Он. — Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну.

— А что? — спросила та.

— А ты куда? — спросил, в свою очередь, Простой человек.

— Как куда? Никуда.

— Она кооперативная?

— Да.

— С конфискацией имущества! Он же не к Марье Иванне в карман залез, он государству в карман залез...

— Ну? И что?

— С конфискацией всего имущества, — повторил Простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил. — У их теория одна: с конфискацией всего имущества.

— А я куда же?

— Я вот и зашел спросить: а ты куда?

— Нет такого закона! — слабо запротестовала Вера Сергеевна.

Простой человек присел на дорогое зеленое кресло.

— Коломийцева посадили — с конфискацией, — стал он загибать пальцы, — Коренева Илью Семеныча — веселый человек был! — с конфискацией... Он, к тому же, анекдоты любил...

— При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?

Простой человек помолчал...

— Угол снимать где-нибудь.

— Здравствуйте!

— Прощайте, — жестко сказал Простой человек — откуда и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человек — и отбыл к «пассажирам».

— Слюнтяи, — сказал он всем. И прямо прошел к столу. — Интелефу занюханные. — Налил себе большой фужер коньяка и выпил один. — Энергичные люди!.. Это я... — стукнул он себя в грудь, — я энергичный! Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна, — он подчеркнул это, — ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что — что с меня возьмешь? С меня взять-то нечего. Я за свой труд беру в основном коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу, а сделать ничего не могут. Их мужья все изозлились... иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы — энергичные... Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вешай свой

курносый нос — он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще, более-менее, энергичный. А эти все... Тара для... сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось.

Раздался звонок в дверь.

Все опять замерли.

— Открывайте! — велел Простой человек. — Памятники...

Но никто не стронулся с места.

Простой человек сам пошел открывать. И на ходу изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет: приостанавливался и разглядывал.

— Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти люди? — рассуждал сам с собой Простой человек. Он остановился перед Брюхатым. — Вот этот, наверно, плохой был...

— Проходи, — негромко сказал Брюхатый, — а то я встану из гроба и задушу тебя.

— Да, этот был плохой, — повторил Простой человек. — Вор был, наверно.

Он подошел к двери, открыл... и воскликнул:

— Соня!..

Стояли: Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно.

Никто ничего не понимал... Особенно Аристарх: он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел — не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку... И, похоже, не собирался проходить с гостьей к «памятникам», а легонько — интеллигентно — подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны.

И вошли.

Вера Сергеевна тоже растерялась... Встала с дивана и смотрела на женщину Соню.

А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только Простой человек, пробираясь опять меж «памятников» к столу, сказал:

— Счас там будет третья империалистическая. — Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой. — Клочья полетят...

А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение.

— Это — Соня, — представил Чернявый гостью хозяйке. — Моя любовница.

— Ну, — засмущалась Соня. — Прямо сразу уж... Зачем так?

— Соня, мы договорились: все начистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...

— У вас же семья, — сказала с удивлением Вера Сергеевна. — Как же вы говорите — любовница...

— Да! — гордо сказал Чернявый. — Я — из казаков... — И он энергично показал — не то лихо дернул поводья скакуна, не то... шут его знает, что-то такое показал энергичное руками, — густых, так сказать, кровей! Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь! Вы знаете, сколько я плачу́ алиментов? — Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза. — Семьдесят пять процентов! Вы думаете, — горячо продолжал он, — если я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. С законного рубля мне только положено двадцать пять копеек. А у меня — четверо детей.

— Четверо детей!..

— Это — со мной, при мне. А так их у меня... по-моему, одиннадцать. Вместе с этими, которые со мной.

— Но как же... еще любовница? — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна.

— А что я, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот?.. С чего это он, скажите пожалуйста, полысел в сорок три года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся? Нет, не над чертежами... Только уж не над чертежами. Да все имеют любовниц! Вы простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте: ведь это же позор считается, кто не имеет любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь такая... не знаю. Значит, она есть еще на земле? Я не знаю... с этим Аристархом... Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая? — прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну. — Даже интересно, честное слово.

— Слушайте, — заговорила Вера Сергеевна неуверенно, — а как же записка?.. Ваша записка, я ее нашла в кармане...

— Ва-аша запи-иска, в несколько стро-очек, — пропел беспечный Чернявый. — Она вам все расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха и... решила вас поссорить. Я когда сегодня узнал об этом, у меня глаза на лоб полезли. «Поедем, — говорю, — немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты ей все расскажешь». Все, Соня!.. Я выйду, чтоб не мешать вам... — Уходя, Чернявый ласково, но и строго погрозил Соне. — Все, решительно все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать — я лишен предрассудков. — Он чуть подумал. — И, по-моему, совести тоже.

«Пассажиры» никак не могли понять, что такое творит Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали.

Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги.

— Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку, — сказал он устало и капризно.

— Зачем же стакан? — с уважением сказал Простой человек. — Тут есть всякое хрустальное дерьмо...

— Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня спас... — Чернявый открыл глаза, огляделся, — от тюрьмы... много-много людей. Поэтому я хочу пить только из грáненого — по-казачьи. Я вас всех вывел из окружения! — возгласил он, принимая стакан из рук Простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго: — Соньке — книжный шкаф «Россарио», мне — золотой перстень с энблемой: казак скачет на коне.

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками... Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. По всему видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочная женщина и величайшая распутница. Об этом много писали.

А в комнате, где «пассажиры», хотели понять, чтó, вообще, происходит? То есть, о чем-то уже догадывались, но — подробности, подробности.

— Как ты ее уговорил? — пытал Брюхатый Чернявого.
— Книжный шкаф «Россарио»...
— Для чего он ей?
— Не знаю... Сошлись на книжном шкафу.
— Как «сошлись»? — не понял Простой человек. — Неудобно же...
— Нет, все в порядке, что ли?! — закричал в нетерпении Лысый.
— Да, — сказал Чернявый.
— Ур-ра-а! — закричали Курносый и Простой человек.
— Едем седня до Владивостока! — заявил Простой человек.
Аристархушка в волнении ходил по комнате.
— А что она ей говорит? — спросил он.
— Они говорят на иностранном языке, — сказал Курносый в сильнейшем раздражении па Аристарха. — Импортанто де ла кругом и околе. — Он подошел к Чернявому и крепко пожал ему руку. — Как мужчина мужчине, — сказал он уважительно и скупо.
Чернявый махнул рукой...
— Я тоже... перехватил там: наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного — и Тарас Бульба. По-моему, она меня теперь бояться будет.
— Кто, Сонька?
— Кстати... если Сонька счас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...
Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна.
— На колени! — скомандовала Соня Аристарху. — На колени перед Верой Сергеевной.
— Зачем? — спросил Аристарх.
— На колени!! — потребовали все, еще не разобравшись, зачем надо на колени.
— Оказывается, ты оскорблял ее! — продолжала с возмущением Соня. — Ты ей тут, оказывается, наговорил гадостей и грубостей! На колени!
— На колени!!! — опять закричали все. А Курносый даже двинулся к Аристарху.
— Импортанто!.. — с угрозой сказал он, — ты знаешь, что такое нокдаун? Я не говорю уже о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне... На колени!
Аристархушка стал на колени...
— Проси прощения у Веры Сергеевны, — велела Соня.

— Проси прощения у Веры Сергеевны! — закричали все в один голос.

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посоветовал Простой человек:

— Давай, Аристархушка... да, благословясь, поедем во Владивосток.

— Вера, — дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — прости. Клянусь: ни одной больше покрышки, ни одного колеса...

— Не об этом речь! — прервал его Брюхатый. — Говори по существу дела! Что значит ни одного колеса! Что ты, на лыжах собрался ездить?

— Но о чем тогда говорить-то?! — взбунтовался Аристарх на коленях.

Но тут уж возмутились все.

— Ах, он не знает о чем говори-ить! Ах, ты бедняжечка... Первоклашка.

— Тебя мама еще за ручку водит, да?

— Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун.

— Да не нокдаун, а нормально — по сусалам! — громко возмутился и Простой человек. — Поедем во Владивосток! Поезд же отходит, вы что?

— Вера, — опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх, — клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы...

— Опять!.. Ему говорят стриженый, он — бритый, — вконец вышел из терпения Брюхатый. Но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, не злостным дураком: — Зачем ты будешь проверять карманы?

— Не разговаривай со мной, как с идиотиком...

— Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы?

— Чтобы там записок не было...

— А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких записок не было — так будешь жить?

— Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! — опять было загорячился Аристарх и показал на Соню. И хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Соня.

— На колени! — закричала она. — А что это, женщину надо обязательно просить, чтобы она писала? — спросила она надменно. — А сама женщина не имеет права написать записку? Может у нас женщина пошутить?

Вот это понравилось всем. С этим «может ли у нас женщина пошутить?» она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились.

— Домостроевщину развел! — воскликнул Лысый.

— Нет, этот человек просит нокаута! — тоже воскликнул Курносый. — Не хочет он нокдауна, никак не хочет! Ему больше нравится нокаут! Ведь достану в печень — до утра будут считать.

— Нет, ты ответь... Ти-ха! — рявкнул Брюхатый на всех. — Ты ответь на вопрос, который тебе, подлецу, поставили: может у нас женщина пошутить?

— Может. — Аристарху надоело стоять на коленях, и он стал со всем соглашаться.

— Значит, что надо теперь сказать?

— Что? — искренне не понял Аристарх.

Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что́ надо теперь сказать Аристарху.

— Ты должо́н сказать, — вылез с поучением Простой человек, — ребята, мол, забудем все — и поедем во Владивосток.

— Прекрати со своим Владивостоком! — прикрикнул на него Лысый. — По-моему, ты и так уже где-то... под Хабаровском. Тут серьезное дело.

— Что ты должен сказать? — пытал Брюхатый Аристарха.

— Что?! Что?! Что?! — С Аристархом, кажется, начиналась истерика. — Не понимаю!.. — Он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы. — Не понимаю: что́ я должен сказать?!

Брюхатый пожалел его.

— Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не формально сказать, а с чувством, как ты говорил... сколько лет назад? — повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне.

— Что говорил? — не поняла Вера Сергеевна.

— Когда он вам первый раз сказал: Верунчик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?

— Это было... девять лет назад, — сказала Вера Сергеевна. — Но он не так говорил... — Вера Сергеевна, вообще-то, была довольна — и этим стоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают. — Он сказал: «Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?»

— Трепло! — возмутились все.

— Про экономическую базу он ничего не говорил?

— Хвастунишка.

— Я не так говорил! — заспорил Аристарх на коленях.

— А как?

— Я сказал: «Хочешь, я МОГУ сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона?» Еще я сказал: «Только не носи синтетическое белье».

— Почему это? — спросила Соня.

— Искры летят, — пояснил Аристарх.

— Да? — удивилась Соня. — Не замечала.

— Ну, так, — поднялся Брюхатый. — Я думаю, что он все осознал... Осознал, Аристарх?

— Осознал.

— Поднимайся, — велел Брюхатый. — Вера Сергеевна, идите сюда... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки?

Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, куда клонит Брюхатый.

— Они берутся вот так... — Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы. — Теперь повторяйте за мной... Вот так вот махайте и повторяйте. Повторяйте: мирись, мирись — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Все засмеялись остроумной выдумке Брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады.

— Давайте, давайте!.. — требовали от Аристарха и Веры Сергеевны.

— Мирись, мирись, — стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна, — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Опять зааплодировали... Вера Сергеевна была счастлива; Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением... Сделался вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели:

Как на Вериных менинах,
Испекли мы каравай:
Вот тако-ой вышины!
Вот тако-ой ширины!..

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы.

— Черт его знает!.. — воскликнул растроганный Брюхатый. — Жить да радоваться!.. Нет, мы начинаем себе же сложности находить.

— Именно: можно же красиво жить! — подхватил Курносый.

— Да... со вкусом! Ведь один раз живем-то! — тоже с чувством сказал Лысый. — Вы вдумайтесь: один раз! И все, и больше нас ни-ког-да не будет.

— Поехали во Владивосток! — опять призвал Простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута, всем как-то было не до Владивостока.

— Иной раз думаешь: люди, в чем дело? — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый. — В чем дело, люди?

— Дело в том, что — уважения побольше друг к другу, — подхватил его мысль Лысый. — Уважения!

— Я бы сказал — и любви, — сказал Чернявый. Он даже встал. — Любовь — это... Все можно достать! — воскликнул он. — Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету.

— Это ты, брат, верно, — похвалил Брюхатый. — Это ты — в десятку.

— Суетимся, суетимся много, — вздохнул Лысый. — Сказано же: «Не суетись». Нет, мы суетимся...

— Не потопаешь — не полопаешь, — вставил и свое раздумчивое слово Простой человек. — Попробуй не посуетись.

— Заговорила матушка-деревня! — горестно и насмешливо сказал Брюхатый. — А ведь на полатях-то не суетились! — вдруг решил поймать он Простого человека на слове.

— Почему это на полатях не суетились? — не понял Простой человек. — И на полатях суетились, и на печке, и в банях... А чего ты ко мне с полатями-то привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но пола́ти я любил, потому что там можно сверху наблюдать.

— И чего ты оттуда наблюдал, интересно?

— Все... Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке... Нас одиннадцать человек росло.

— А нас — двое, — вспомнила и Соня, — но я была младшая. Это хуже всего — младшей сестрой быть: все платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала. А счас — все наоборот! — Она сама рассмеялась такому нелепому обороту в жизни. — Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала? Она говорит: не говори. А вот нечего, говорю!.. Заладила тогда: учиться, учиться! Дырки всем на боку провертела со своей уче-

бой! Выучилась?.. Ну, давай теперь, гордись передо мной: ты же ученая! А я вот — неученая. Я — продавщица, нормальная продавщица!.. А давай, говорю, пройдем с тобой — для кспиримента — по улице: я надену все свое на себя, а ты свое на себя... Давай, говорю, пройдем? Не хочет.

Все засмеялись.

— Нет, мы едем во Владивосток или не едем?! — на исходе всякого терпения закричал Простой человек. — Во-от споминать пустились... Чего мы сидим-то?

— Это мы — перед дальней дорогой, — молвил Курносый, улыбаясь.

— Хватит вам со своим Владивостоком! — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь. — Давайте... сядем все за столом, как нормальные люди... Представляете, — обратилась она к Соне, — выдумали какую-то странную игру: то в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то...

Соня махнула рукой.

— Делать нечего!

— Энергия! — воскликнул Чернявый. — Не зря же про нас говорят: энергичные люди.

— Ну-ка, энергичные люди, — стала распоряжаться Вера Сергеевна, — приложите свою энергию к делу: раздвиньте пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню — вы мне поможете салат сготовить...

И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили... Аристарх включил дорогой магнитофон «Сони».

— У тебя «Сони»? — спросил Брюхатый со знанием дела.

— Да.

— Прекрасная вещь. У меня тоже... Шестьсот рублей.

Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся... Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой.

— Ты чего? — спросил Брюхатый.

Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого, хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха.

— Чеканулся, что ли? — спросил Чернявый вполне тревожно.

— Со...ня, — продохнул наконец от смеха Курносый. — У вас «Сони», а у этого — Соня...

— Смех смехом, — серьезно заговорил Чернявый, — но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... Слушайте, я серьезно говорю! Не вздумайте пошутить где-нибудь! А то... их же выручил, понимаешь... Мне тогда — загодя с седьмого этажа прыгать.

— С седьмого — это высоко, — согласился Лысый. — Но со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж — брат застукал... Не понимаю, чего она так перепугалась! Глаза вот такие: убьет, говорит! Я маханул... Хорошо, на цветочную клумбу угодил.

— А я раз... — хотел было тоже вспомнить Брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски.

— Пожалуйста, к столу! — пригласила Вера Сергеевна.

И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо.

— Уверяю вас: можно же прекрасно жить! — еще раз сказал Брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни. — Мирно, спокойно...

— Главное, не суетиться перед клиентом, — согласился с ним Лысый. — Скажите, чего нет? — спросил он, приглашая всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней: он показывал на богатый стол. — Чего не хватает?

— Так-то бы жил! — сказал Простой человек. — Таксисты только хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня с имя стычка.

— Хамства много, это верно, — согласился Курносый. — Но я заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и все, и повезет.

— Хорошо, если он есть. А если его нету?

— Тогда — кулак, — сострил Брюхатый. — И скажи: «Я на покосе родился!» — сразу повезет.

Засмеялись.

— Повезет он... — проворчал Простой человек.

За разговорами сели к столу.

— Ой, я забыла эту... открывалку-то... — вспомнила Вера Сергеевна — Сонечка, не в службу, а в дружбу: у меня в ящике лежит... в «Рамоне» в левом ящике, в нижнем... такая — с ручкой, как у...

— Найду, — сказала Соня. И пошла за открывалкой.

Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор.

— Я как-то товарища своего школьного встретил... — вспомнил Брюхатый. — Ну — «Где? Как?». Оказывается — шишка. Ну, выпили, закусили... Потом эта «шишка» спрашивает: «Слушай, — говорит, — ты не можешь мне женские сапоги «на платформе» достать? За горло, — говорит, — взяли...» — «И все? — говорю. — Вся проблема?» А сам думаю: эх...

Но тут случилось нечто, что и назвать-то как-то... не поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая. Соня!..

В то время как Брюхатый говорил: «А сам думаю: эх...», вошла в комнату преподобная Сонечка... с пистолетом в руках: наставила на всех и говорит:

— Руки вверх! Я — из обэхэса!

Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут Соня расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура, — до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, которая была похожа на пистолет — вылитый пистолет!

За столом не знали: то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой... Но признались, что перепугались насмерть.

— Сонька!.. — с укором сказал Брюхатый, — у меня же сердце, дура ты такая, дура... Ведь так — парализует, и все. И будешь: одна половинка жить будет, а другая рядом лежать, по соседству.

— А у меня — холод: вот отсюда вот пошел, от затылка, — признался Лысый, — и по спине, по спине — куда-то в копчик уперся: чувствую — примерз к стулу! Ну, надо же так додуматься! Ну, Соня!..

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила «пистолет».

— А я думаю: пока тут счас всех будут обыскивать да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну бутылку в штанину, — поделился своими мыслями Простой человек. — Глянь, у меня штаны-то: туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке — там же темно! — я ее из горлышка... Мы бы ее с боксером вот раздавили бы.

— Нет, тут уж не до бутылочки было бы, — признался Курносый. — У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же: все же на месте, никуда же никто не успел... А — никого не вижу! Туда смотрю (в зритель-

ный зал) — никого не вижу, сюда смотрю — никого!.. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня!.. Ну, шуточки у тебя!..

— А я думаю так: прикинусь счас невменяемым!... — поделился мыслями и Чернявый. — С ума сошел. Сошел с ума — тронулся!.. А таких не судят.

— Так тебе и поверили! — сказал Простой человек, разливая коньяк по рюмкам.

— Это — как держать себя.

— Да как ни держи!.. Пару раз промеж глаз...

— А я, — сказал Аристарх, — я вот что подумал. — И все замолкли и смотрели на Аристарха: интересно было, что он подумал. — Я подумал — все: и Соня, и моя жена, обе — оттуда... из обэхээса.

— Ну!.. — изумилась Вера Сергеевна. — Девять лет живем, а он...

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу:

— Аристарх, ты уж...

— А что? А что?.. А знаете, случай был...

— Да ну, случай! Случаи в кино бывают, в театре...

— Нет, Аристарх, в самом деле?

— Клянусь! Ну, думаю, это мне — пятнадцать лет!..

— Да нам бы всем!.. Мы же ее «убивать» ходили! Нам бы за одну эту комедию...

— Едем во Владивосток! — громко объявил Простой человек. — Присели!.. Присели! Помолчали перед дальней дорожкой...

Все замолчали.

В это время позвонили в дверь.

— Это соседка ко мне — за выкройками, — сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать.

Открыла дверь... И попятилась назад.

Вошли трое, показали книжечки.

— Милиция, — сказал один. — Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы.

Один из трех, в милицейской форме (двое были в штатском), прошел несколько в коридор и увидел покрышки.

— Вот они! — сказал он. — Даже не спрятали.

За столом сидели тихо, неподвижно.

Только Простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил:

— А кто же тогда, граждане?.. А? Кто капнул-то?

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет, — говорила библиотекарша, — я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику... Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик» — посидим... Тюлень тоже придет, потом этот будет... филин-то... Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну... слушаю...

— Ничего не понимаю, — тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну... видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился.

— Вульгаритэ.

— Вам все француженок подавай, — с неодобрением сказал Обломов. — А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж... того... — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. — Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?.. — смутился чеховский персонаж. — Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возрождаться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов. — С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь, — со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша. — Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — Библиотекарша надолго умолкла — слушала. — А каких наук? — спросила она тихо. — Да? Тогда я сама козел...

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями...

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. — Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте? — Это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза, — сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян, — начала Бедная Лиза, — вы все знаете, какая я бедная...

— Знаем, знаем! — зашумели все. — Давай короче!

— Мне стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый конторский. — Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный, — сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели.

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие, — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке — не мог встать. — Разоралились. Где он ее достанет? Легко сказать...

— У Мудреца, — Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. — Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собира-

юсь. Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская.

— Ну, начинается!.. — недовольно сказал Обломов. — Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет... Да и никому, я думаю, не...

— Цыть! — громыхнул Илья. — Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междоусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междоусобица, — сказал Лишний. — Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний. — Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок...

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал конторский. — Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь, — сказал и Обломов. — Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте, — сказал он. — Умники нашлись... Доктора́.

— Не груби, Иван, — сказал конторский. — О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца... Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь...

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья. — Склоняется он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку... Кто это со справкой выскочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза. — Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к требованию ведущего: надо что-то делать. — И она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация, — проворчал он. — Выдумывает чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!.. — вскинулся на него Обломов. — Сидячая, тебе сказали. «Кака-ая». Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний. — Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул конторский на Лишнего. — Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько... Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все взволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус, — сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник...

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. — Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился конторский. — А то я те покажу «сарынь». Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман, — позвал Илья казака. — Чего-то скажу.

— Предупреждаю, — сказал конторский, — если затеете какую-нибудь свару... вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь... самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья. — Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать, — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. — Рукава будут жевать...

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спросил казачий атаман. — Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Все — междоусобица, — грустно сказал Лишний. — Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — кликнул опять атаман. — Хоть погуляем.

— Сиди, — сердито сказал Обломов. — Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а, — вдруг зловеще-тихо протянул атаман, — вот кохо я искал-то всю жизню. Вот кохо мине надотьто... — и потащил из ножен саблю. — Вот кому я счас кровя-то пущу...

Все повскакали с мест...

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но я же безвредный!

— А вот похлядим, — говорил казак, — похлядим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секеть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!

И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли... Опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия, — тихо и горько сказал конторский. — Разве можно тут что-нибудь сделать! Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот. — Я же не пью.

— Тяжко на душе, — молвил казак. — Маяться буду...

— А нечего тут... размахался, понимаешь, — сказал конторский. — Продолжим, Лиза, ты чего-то хотела сказать...

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу

за справкой, — сказала Лиза звонко и убежденно. — Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай... я не знаю, пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько, — тоже жестко сказал конторский. — Нисколько. Только так. Иван...

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — все, видно, искал вино.

— Иди, Ванька, — тихо сказал Илья. — Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван, — заговорил Илья, — иди смело — я буду про тебя думать. Где тебя пристегнет беда... Где тебя задумают погубить, я крикну: «Ванька, смотри!»

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном... Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, еслив где пропаду, — сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван, — взволнованно сказала Лиза, — я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна, — грубо сказал Иван. — Я лучше царевну какую-нибудь стрену...

— Не надо, Иван, — махнул рукой Илья, — не связывайся. Все они... не лучше этой вот. — Показал на Лизу. — На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже, небось, сидит там...

— Без справки нельзя, дядя Илья, — решительно сказала Лиза. — А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, иди, Иван, — сказал конторский. — Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте, — сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было... Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка, — сказал, — пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, спрашивает:

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой, — ответил Иван. — А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю... Послали.

— А-а... — молвила баба Яга. — Ну, заходи, заходи... Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?

— Да не отказался бы...

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати...

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь. Иван, — заговорила Яга, — а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история; привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?

— Не пойму, ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: «Ох, и талантливый парень!» Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван. — Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили... А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу котэджик себе построить... Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать...

— Да зачем она тебе? — воскликнула баба Яга. — Построишь котэджик... его увидют — ко мне гости всякие приезжают — увидют — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал... Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.

— А как же справка? — опять спросил Иван. — Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при котэджике... Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале... Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше... Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка...

— Карга старая, — сказал Иван. — Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а, — зловеще протянула баба Яга, — теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт, проходимец... тип. Мы таких знаешь что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — И Яга трижды хлопнула в ладошки. — Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю, — еще попыталась баба Яга, — будешь котэджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное... У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала Яга. И затопала ногами. — Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась Яга. — В ого-онь!!.

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван. —

— Подарила ты мене чулки-валенки!.. Оп — ти́рдарпупия! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась баба Яга и выглянула в окно. — У-у, да с женихом вместе! То-то будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, змей Горыныч едет! — закричали они. — Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу, — сказала она. — Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин, — сказала баба Яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха-ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка. — Ржет, как эта... Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну! — приятно изумилась дочка. — Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить котэджик, паразит.

Дочка заглянула в печку... А оттуда — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!.. — стонал Иван. — Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка бабы Яги. И Яга тоже подошла к печке. — Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван. — Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то, — сказала дочка. — Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то... Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь...

— Как все... А чего? — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую.

— Да тебе-то не мешают... А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь...

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: «Черт те что: солдат не солдат, и баба не баба». И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба Яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь, — велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся...

— А чего ты нам советуешь? — спросила баба Яга. — С усами-то.

— Чего, чего... Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка, — заговорила ласково дочь бабы Яги. — Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники.

— Это не просто, — заговорил он, — это надо состав делать...

— Ну и делай!

— Делай, делай... А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться...

— Давай так, — заволновалась баба Яга, — слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопила усатая дочь. — А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может, — сказала дочь. — Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник, — нашлась баба Яга. — Понял?

— Давайте, — понял Иван. — Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его счас наведем и наложим на лицо маску... Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской...

— А обманет? — заподозрила дочь. — Мам?

— Пусть только попробует, — сказала баба Яга, — пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!.. — опять заволновался Иван, похоже, он и хотел надуть. — Ну что за народ! В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь, — нет, они начинают тут... Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут «уважаете»? Ты говори толком...

— Нет, не могу, — продолжал Иван тараторить. — Не могу, честное слово! Сердце лопнет. Ну, что за народ! Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: «Мама, а что это у тебя?» А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: «Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» Легко будет ребенку? Легко будет слушать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой... к усатой мамке...

— Хватит! — закричала дочь бабы Яги. — Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску...

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван. — Ну ничего невозможно...

— Ладно! — рявкнула дочь. — Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рявкнул Иван. — Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала Яга стражникам. — Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча... Уставились на Ивана. Все в избушке

замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка, — сказала Яга. — Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван. — Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишечек пожрем, да? Папа, называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему, он хамит, — сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко:

— Лангет, — сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!.. — взорвался от страха Иван. — Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю. — Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него — жутко было смотреть на эти три спокойные головы. — Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился, — опять сказала первая голова.

— Нервничает, — заметила вторая. — Боится.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана, — сказал Иван. — Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

— Ванька, смотри! — сказал Илья.

— Да что «Ванька», что «Ванька»! — воскликнул Иван. — Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. — Жри, — сказал он, — отвлекаясь от дудочки. — Жрать будешь? Жри.

Гад. Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — И Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч, — сказала дочь, — плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит, — возразила первая голова. — Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю, — встрел Иван, перестав дудеть. — Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш... для будущего батальона...

— Ванюшка, — заговорила баба Яга кротко, — не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же вовсю хамит! — чуть не плача сказала первая голова. — Ну как же?..

— Заплачь, заплачь, — жестко сказал Иван. — А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть, — сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть, — поддакнул Иван. — Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова. — Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван. — Во даеть Ванькя! Споем? — И Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мене
Чулки-валенки...

— Горыныч, хбром! — Оп — ти-ирдарпупия! — допел Ванька.

И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

— А? Романс?! — Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке... — Ух ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай, — сказал Горыныч. — А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну, — молвил он мирно, — кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. — Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе, — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван. — Все бы ей жрать!.. Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь, — сказала баба Яга. — Пой.

— Пой, — сказала и дочь. — Разговорился. Есть слух — пой.

— Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте.

— Кто? — не поняла баба Яга. — Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь... ты меня извини, но...

— Три, четыре, — спокойно сказал Горыныч. — Начали.

Дам коня, дам седло, —

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.
Ты уж стар, ты уж се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше, — тихо сказал он.

Под чинарой густой, —

пел дальше Иван, —

Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась, —

повел дальше Иван, —

До последнего дня-а...

— Это не надо, — сказал Горыныч. — Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя, — заулыбался Иван, — из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван. — Ну? Песни-то нету!

— Есть песня, — сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам. — Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Все.

— Ванюшка, — сказала баба Яга, — не супротивничай.

— Пошла ты!.. — вконец обозлился Иван. — Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы... я их тоже буду немножко жарить...

— Господи, сколько надо терпения, — вздохнула первая голова Горыныча, — Сколько надо сил потратить,

нервов... пока их научишь. Ни воспитания, ни образования...

— Насчет «немножко жарить» — это он хорошо сказал, — молвила вторая голова. — А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова. — Весь вечер сегодня слышу: усы, усы... У кого усы?

А па-арень улыбается
В пшеничные усы, —

шутливо спела первая голова. — Как там дальше про Хаз-булата?

— Она мне отдалась, — отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван, — сказала первая голова. — Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а... Фрукт, — сказала третья голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила:

— Нет, не фрукт, — сказала она серьезно. — Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык.

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова. — С Хаз-булатом-то?

— Он его убил, — покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-булата.

— Кто убил?

— М-м... — Иван мучительно сморщился. — Молодой любовник убил Хаз-булата. Заканчивается песня так: «Голова старика покатилась на луг».

— Это тоже не надо. Это жестокость, — сказала голова.

— А как надо?

Голова подумала.

— Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?

— На самой верхней... Рядом с Ильей и донским атаманом.

— О-о! — удивились все в один голос.

— Понятно, — сказала самая умная голова Горыныча, первая. — От этих дураков только и наберешься... А зачем ты к Мудрецу идешь?

— За справкой.

— За какой справкой?

— Что я умный.

Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба Яга и дочь тоже подхихикнули.

— А плясать умеешь? — спросила умная голова.

— Умею, — ответил Иван. — Но не буду.

— Он, по-моему, и котэджики умеет рубить, — встряла баба Яга. — Я подняла эту тему.

— Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча. — Мы никому больше слова не давали!

— Батюшки мои, — шепотом сказала баба Яга. — Сказать ничего нельзя.

— Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу. — Базар какой-то!

— Спляши, Ваня, — тихо и ласково сказала самая умная голова.

— Не буду плясать, — уперся Иван.

Голова подумала.

— Ты идешь за справкой... — сказала она. — Так?

— Ну. За справкой.

— В справке будет написано: «Дана Ивану... в том, что он — умный». Верно? И — печать.

— Ну.

— А ты не дойдешь. — Умная голова спокойно смотрела на Ивана. — Справки не будет.

— Как это не дойду? Если я пошел — я дойду.

— Не. — Голова все смотрела на Ивана. — Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.

Иван постоял в тягостном раздумье... Поднял руку и печально возгласил:

— Сени!

— Три, четыре, — сказала голова. — Пошли.

Баба Яга и дочь запели:

Ох, вы сени, мои сени,
Сени новые мои...

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,
Решетчатые...

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками... А руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю, — ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить... Как соколят вырастить. Пожалей ты меня, Горыныч, — взмолился Иван. — Ну, сколько уж? Хватит...

— А-а, — сказала умная голова. — Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут... строить из себя. Шмакодявки. Свистуны. Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери, — велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч, — возразил Иван. — Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились... Три, четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, дочь и баба Яга засмеялись.

— Иди сюда, — позвал Горыныч невесту, — я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом... И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили, — грустно сказал он. — Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка...

Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину.

— Чего такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!.. — сказал Иван. — И страху натерпелся, и напелся, и наплясался... И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— А в гостях... Черт занес. У бабы Яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути...

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь. — Далеко.

— Не знашь ли, как к нему идти?

— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе... И я возле питался — там пасек много. И облюбовали жо этот монастырь черти. Откуда только их пашугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают — с утра до ночи музыку заводют, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился... — медведь достал пачку сигарет и закурил. — Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж...

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил... льва в лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну... чего, поди?

— Пропадешь. Попытай, конечно, но... гляди. Злые они.

— Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал!.. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и плясал... тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай, — откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то, — еще раз посоветовал медведь. — Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну, и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захомутали.

— Ничего, — сказал Иван. — Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать... леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. «Очи черные» играют.

— Слышу.

— Вот иди на музыку — они. Вишь, наяривают! О господи! — вздохнул медведь. — Вот чесотка-то мировая! Ну, чесотка... Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях.

А были — ворота и высокий забор. На воротах написано:

«Чертям вход воспрещен».

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто та-

совал карты... Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски — выпивали. А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по бутылкам. — Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря Ивана под руку. — Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бобо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку, — зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти... Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте, — крикнул изящный музыкантам и девице. — Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись... Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо, — сказал один. — Или авантюрист.

— Не похоже, — возразил другой. — Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают... Бывает — характеристика, аттестат... Есть о наличии, есть об отсутствии, есть «в том, что», есть «так как», есть «вви-

ду того, что», а есть «вместе с тем, что» — разные, понимаешь? Какую именно, тебе сказали, принести?

— Что я умный.

— Не понимаю... Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок! Есть «в связи с тем, что», есть «несмотря на то, что», есть...

— Понесу ведь по кочкам, — сказал Иван с угрозой. — Тошно будет. Или спою «Отче наш».

— Спокойно, Ваня, спокойно, — занервничал изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем...

— Мне липовая справка не нужна, — твердо сказал Иван, — мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает... Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! — он нам споет «Отче наш». А «сухой бы я корочкой питалась» ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все галдели и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок «Большого орла» ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку. — Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы, — сказал изящный черт. — Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему «несли вахту» девица и музыканты: девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина!». Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен, — сказал изящный черт. — Но... А?

— Это надо проверить, — заговорили и другие. — Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим, — сказал изящный черт своему помощнику. — Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван. — Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками... беру вашего черта...

— Ша, Иван, — сказал изящный черт. — Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника, — сказал тот. — Где родился, кто родители... И еще одна консультация Ивана.

— Картотека, — кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались накоротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык, — ответил Иван. — Чтоб мне сдохнуть!

— Маэстро?..

— Через... две с половиной минуты, — ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте, — сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались... Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь

шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит —
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

— М-мх... — сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару... Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

— М-мх...

Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит, —

сказал он страдальческим голосом: — Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай «Камаринскую»!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя, — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки. — Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт. — Один собирался нести по кочкам, другой... Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник. — «Камаринскую»!

— «Камаринскую», — велел изящный музыкантам.

— Вина! — рявкнул стражник.

— Вина, — покорно вторил изящный.

— Может, не надо? — заспорил притворяшка маэстро. — Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт. — Ему будет хорошо!

— Друг!.. — заревел стражник. — Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт. — Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй? — спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт. — А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...

— Что, что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся. — Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. — На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет, — сказал Иван, останавливаясь. — Вот дела-то!

— «Камаринскую»! — раскапризничался изящный черт. — Иван нам спляшет. «Камаринскую»! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван. — Сам давай... с другом, вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта, — сказал изящный черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана. — Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никог-да не попадешь.

— Ах ты харя ты, некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван. — Да как же это? Да нешто так можно?

Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О, проклятие!.. — застонал Иван. — Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— «Камаринскую»! — велел изящный черт. — «Пошехонские страдания».

Музыканты-черти заиграли «Камаринскую». И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!.. — воскликнул он зло и горько. — Дорого же ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку, — сказал черт, когда вошли в приемную. — Посиди тут... Я скоро. — И куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только та — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась. — Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна.... А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно... Она была одна? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:

— А бугор когда будет в яме? — Он вдруг что-то разозлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу...

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что...

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне... — Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстукала:

— Понедельник, среда, с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено, — сказал Иван. И встал и вольно прошелся по приемной. — Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка: «собачья радость на двух», «смесь козла с «Грюндиком». Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному. — Иван все больше накалялся. — Но у тебя же — посмотри на себя — у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси.

— Появилась охота?

— Нет, — твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она. — Еще что-нибудь. Ну, пожалуйста.

Иван не понял, что «еще»?

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а, — догадался Иван, — ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась.

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван. — Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше!..

Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу.

— Тю, тю, тю, — испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. — Чего это тут такое? Кто это нам

разрешил выступать?.. А-я-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался, — пояснил он девице «выступление» Ивана. — Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут... Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький—сам Мудрец, как понял Иван.

— Чушь, чушь, чушь, — быстро сказал он на ходу. — Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите, — сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли,—подтолкнул черт Ивана.— Не вздумай только вылететь со своими предисловиями... Поддакивай, и все.

Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. — Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно. — Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?.. — увертливо заговорил черт. — Мы, собственно, давно хотели...

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива, — твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно... — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. — Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце: неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — заговорил старик важно и взволнованно, — а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца

влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии...

— Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя. — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают...

— Почему, это же так понятно, — сказал черт.

— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».

— Я видел явление о трех головах... — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову, услышим — «да», ударим другую, услышим — «нет». — Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — Старик опять погрозил пальцем черту. — Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу... Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез.

Иван же как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.

— Батя, — взмолился он, — ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь...

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтобы они спели родную песню стражника... Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: «Вы родную его запойте, родную его...» Они и запели...

— Какую же они запели?

— «По диким степям Забайкалья».

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так...

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка... — заволновался старичок, — вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету. — Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере... Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки... Есть толчки? Есть. Температура в кратере... Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул... — Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. — А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.

— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой гул... Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это...

— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также... утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять...

— Ухо-то не может воспринять, а... — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо, — попросил Иван, — больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается. — Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. — Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. — Так устаю, что иногда кажется: все!.. больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз... — Старичок тонко, блудливо засмеялся. — Захочется иной раз пощипать... травки пощипать, ягодки... черт те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая... царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал...

— Запишите, — велел он. — Кот Тимофей не утерпел.

— Все? — спросила секретарша.

— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех... А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех... Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то... а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть, — сказал один. — А что?

— Принеси веревку, — попросили его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал... Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он. — А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо, — сказали. — Пусть вешается, — может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люстру сними пока, — посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались... Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают... Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное... Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? — Алка — это и есть Несмеяна. — Сколько весишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку... Слезли со стремянки...

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась... Зевнула и полезла на стремянку. Влезла...

— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю... постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:

— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о!

С ней согласились.

— Действительно.

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут-то вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди... А то мы... слишком уж остроумные, интеллектуальные... а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок. — К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все... — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил... Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой.

Эх, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит, шевелит...

— О-о! — застонали молодые и Несмеяна, — не надо! Ну, пожалуйста... Не надо, Ваня.

— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонжé. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.

— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то... Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то... Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла. что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?

— Здрасте! — воскликнул Иван. — Я же говорил...

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать...

— Да печать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса, ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.

— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут... Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так... Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие.

— Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку!. Минуточку!.. — суетился старичок. — Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно, я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом...

— Нет, сначала ответь: что сказал...

— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ва-ня!

— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок.— Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не «то есть», а — почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста... Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну, ну, ну, — испугался старичок,— зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество... Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они... Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка... Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку...

С Мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки...

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же... ха-ха-ха!.. Это же... ха-ха-ха!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением... Ха-ха!.. О-о-о!.. — И тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане... И нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте.

— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.

— Ничего подобного. — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна, — наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков — объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная музыка... И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ

Аллилуя — вот,
Три-четыре — вот,
Шуры-муры.
Шуры-муры.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим.
Покультурим.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора... И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту. — Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут... Не поло-

жено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты харя! — заругался монах. — Ах ты аборт козлиный!.. Ну ладно, ладно... Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!

— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди... А то наживешь беды. Отойди от греха.

Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная...

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел... — сказал он, смеясь. — И назовут же! Уж скорей — Агавинус. Или просто — Вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?

— Выгнали, — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали! — пипочьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себе по колену. И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!... Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну, — стали его успокаивать. — Чего ты? Эка, как тебя ограбастало. Чего ты?

— Эх-а!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял... За один-то поход! Как же мне тяжко!..

— Ну, ну... Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть! Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?

— У вас там портреты висят... в несколько рядов...

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уж все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный, — сказал старик монах. — Вот она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило... И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же... грубые, — сказал им изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка... И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко.

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз. Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил...

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке... И все понял без слов.

— Эти... — сказал он. — Все пляшут?

— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли?

— Прошли.

— Ну, все, — сказал медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу... какие условия в цирке?

— Вроде ничего... Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно... Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да... — вздохнул Иван. — Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая. — Эти-то.

— А что же... смотреть, что ли, будут?

— Это уж... не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!.. — Медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял. — Еще откажут вот... в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие, как тряпки, стали. Бывало, пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает...

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну, — сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович. — Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. — Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же, монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря, — зло сказал Михайло Иваныч. — Легче становится. Хошь, научу?

— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал — она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Михайло Иваныч оглушительно захохотал... И хлопнул Ивана по плечу.

— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?

— Нет. — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай, — сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я, — опять голос, — в сортире!

Видит Иван сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да я это, дочка бабы Яги... усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!... Я тебе этого не прощу, я тебе устрою...

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч... Тьфу, змей! Ладно, ладно... чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад.

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает — на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая. — Дочка бабы Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана. — Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то... это ведь... что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял... — замялся Иван. — Как-то это до меня... не совсем... не того...

— Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца. — Смотри, Ванька!

— Начинается! — поморщился Иван. — Заванькал.

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено. — Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет... — сказал Иван, — зачем? Я в том смысле, что... значит, это... дело-то такое...

— Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А баба Яга-то?..

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли, — решился Иван. — У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку...

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал, — сказал он. — Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся...

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь: на скорую руку... Время-то — к свету.

— Успеешь. Лучше мы яишенку, с дороги-то — посытней. — Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.

— Пусть пока разогревается... Ну-ка поцелуй меня — как ты умеешь? — И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться. — О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом. — Я не умею? Да я тут счас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку держи!.. Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай, — заорал Иван.

— Погоди, сковородка перекалилась, наверно, — сказала дочь бабы Яги. — Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — вовсю раздухарился Иван.— Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни... знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею, — похвасталась дочь бабы Яги. — Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю... и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну, ну... — сказал.

— Счас увидишь. — Дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. — Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег... И дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой, — приговаривала она, — маленький мой... Сынуленька мой. Ну-ка улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а, — поплакал Иван. — Жратеньки хочу-у, жратеньки хочу-у!..

Дочь бабы Яги засмеялась.

— А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш сынуленька... Ну, вот... мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим... все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся «мамочке».

— Во-от. — Дочь бабы Яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы, — прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, гля-

дя на спеленатого Ивана... И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсеньки, — ласково сказал Горыныч. — Маленький... Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись... Ну-ка?

— Мне не смешно, — сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того?.. Да, маленький?

— По-моему, да, — признался Иван.

— Мамочка! —позвал Горыныч. — Иди, сыночек обкакался.

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яишенкой... Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные. — Горыныч улыбался всеми тремя головами. — Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят... Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка... с косточками! — Горыныч перестал улыбаться. — С усами! С какашками! Страсти разыгрались?! — загремел он хором. — Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать... Я заместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь... того... штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. — Чего ты разорался? Делать нечего? Схавает он... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то, — глянь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда...

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк... Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое... тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван. — Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, толь-

ко открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана. — Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы...

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку, — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. — Там будет способней биться. — Он опять посмотрел на Ивана... Укоризненно сморщился. — Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман... — Ивану совестно было глядеть на донца. — Маху дал... Выручи, ради Христа.

— Не горюй, — молвил казак. — Не таким оглоедам кровя пускали, а этому-то... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся? Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч. — Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь бабы Яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь бабы Яги. — Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил, — решила дочь бабы Яги. — Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!.. — льстиво воскликнула она. — Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака, — продолжала женщина. — А ты за кого?

— О-о, — застонал Иван. — Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина. — Давай я распеленаю тебя. — И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. — Нет, подождем пока... Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван. — Проткни ножом... Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем, — трезво молвила женщина. — Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы Яги замерли в ожидании...

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай, — сказал он. — Насилу одолел... А где эта... А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю, — замахала руками дочь бабы Яги. — О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — Атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. — Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!.. — И дочь бабы Яги нескромно захихикала: — Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана.

— Иван...

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько. — И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там... невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый, — продолжала женщина, словно не слыша Ивана, — а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван. — Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать... Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди, — велел атаман, — а я тебя догоню. Мы тут маленько...

— Нет, — твердо сказал Иван. — С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х, — огорчился казак. — Ну ладно. Ладно... Не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля! Ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь... усы на усы! — Атаман громко засмеялся. — Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послухал?

— Да вот... вишь мы какие боевитые... Не послухал.

Иван с атаманом ушли.

А дочка бабы Яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя... И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы.

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза. — А, Ванюша!

— Погоди, девка, не егози, — остановил ее Илья, — дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл — вот она. — И Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак... Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать... Потом спросил всех:

— Ну, так... А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья...

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец. — Я говорю: зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать... Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья. — А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья. — Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. — Эка... какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван. — Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай, — спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. — Чего сидеть?! Сарынь!!.

Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Ша́пка-то! — вскрикнул атаман. — Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья. — Не трогаться! Потом подберем... Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке... Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то... — увидела она. И подняла шапку. — Что за шапка?.. Чудная какая-то. — Она посмотрела на полки с книгами. — Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь... Может быть, тут что-то еще произойдет... Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.

* А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...

Повесть для театра

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал:

— Где я?! Э-эй!.. Есть тут кто-нибудь?! Где я?..

И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, сразу несколько.

— На том свете. Чего орешь-то?

— Где я? Где мы?..

— На том свете. Чего орешь-то?

— Ну чего зря пугать человека! Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он — болтается, чую. Интересно, какой я по счету?

— А где мы? Чего зубоскалите-то? Где я, спрашиваю?!

— Не ори, а то я подумаю сдуру, что ты моя жена, и полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а я ей — раз — поцелуйчик: на, только не вопи.

— Ну и как? — поинтересовался хриплый басок. — Помогает?

— Слабо...

— Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы замолкла.

— Четвертного у меня с утра... Я за четвертной-то сам зареву, не хуже слона... А ты мне лепи четвертные.

— Где мы находимся, я вас спрашиваю?! — опять закричал тот, истеричный.

Тут вспыхнул свет... И видно стало, что это — вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись.

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.

— Чего кричите? — спросил он. — Кто кричал?

— Я, — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и тогда только встал. И подошел к старшине... — У меня к вам вопрос: ска-

* Повесть осталась незавершенной.

жите, пожалуйста, где я нахожусь? — Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья. — Я что-то не могу понять — что это здесь?

— Санаторий «Светлые горы».

— Что за шуточки! — повысил голос интеллигент. — Я вас серьезно спрашиваю.

— Ложись, — показал старшина, — и жди команды. Серьезно он спрашивает... Это тебя счас будут серьезно спрашивать.

Интеллигент струсил.

— Простите... Вы в каком звании, я без очков не вижу? Где-то потерял очки, знаете...

— Генерал-майор.

Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.

— Я вас не понимаю, — сказал он. — Вы всегда с утра острите?

— Чтоб тишина была, — велел старшина. И пошел к двери.

— Товарищ старшина!.. — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарика по кровати. — У вас закурить не будет?

— Не будет, — жестко сказал старшина. И вышел. И закрыл дверь на ключ.

— Опять по пятницам, — запел детина, качая голос; он был, наверно, урка, — пойдут х-свидания-а, и слезы горькие моей... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе... какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?

— Районе!.. — сказал мрачный человек. — Я город-то не знаю.

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.

— Слушай, ты мне действуешь на нервы, — зло сказал урка, — сядь.

— Что значит действую на нервы? Что значит сядь?

— Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя — и мне всякие покойники в башку лезут.

— Но что я мог такого сделать? — все не унимался очкарик. И все ходил и ходил, как маятник. — Почему меня... не домой, а куда-то... черт его знает куда? Что они, озверели?

— Ты понял! — воскликнул урка. — Убил человека и еще ходит удивляется!.. Во, тип-то.

Очкарик остановился... и даже рот у него открылся сам собой.

— Как это? Вы что?..

— Что?

— Человека?..

— Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй ваньку, а перед нами нечего.

— Да-а, милок, — сочувственно протянул маленький сухонький человечек, — вляпают тебе... Но ты напирай, что — неумышленно. А то... это... как бы того... не это...

— Он же выпимши был, — заспорил с сухоньким некто курносый, с женским голосом. — Чего ты намекаешь тут — «того», «не того»?.. Человек был выпимши. Вишь, он даже не помнит, как попал сюда.

— Теперь это не считается, — приподнялся на локте сухонький; видно, любитель был поспорить. — Теперь, что был выпимши, что не был — один черт.

— Наоборот! — воскликнул урка. — Отягчающее меньшое обстоятельство. За что ты его под трамвай-то толкнул?

Очкарик стоял белый, как простыня... И вертел головой то туда, то сюда, где говорили.

— Вы что? — сказал он трагическим голосом, тихо.

— Что?

— Какого человека?

— Это тебе лучше знать. Шли, спорили про какие-то уравнения... — стал рассказывать урка. — Как раз ехал трамвай, этот — чух его под трамвай!.. Того — пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось!.. Седой такой лежал... он головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется...

— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.

— Я видел!.. — повторил по-одесски урка. — А почему я здесь? А потому, что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заартачился... нагрубил милиционеру...

— Тьфу!.. Из-за какого-то уравнения — человека под трамвай! — искренне и глубоко возмутился человек с женским голосом; он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно-нервный. — Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...

— Совсем одичал народ, — негромко, сам себе, промолвил мрачный. — Убить — запросто.

Парень крестьянского облика не принимал участия в

этом страшном разговоре, лежал смотрел в потолок... Вдруг он сел и с ужасом сказал:

— А не убил ли и я кого?

И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно — через силу — засмеялись.

— Ты откуда будешь-то? — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стреляный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.

— Из Окладихи, — сказал парень. — Тракторист.

— Ого! — удивились. — Куда тебя занесло.

— Что, тоже кого-нибудь убил?

— Нет, он, наверно, теще всыпал, — предположил электрик. — Или соседа поджег.

— У меня теща хорошая, — сказал парень.

— Ну, соседа поджег.

Парень мучительно вспоминал:

— Неужели Мишке чего?.. Я, вообще-то, сулился его свинье глаз выбить: повадилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... крестовину у нас такую надевают свинёшкам, на шею, забыл, как называется, — чтоб они в дырки в городьбе не пролезали... Надень, ты, говорю, ей эту штуку, житья же нет от твоей свиньи! Он мне: «Сам надевай». — «Тогда, — говорю, — я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить — и в свой же огород придет».

— Это ты точно рассчитал, — похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста, он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свиньи. — Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород... Так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг — от так от пойдет — пойдет — пойдет — и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она — в твоем огороде.

— Да она-то!.. — воскликнул тракторист. — Пусть как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?

— Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток не дадут.

— Или заставят стеклянный вставить, — хихикнул сухонький.

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и подсел было к урке.

— Слушайте, вы что...

— Не садись ко мне! — закричал урка испуганно. — Я тебя не знаю! Первый раз вижу!..

Очкарик вскочил, как ошпаренный... И беспомощно посмотрел на всех.

Некоторое время все молчали.

— У тя семья-то есть? — спросил его электрик.

— А? Семья? — потерянно переспросил интеллигент. — Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?

На него горестно и серьезно смотрели.

— Ну что, что-о?!. — чуть не заплакал очкарик. — Что смотрите-то?!

— Молодой еще...

— Может, и хорошо, что молодой: не такой старый выйдет.

— Так-то оно так... если, конечно, не... это... не того... — Это разговаривали между собой электрик и сухонький. — Могут ведь и... того... Как посмотрят.

— Да, это уж какое примут решение.

— Из-за какого-то уравнения!..

— Да расстреляют, — открыто ляпнул нервный с женским голосом. — Чего тут гадать-то? Ученого же толкнул...

— А? — машинально спросил очкарик.

— Кого толкнул под трамвай-то? Ученого?

Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.

— Откройте! Откройте, пожалуйста!.. Я хочу спросить!

Дверь скоро открылась... Заглянул старшина.

— Что такое?

— Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? Почему они про какое-то...

Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на ключ, сказал:

— Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать.

— Товарищи, — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к урке в частности, — да вы что? Не мог я человека под трамвай...

— Крепись, — сказал ему мрачный человек.

— Вот хуже нет этих!.. — с некоторой даже брезгливостью сказал урка. — Чего теперь психовать-то? Сделал — сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, падла, действовать. Ляжь — и жди.

— Ученого толкнул или нет? — все хотел понять нервный.

— Ну а как же? Раз об уравнениях шли спорили...

Это Иван вон: ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! — Электрику очень нравился расчет тракториста. — Это же надо так рассчитать. Вот же и Ванька!..

— Вспомнил! — сказал тракторист. И сел. — Никакой свиньи не было: я выехал трактором на асфальт.

— Ну? И что? — не понял электрик.

— Что... Не положено, что. Я вижу: приближаются на коляске... А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал — угол срезать...

— Ничего не понимаю: какой угол?

— Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окладиху идти проселком — это семь километров, а если маленько асфальта прихватить...

— Ну, ну?

— Ну, думаю, все равно они ее счас найдут... Пока они приближались, я ее всю осадил.

— Бутылку?

— Ну.

Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.

— Всю бутылку?

— Всю.

— С какой же скоростью они ехали? — опять живо заинтересовался электрик. — На коляске-то.

— Ты спроси, с какой скоростью он пил? Не верю, — заявил сухонький. — Что, насос, что ли?

— А далеко ты их увидел? — поинтересовался и урка.

— За километр примерно. Оглянулся — догоняют...

— Можно успеть, — авторитетно сказал урка. — Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали. Надо только бутылку вот так вот раскрутить...

Тут в комнату вошла — ее впустил старшина — тетя Нюра с ведром и тряпкой.

— Всем лежать, — приказала тетя Нюра. — Курева не просить, в магазин не провоцировать — не положено.

— Здравствуй, тетя Нюра, — ласково сказал электрик. — Доброе утречко! Чего это ты спозаранку не в настроении?

— О, опять тут? — не очень удивилась тетя Нюра.

— Тут, тут... Как поется: де-евушки, где вы? Тута, тута!..

— И я тут, теть Нюр, — хихикнул сухонький. — Не узнаешь?

Тетя Нюра пригляделась... И узнала.

— Опять жена привела?

Сухонький на это почему-то обиделся.

— Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке? — Сухонький помолчал и сказал не без гордости: — Меня привезли.

Тетя Нюра оглянулась на дверь... И скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.

— По одному — у окошка вон, чтоб запаху не было... В порядке живой очереди.

Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.

— Я за тобой, — застолбил сухонький.

Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету.

— После меня будете, — сказал он.

— Ты чего тут? — возмутилась добрая тетя Нюра. — Ну-ка отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый?.. Иди в цирк гири поднимать, а обижать не смей!

— Спокойно, тетя Нюра, — сказал урка, затягиваясь сигаретой. — Не поднимай волны.

— Отдай, — кратко сказал мрачный человек, дядя решительный и еще более здоровый, чем урка.

Урка значительно посмотрел на мрачного... И отдал сигаретку электрику. И лег.

— Там будешь свои порядки устанавливать, — еще сказал мрачный, — а здесь... пока рано.

Урка опять значительно посмотрел на мрачного. Всем стало как-то не по себе.

— Ну, ладно, — сказал сухонький урке, — так и быть — будешь за ним, а я за тобой.

— Чего это? — уперся мрачный. — Будешь, как занял, я за тобой, за мной... Ты куришь? — повернулся он к нервному, с тонким голосом.

— Нет, — откликнулся тот. — Бросил. У меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки.

— А ты? Кандидат?

— Я? — очнулся очкарик. — Нет.

— А я бы курнул, — с тоской молвил Иван-тракторист.

— Ты за мной, — сказал ему мрачный. — А ты, — мрачный небрежно глянул на урку, — за Иваном.

Урка лежал, закинув руки за голову... Свирепо смотрел в потолок.

— Сколько у тебя, теть Нюр? — спросил электрик.

— По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше... а то мне опять на вид поставют. Жалеешь вас...

Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по летнему времени, были открыты.

— Давай, — сказал он сухонькому. А сам лег опять в кровать.

Теперь сухонький пристроился к окну, и с удовольствием пошел затягиваться, и даже затараторил — от удовольствия же.

— Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной кишки? — поинтересовался он.

— Да, — откликнулся нервный. — Ниша.

— Ниша?

— Ниша.

Сухонький покачал головой... Но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.

— Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях: «Исследование моторной функции желудка». Совсем зарапортовались: мотор в желудке исследуют...

— Ты не болтай, а кури, — посоветовал мрачный. — Легко, думаешь, лежать смотреть на тебя?

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой... Ничего, казалось, не видел и не слышал.

— Подними-ка ноги-то, — попросила его тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать.

Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.

— Тетя Нюра... Анна... как вас по отчеству?

— Анна Никитишна.

— Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?

— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра. — Да кого же это? Когда?

— Вчера вечером. — Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности. — В районе Садовой... Было там какое-нибудь движение?

— Движение там всегда есть...

— Я имею в виду — народ сбегался?

— Да брось ты, чудак! — пожалел его мрачный. — Разыграли тебя. Вон лежит... соловей-разбойник с конди-

терской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули...

Очкарик опустил ноги и встал... И долго, и внимательно — очень долго, очень внимательно — смотрел на урку.

— Что, очкарь? — повеселел тот. — Перетрухал? Хох, гнида!..

— Сейчас подойду и дам пощечину, — сказал очкарик дрожащим от обиды голосом.

Урка изумленно выпучил на него глаза... Смотрел некоторое время. Потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно — очень медленно— пошел к очкарику.

— Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. Умоляю... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?.. Мы же с вами джельтмены, вы сказали слово, надо же держать слово.

— Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо?

— Вот мое лицо, вот... — урка показал пальцем вокруг своего лица. — Вот эта вот окружность — это моя личность, в такую луну нельзя промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил... Разыграл, как дуру, ты же кандидат...

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя «джельтменами».

— Могу еще оскорбить: вонючка ученая. Гнида. Как еще?..

— Достаточно, — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно, — то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, — произнес фразу: — От имени всех очкариков! — И залепил урке отчетливую пощечину.

— Вот как! — удивилась даже тетя Нюра; по простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина. — Ты што это, эй!

— Мх-х, хорошо, — как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел урка. — Еще раз... Умоляю, с другой стороны.

— Нет, этого вполне достаточно, — снисходительно сказал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.

— Ну, гнидушка-а, ну умоляю — еще раз, с другой стороны. Ох, как я счас буду метелить! — Урка зажму-

рился и покачал головой. — Как же я буду метелить, мама родимая!.. Умоляю, кинь еще одну — для напряжения, чтобы я о так от, о так — рразорвал сразу...

Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием, решительно оторвал урку от очкарика.

— Дальше будешь иметь дело со мной, — сказал он урке.

Урка опять значительно и долго — в который уже раз он пускал свой взгляд в дело! — посмотрел на мрачного... Тот спокойно — тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрят так значительно, — выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и — не то простонал, не то взмолился злорадно своему жестокому богу — поклялся:

— Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!..

— Благодарю вас, — сказал очкарик мрачному. — Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом: я когда-то занимался боксом. Но без очков я плохо вижу.

Мрачный промолчал на это. А урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:

— Только бы дожить до светлых дней.

Сухонький между тем докурил свою сигарету; с кровати поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.

— Чего тут не поделили-то? — спросила она серьезного сильного человека, мрачного.

— Да так... с похмелья, — сказал тот.

— Ох, как же я буду метелить! — воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.

— Любопытная вещь, — заговорил очкарик, — до определенного момента все отчетливо помню, дальше — полный провал: ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.

— Не-ет, — авторитетно заговорил электрик, — тут так: пока ты свою меру не взял, ты помнишь, дальше — взял меру, но в душе думаешь: мало, надо еще — все, пошел перебор. — Дальше — рога в землю, и память автоматически отключается.

— Ни-че-го подобного, — тоже авторитетно и взволнованно возразил сухонький. — А как же бывает: домой пришел, а как пришел — не помнишь.

— Ну и что?

— Ну, по-твоему, я же не должен до дому дойти. А я дошел.

— Это значит, тебя развезло уже дома...

— Да где дома, где дома! — больше загорячился сухонький. — Я же утром-то вижу, какой я пришел.

— Все зависит от нервной системы, — встрял в спор нервный. — У кого какая нервная система. Сколько ты можешь выпить? — спросил он электрика.

— Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим...

— До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?

Электрик подумал:

— Бутылку белой и бутылку чернил.

— Смотря каких...

— Три семерки.

— Так. А я с двух стаканов под стол лезу — потому что нервы.

— А вот я... Слушай сюда! Вот я, — затараторил сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь, — несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу.

— Ты?

— Я.

— Карлик с оглоблей, — непонятно сказал мрачный. И сам себе посмеялся.

— Мы, бывает, соберемся на трех, — продолжал сухонький, — по пять рваных на рыло — это получается...

Тут скрежетнул ключ в двери — раз, другой... Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки. И лег. Дверь открылась, вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.

— Однако курили? — остановился старшина.

— Откуда! — воскликнул сухонький. — Где мы возьмем-то?

Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру... Тетя Нюра старательно мыла пол. Домыла последнюю половицу и вышла.

— Поговорите вот... с товарищем, — сказал старшина. — Да не врите: это для статистики надо. — И старшина ушел.

— Товарищи, — подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем, — я не корреспондент, не из газеты... Я — социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите — это никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения... ну, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого — на один-единственный вопрос, который я вам задам, — надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю: ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? — Ближе всех к нему оказался нервный. — Вот вы, например... Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.

— А попрошу документы, — сказал он сухо.

Никто не ждал такого оборота. Притихли.

— Зачем? — спросил социолог.

— Рассказывай ему... А кто вы такой?

— Да я же вам только что объяснил.

— Документы.

— Ну, слушайте... уж поверьте, если бы я не имел права спрашивать вас, наверно, меня бы сюда не пустили.

— Документы.

— Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, есть, какие-то... нет, дома.

В комнате откровенно засмеялись такому наиву...

Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.

— А голову, извиняюсь, вы не того... не это... Она не дома у вас?

— Ну, дела!..

Социолог встал.

— Хорошо, — сказал он, — я попрошу начальника отделения, он объяснит вам... Не обманываю же я вас! Зачем мне это надо?

— Да, да, — согласился нервный, — зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте.

— Да нет, товарищи!.. Да действительно же я ученый! Ну, как вам?.. Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое.

Социолог пошел к двери, постучал... Старшина открыл дверь и выпустил его.

— Понял?! — воскликнул нервный хвастливо. — Какую штуку удумали, а? Во, деятели...

— Да нет, друзья, — сказал очкарик, — это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет.

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей.

— Колонулся мальчик! — Урка радостно засмеялся. — Ученый... Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой. Ну, Петя, ну, подрулил!..

— Да чушь это! — воскликнул очкарик. — Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов...

— И его знаешь? — спросил нервный.

— Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов.

— В вытрезвителях?

— И в вытрезвителях. А где же еще ему расскажут, почему человек напился, какие причины побудили...

— А если их нету, причин-то? — закипятился нервный. — Чего их искать, если их нету?

— Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим...

— Ну, это уж тоже... лишь бы с портфелями бегать — ученых из себя изображать, — недовольно сказал мрачный. — Чего вот мне рассказать? Нечего. Напился, и все.

— Что же, без всякой причины? — поинтересовался очкарик.

— Без всякой причины.

— Но какая-то же должна быть причина...

— Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил.

— И часто вы так?

— Раз в месяц напьюсь обязательно.

— Но почему? Тоска, что ли, какая?

— Никакой тоски, — убежденно сказал мрачный. — Напьюсь, и все.

Очкарик был в затруднении.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я сам не понимаю, — искренне сказал мрачный. — Не хочу понимать.

— Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей, — подсказал сухонький; все как-то обнаружили

вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий скрытый смысл.

— Никаких товарищей... Вообще не люблю войну вспоминать.

— А что вы читали до этого момента? Или смотрели по телевизору?

— До какого момента?

— Как пойти в магазин.

— Ничего не смотрел. Я люблю «В мире животных» смотреть, но она вечером бывает...

— Вы кто по профессии? — стал невольно входить в подробности очкарик.

— Крановщик.

— Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? — опять выскочил с подсказкой сухонький.

— Да ну!.. — мрачному надоело отвечать. — С высоты... Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там высота-то вон какая.

— А что ты думаешь? Ты знаешь... — кинулся было спорить электрик, но открылась дверь — вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.

— Здравствуйте! — громко приветствовал всех начальник.

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.

— Кто тут самый бдительный? — начальник посмотрел на социолога. — Кто требовал документы?

— Да нет, тут не в том дело, кто... Вы просто объясните.

— А чего тут объяснять-то? Спрашивайте, и все. — Начальник сел на стул. — А я посижу пока.

— Лучше бы вы объяснили...

— Вы спрашивайте, спрашивайте.

— Итак, — обратился социолог к нервному, — что же с вами вчера получилось?

— Это ученый разговор? — уточнил нервный.

— Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите...

— Я погожу пока, — сказал нервный.

— То есть? — не понял социолог.

— Я малость подзабыл... Я пока сосредоточусь.

— Что значит «пока сосредоточусь»? — заговорил было начальник. — Что значит...

Но социолог тут же запротестовал.

— Товарищ начальник... Я боюсь, мы так не поговорим.

— Почему? — удивился начальник.

— Не поговорим. Это надо иначе.

— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул урка. — Вон у нас... духарь номер один — ничего не боится. — Урка показал на мрачного.

Мрачный внимательно посмотрел на урку... Опустив голову, подумал... И согласился.

— Я расскажу, если надо. Мне один черт. — Он сел на койке, посмотрел на социолога. — Про вчерашний случай?

— Да именно: как было с вами вчера.

— Жена у меня, — сразу начал мрачный, — как бы это вам сказать... вечно у ней какие-то гости, мужики какие-то подозрительные, бабенки... Они мне надоели.

— А говоришь, причины нету, — сказал нервный.

— Это не причина, это тянется уже лет семь, — возразил мрачный. — И напился я вчера не из-за этого. Но они мне тоже сильно надоели.

— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.

— Кассиршей в магазине. Не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радости мне тут... от этого рассказа — не шибко. Я не знаю, чего они делают: я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу — опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе... Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась: все перерыл — нету. Может, раньше вышла куда, черт ее знает, не нашел. Все перерыл — нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция...

Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением.

— Ничего, ничего, — сказал начальник, — продолжай. Я потом объясню.

— Вы выпивши были, когда пришли? — спросил социолог.

— Крепко.

— Это все?

— Все. Который в трусах был, сильно визжал: я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся...

— Плечи пролезли? — выскочил с вопросом любопытный электрик.

— Куда? — не понял мрачный.

— В мусоропровод-то, лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет.

— Ну все? — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением. — На этом конец?

— Все, — ответил мрачный. — А что еще?

— А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот что. Они вон у меня как раз сидят, эти люди.

Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж назад качнулся на койке.

— Как? — спросил.

— Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляется вот такой верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади... Я представляю, как люди заволновались: выселяют.

— Вот это дал, — молвил электрик. — Как же ты так? Перепутал, что ли?

Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги... потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.

— Не на тот троллейбус сел, — понял он. — Мне надо было на семнадцатый, а я, наверно, на девятку сел... или на четырнадцатый.

— О!.. В другой район приехал. Ничего себе! — Электрик возбужденно хихикнул. — И дом, наверно, похожий попался...

— Похожий, — откликнулся мрачный. — И в квартире все так же... Даже попугай в клетке.

— Это бывает, — сказал начальник. — То и дело такие случаи.

— И что ему теперь будет, товарищ начальник? — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался. — Он же неумышленно...

— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно сказал начальник. И встал. — Что значит «неумышленно»? Ну и что? Вы же знаете последние постановления... Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте, — велел он. И ушел.

— Продолжим, — сказал социолог. И посмотрел на нервного. — Вы?..

— А? — очнулся тот. — Так а чего продолжать-то?.. Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга... У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку... ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете,

эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: «Коля, тормози, я не выдюжу», он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать... И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение!.. Но и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить: такие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо... это... черт знает, какие мимозы. Главное, мы же... это... по-хорошему! Я уж мысленно допрашиваю себя: «Соколов, может, что не так было?» Нет, все проверил, все изучил до последнего слова — все было на высшем уровне.

ИСТОРИЯ НА ПЕРРОНЕ, РАССКАЗАННАЯ СОКОЛОВЫМ

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что — «да, можно». Вошли они в купе, а там как раз четверо — все места заняты.

— Здравствуйте! — сказали Коля и Соколов. — А вы что, тоже все едете?

— Да, едем, — ответили им.

— Как это «едете»! — удивился сибиряк Коля. — А как же я? Что это еще за штучки!

— Тихо, тихо, Коля, — сказал Соколов, — только тихо. Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты!

Четыре пассажира показали свои билеты — все правильно: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут домой.

— Мне эти штучки сильно не нравятся! — воскликнул сибиряк Коля. — А как же я?

— Ну-ка, а ваш билет? — спросили его.

Коля показал свой билет... Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на просвет и сказал:

— Вы едете вчера, уважаемый. — И вернул билет.

Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, — сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума... Кому не так срочно? — спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.

— Тихо, тихо, тихо, — сказал им Соколов. — Вы что, намекаете, что Николай Иваныч пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий...

Эти четверо как все равно взбесились.

— Какой жребий?! — стали они кричать.

— Это нахальство!..

Кто-то даже крикнул:

— Позовите кондуктора!

Тут Коля-сибиряк вконец осердился.

— Закрывай дверь! — закричал он. — Они у меня под лавкой поедут, зайцами!

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром.

— Тихо, тихо, тихо, — опять воззвал он, — не надо шума. Вот вы, — обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет, — вы сунулись к чемодану... Почему?

— Потому что, я смотрю, какие-то бандиты пришли... — заговорил было дотошный.

— Стоп! — осадил его Соколов. — Можете брать свой чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?

Николай Иваныч его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан.

— Где его чемодан? Где твой чемодан?.. Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется едет человек в командировку — целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность... И всех рассмешил. Он закричал громко:

— Грабят!..

Николай Иваныч так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени; тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери... А Николай Иваныч посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно.

— Кому он нужен, ваш чемодан! — сказал он. — И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят.

Тут прибежали кондуктор с милиционером...

— Вот и вся история, — закончил нервный. — Такое

вот... недоразумение. И что вот?.. Что теперь? — нервный сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате; простыня разлеталась на нем в стороны, видны были его чрезвычайно худые ноги. — Что вот теперь?

— А где тот? — спросил электрик. — Сибиряк-то.

— А не знаю! Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то, неправильно сделал: взял выкинул этого гражданина тоже... с чемоданом вместе.

— В окно?

— Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец.

— О-о!.. — сказал сухонький. — Ничего себе!

— Худо дело, — сказал и электрик.

— Хорошо еще, там как раз почту везли, мешки... на этих... на тележках-то...

— На электрокаре.

— Он на них упал, а то бы...

— Только одно может спасти, — сказал сухонький.

— Что? — нервный сбавил свой стремительный шаг. — Что именно?

— Если... — сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки. — Иди сюда, — позвал он нервного. И пошел в угол. — Иди сюда.

— Ну?

— Только одно может спасти, — быстро и негромко заговорил сухонький, — если этот, с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. Понял? Если бы его разоблачили...

— Ну, жди, когда его там разоблачат! — тоже негромко воскликнул нервный. — Пока его...

— Слушай сюда! — зашипел сухонький. — Послушай сперва, потом паникуй. Вы — так: мол, этот человек показался нам подозрительным — разглядывает, мол, все, всем интересуется... Чемодан у него какой-то... Говорил же твой друг: «Что это у тебя там?» У него фотоаппарата не было?

— Что же теперь, показался человек подозрительным — давай его из окна выкидывать?

— Ну, сидите тогда, — обиделся сухонький. И пошел на свое место. — Им хочешь, как лучше, а они... Сидите! Охота сидеть — сидите.

— Так, — сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного. — Ну а вы? — это он к электрику.

— Да у меня тоже... с гостями связано, — стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался,

но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел — снисходительно-грустный, но не безысходный. — Теща пришла и дочь ее с мужем. Мужа этого, свояка-то мово, фамилия — Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... это... не знаю. Я просто измучился с ним. «Назаров, — говорю, — ну что ты, ей-богу? Ну что? Вот же какой ты человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты». Морда, как на витрине, — весь... такой... только распоряжаться: долдонит и долдонит свое. «Да брось ты, — говорю, — Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чего ты?» А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, приходят вчера. А я за кефиром как раз ходил... Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять... Мужики еще посмеялись. «Чего ты? — говорят. — Брось ты, — говорят, — Пахомов, ерунду-то говорить: свояк какой-то. Брось, Пахомов, не надо». Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой...

ИСТОРИЯ В ДОМЕ ПАХОМОВА, РАССКАЗАННАЯ ПАХОМОВЫМ

Приходит электрик к себе домой, а у него гости: теща его с дочерью и Назаров.

— Здравствуйте, — вежливо сказал электрик. — Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?

— Можно поздравить, — сказал Назаров. — Можно поздравить.

— Поздравляю, — сказал электрик.

— Кто же на сухую поздравляет! — удивился Назаров.

И теща тоже удивилась.

— Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?

Электрик ничего не сказал на это.

— Завязал, что ли? — еще раз спросила теща. — А?

— Нет, почему завязал, — молвил электрик после некоторого молчания. — Наоборот, я сейчас кружку пива выпил. А больше нет настроения.

— Что значит «нет настроения»? У людей такое событие... — это вступила жена электрика. — Сядьте и выпейте.

— Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров?

— Ерунда какая-то получается, — возмутился Назаров. — К нему пришли как к человеку, а он — в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?

— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже выпил сегодня кружку пива, хватит.

— Но так же тоже нельзя, — обиделась и жена Назарова, Назариха. — Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?

— Никто вас в смешном виде не выставляет, — спокойно, с достоинством сказал электрик. — Наоборот, будьте как дома... Предлагаю в шахматы.

— Да при чем тут шахматы?! — закричал Назаров. — Я — ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого! У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.

— Я ученых уважаю, — парировал эту бестактную выходку электрик, — но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри... зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров.

— Нахал! — закричал опять Назаров. — А еще родственник! Ну давай хоть шампанского выпьем?

— Нет, — стоял электрик. — Ни шампанского, ни сухого — ничего.

— Пахом, — обратилась к электрику жена его, — людей надо уважать. Ну чего ты? Садитесь за стол... у меня всего полно: водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так, в самом деле.

— Как? — спросил ее электрик.

— Да вот так-то вот: люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?

— Никто меня не обидел. Но только я пить не буду. Ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду.

— Но Пахом...

— Что «Пахом»? Что «Пахом»? Я пятьдесят лет Пахом. Я сказал — нет. Все.

— Но почему? Почему-у?!

— Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы.

— Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! — вышел из себя Назаров. — Чего ты привязался со своими шахматами? Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить?

— Нет.

Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.

— Знаешь, кто ты после этого? — спросил Назаров.

— Не знаю, ну-ка?

— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже надо в пустыню...

— Куда, куда? — спросил электрик. — Куда меня надо?

— В пустыню, к верблюдам...

Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу... Электрик пополз их собирать.

— Извини, Назаров, — сказал он. — Я не хотел... Черт его знает, затемнение какое-то... Может, все же сыграем в шахматы? Или ты сильно обиделся?

— Обиделся? — спросил нервный электрика.

— Обиделся, — вздохнул электрик.

— Вот они все так. Ну до того обидчивые, до того обидчивые — спасу нет!

— Что же ему, спасибо говорить — в лоб засветили?.. — подал голос мрачный.

— Он же извинился.

— Я же извинился.

— Не могу! — взревел вдруг урка. — Не могу!.. Счас буду метелить обоих — за вранье. Да хоть бы врали, пала, как люди, а то врут, как... — Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком. — Христосики! Фишера́! До того культурные, пала, до того вежливые — аж зубы ломит. Шмакодявки... шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей!

— Ты! — крикнул электрик Пахомов. — Ну-ка, закрой сифон! Смелый... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь очутился? Ну-ка?..

— А чего мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без науки скажу: взял часы у одного... Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы в долг.

— Вона — часы в долг! — вконец обозлился электрик. — А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это и есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?

— Это называется — ограбил, а не попросил, — поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки. — Интеллигент нашелся.

— Нет, это называется — по-про-сил, — настаивал урка. — Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я подошел и по-про-сил: «Гражданин, одолжи мне свои бока». Я не сказал: «отдай», я сказал: «о-дол-жи». Поал?

— Как? — спросил вдруг очкарик. — Как?

— Чего «как»?

— Как вы сказали: «бока»?

— Ну, бока — часы... Некоторые называют часы — бока. Еще называют — бочата. Если часы золотые, тогда — рыжие.

Очкарик встал и подошел к социологу.

— У вас какие очки? — спросил он. — Я не в том смысле, рыжие или нет, — с какой диоптрией?

— Минус четыре.

— Разрешите? — попросил очкарик.

Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их... огляделся... Сказал:

— Неплохо.

Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него.

— Да, — сказал он. — Совершенно точно! Встать!

— Ша... — заговорил было урка.

— Встать! — опять скомандовал очкарик довольно властно.

— Ша, — сказал урка, поднимаясь. — В щем дело?

Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся было на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.

— Это был я, — сказал очкарик спокойно. — Я вспомнил это идиотское «бока».

Урка хотел опять вскочить, и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка... остался стоять.

— Та пьяная шляпа — это был я, — пояснил очкарик. — Я вспомнил слово «бока»... и узнал вас. Что вы отняли часы — это я готов понять: с такой рожей дарить, например, часы — нелепо. Но за что вы меня еще и ударили?

— Да що ты ко мне пришился?! — заорал урка истерично. — Какие щасы?!

Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал:

— Гриши... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь.

Урка и очкарик пошли на выход.

— Товарищ... — сказал социолог. — Очки-то.

— О! — спохватился очкарик. — Извините. Спасибо.

— Пожалуйста. Вы еще вернетесь?

Очкарик пожал плечами:

— Не знаю.

Старшина и двое в простынях вышли.

— Надавал он ему, — с восхищением сказал сухонький.

— Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда. — Соколов нервно потер руки. — В челюсть красивый был удар.

— Сейчас вас, наверно, будут вызывать, — заговорил социолог. — Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы? — обратился он к сухонькому.

— Нет, — твердо сказал сухонький. — Я не буду.

— Почему?

— Не буду... Все. — У сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил: — Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже... Делать, что ли, больше нечего?

— Да почему вы так?

— Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога. — Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто полетит?! Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаете... Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На луну надо лететь!

Социолог очень изумился... Он пооглядывался кругом, — полагая, что и все тоже изумились, — все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький враз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.

— Последние силы растратишь тут, — сказал он. — У меня никаких историй не было, — еще сказал он, помолчав. — Я ручной. Причин никаких нету... Тоски тоже. И грусти нет. Я сам по себе... Независимый.

Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал. Потом повернулся к Ивану-трактористу.

— Я тоже, — сразу отрубил Иван.

— Что «тоже»? — не понял социолог.

— У меня тоже тоски нет.

— А при чем здесь тоска?

— Ну, вы же причину ищете?

— Да...

— Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню... Наоборот, хорошо на душе было.

— Нет, они этого не понимают! — вскричал вдруг сухонький и сел в кровати. — Ты им дай тоску какую-то — печаль! А так просто не может человек выпить! Просто — взял и...

Тут вошел старшина и объявил:

— Собирайтесь. Поедем в суд.

— Вот, — сказал сухонький, — а мы тут причину ищем. Счас нам найдут причину... помогут.

СУД

И грянул суд.

Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, одна, похоже, главная, — в центре, две — по бокам, пожилая и молодая.

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было.

Первого вызвали очкарика.

— Григорьев, — позвал старшина.

Подсудимые все пошевелились... Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей.

— Гришаков, — поправил он старшину.

— Чего? — не понял тот.

— Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев.

— Какая разница, — мирно сказал старшина.

— Разница большая, — заметил сухонький. — Одно дело...

— Ждите! — велел старшина. Сухонький замолк.

— Здравствуйте, — сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались. И сказали:

— Садитесь.

— Мы ознакомились с вашим делом, — заговорила главная женщина. — Здесь — показания свидетелей... Заявление заведующего магазином...

— Надо же — дело! — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.

— Вы пока не улыбайтесь, — сказала пожилая женщина. — Не надо пока.

— Да нет, я... но не очень ли это громко — дело? Там дела-то нет.

— Есть дело, — говорила дальше главная женщина. — И вам действительно рано улыбаться.

— А в чем дело-то?

— Мы хотим услышать это от вас.

— Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил... С мясником что-то? В магазине? Мне в милиции сказали сейчас...

— Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича...

— О-о, — простонал очкарик. — Он же обвешивает покупателей! Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей, я ему сказал это...

— Минуточку, минуточку, — прервала его главная женщина, — давайте по порядку: вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь... точнее: фамилия продавца Завалихин, никакой он не лоб.

— Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик...

— Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.

— Хорошо. Что вас интересует?

— Как было дело?

— Я не помню.

— Напомню. Двадцать пятого сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер двадцать восемь, — стала рассказывать с бумажки женщина, — и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу...

Очкарик поежился, качнул головой. Сказал негромко и горько:

— Кошмар.

— Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас пытались остановить...

— Хорошо... дальше не нужно: я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?

— Это вы должны вспомнить, здесь происшествие в магазине...

— Хорошо... черт с ними, с часами. Что я теперь должен делать?

Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.

— Я не понимаю, — сказал он. — Ну, случилось.., что дальше?

— Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине. Почему напились? Часто это у вас?

— Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление, конец.

— Не надо острить, — попросила молодая женщина. — Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом.

— Я не острю, — заволновался очкарик. — И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой — это не имеет никакого значения.

— Это имеет значение.

— Это не имеет никакого значения, — уперся очкарик. — Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?

— Здесь мы спрашиваем, Гришаков, — заметила главная женщина.

— Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец... — Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить «конец», не нашел. — Конец, понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю...

— Он ударил вас?

— Нет, просто выкинул из магазина... И закрыл дверь. Я думал, он будет драться... я приготовился драть-

ся, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно... Это катастрофа.

— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина. — Уточните, пожалуйста.

— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: катастрофа в том, что... Не знаю, — вдруг резко сказал Гришаков. — Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина... Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить.

Публицистика

Шукшину

Жизнь представляется мне бесконечной студенистой массой — темное тело, пронизанное миллиардами кровеносных и [illegible] нервных прожилок... Беспрестанно вздрагивающее, пульсирующее, колыхающееся. Если художник вырвет кусок этой массы и сделает человечка, человечек будет мертв: порвутся все жилки, кровинки, нервные окончания съежатся и увянут. Но если погрузиться всему в эту живую массу — немедленно начнешь с ней вместе вздрагивать, пульсировать, вспучиваться и переворачиваться. И даже таять.

1966 г.

КАК Я ПОНИМАЮ РАССКАЗ

Начну с кино, как ни странно.

Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения. Главное — движения. Мертвым искусство не бывает. А движение не бывает кособоким, кривым, ибо это уже не движение, а развал на ходу.

Кино. Зрелище несколько грубоватое, потому что тут налицо психоз массовости в восприятии. Совсем не одно и то же, когда в зрительном зале сидят десять человек или пятьсот. Но никого это не страшит. Человек идет в кино, и с удовольствием отдается захватывающей силе этого властного искусства, и чувствует себя соучастником какого-то массового «подсматривания», и ему нисколько не мешает сосед, который плачет рядом или смеется. Они даже как-то роднее становятся оттого, что вместе переживают одно и то же.

Но вот неумолимый закон. Как только в фильме начинает выбиваться какая-нибудь его составная часть, как только обнаруживается, что зрелище утратило движение, скособочилось и затопталось на месте, так кино сразу теряет свою магическую силу и начинает раздражать. Раздражает ложная значительность, отсутствие характеров у героев, их грустная беспомощность перед лицом всех сидящих в зале, ложь, выдуманная психология, сочиненные в кабинетах ситуации — все, что не жизнь в ее стремительном, необратимом движении. Такое ощущение возникает, будто при тебе избивают кого-то слабого, а ты связан ремнями. И горько, и больно, и стыдно.

В произведении искусства все на месте, все в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Всякий раз, когда я начинаю смотреть «Чапаева», я как будто начинаю бежать (прямо до галлюцинации). И удивительно хорошо от этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что

бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось.

Теперь о рассказе.

Совсем разные явления — кино и рассказ. А законы, по которым сработаны хорошие фильмы и рассказ, одни.

Мне нравится в хорошем рассказе деловитость, собранность. Ведь что такое, по-моему, рассказ? Шел человек по улице, увидел знакомого и рассказал, например, о том, как только что за углом брякнулась на мостовой старушка, а какой-то ломовой верзила захохотал. А потом тут же устыдился своего дурацкого смеха, подошел, поднял старушку. Да еще оглянулся по улице — не видел ли кто, как он смеялся. Вот и все. «Иду сейчас по улице, — начинает рассказывать человек, — вижу, идет старушка. Поскользнулась — бряк! А какой-то верзила кэ-эк захохочет...» Так, наверно, он будет рассказывать. А если бы он начал так: «Я проснулся сегодня в каком-то подавленном состоянии. Ночью кошмары какие-то снились — звери какие-то...» — «Выпил вчера?» — поинтересуется знакомый рассказчика. Что он должен ответить? «Я ему про старушку, а он мне — про «выпил»! При чем тут я? Старушка за углом упала». Так, что ли? Или как? Хуже всего, когда возникает такой вот вопрос: ты о чем? Почему-то когда иной писатель-рассказчик садится писать про «старушку», он — как пить дать! — расскажет, кем она была до семнадцатого года. А читателю и так ясно — девушкой или молодой женщиной. Или он на двух страницах будет рассказывать, какое в тот день, когда упала старушка, было утро хорошее. А если б он сказал: «Утро было хорошее, теплое. Стояла осень», читатель, наверно, вспомнил бы в своей жизни такое утро — теплое, осеннее. Ведь нельзя, наверно, писать, если не иметь в виду, что читатель сам «досочинит» многое.

В данном случае я говорю не о длиннотах, которые могут быть не длиннотами, а все о том же законе движения. Рассказ тоже должен увлекать читателя, рождать в душе его радостное чувство устремления вослед жизни или с жизнью вместе, как хотите. А ритм жизни нашей (XX века) довольно бодрый. Тут тебя так и спросят: «Ты о чем?» Я не знаю, что такое «телеграфный стиль», знаю, что такое скучный рассказ. А должно быть интересно, вот и все.

Если в зрительном зале сидят пятьсот человек, они сразу обнаружат, что скучно. С рассказом сложнее. Один человек всегда найдет минутку усомниться. «Может, я

Всю жизнь свою, рассматриваю, как бой в три раунда: ~~юность~~ молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл.

—

не понял?» Иногда действительно не понимает. Но часто не понимается, по-моему, что писатель (рассказчик) — это обыкновенный человек, тот самый, который встретил на улице знакомого и захотел рассказать тот или иной случай из жизни. (Это другое дело — какой случай его поразил.) Все просто. Но вот как дело доходит до письменного стола или до пишущей машинки, так все опрокидывается в яму, которая именуется «творческими муками». Ищутся начала, концы, завязки, развязки, подвязки... Можно сделать так, а можно совсем иначе. Но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх. Не фотография, не натурализм, не бытописательство, не упрощенчество, но житейски правдивое явление: старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого еще не было, но придумано. За столом. В «муках творчества». А придумывать рассказ трудно. И, главное, не надо.

Ну а вывод авторский? А отношение? А стиль автора? А никто и не покушается ни на вывод, ни на смысл, ни на стиль. Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю — не выйдет. А выйдет без отношения, так это тоже будет отношение, и этому тоже найдется какое-нибудь определение, какой-нибудь «равнодушный реализм». Ведь известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет одинаково, не говоря уже о писателе, у которого в распоряжении все средства живой жизни. Другое дело, что нет и писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте... Это так. Поэтому нельзя, наверно, чтобы писатель-рассказчик отвлекался от своего житейского опыта в сторону «чисто» профессиональную. В стороне «чисто» профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать. Опять же старушка может взлететь вверх.

Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ. И радовался человек, и волновался, и «искал слово», и просил, чтоб в квартире было тихо, а зачем? Старуха упала, а ему наплевать, он уже забыл, что она упала, тут уж пошли — капéль тенькающая, солнце в мареве, туманы в разводах. И все это само для себя. А все должно бы служить старухе, ее «делу», и вовсе не много этого надо. Она ж упала, бедная, а несла небось яйца в кошелке и расколола, а дома сын яичницу ждет — на работу торопится, скандал будет...

Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман — места мало, времени мало, читают на ходу. Кроме того, дела человеческие за столом не выдумаешь. А уж когда они попадают наконец на стол в качестве материала, тут надо, наверно, укрепиться мужеством и изгонять все, что отвлекало бы внимание читателя от их сущности. Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом вечном обновлении. И, стало быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы «пересадил» ее, не повредив, в наше читательское сознание.

ВОПРОСЫ САМОМУ СЕБЕ

Сперва о том, что болит: фильм «Ваш сын и брат» вызвал споры. Мне в связи с этим задают вопросы. Разные. Не всегда, к сожалению, мы бываем настолько находчивы в ответах, чтобы потом не ныла душа: здесь не так сказал, там сморозил. Сейчас, «пользуясь случаем», я и хочу начать с этого — с ответов.

Мне вовсе не хотелось выходить к зрителю с фильмом, который весь в вопросах, как хорошенькая головка в бигуди. (С головки в конце концов эти железки снимут, и станут — кудри; фильм-кокетка, выпущенный со студии, так и пойдет гулять по экранам.) Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает.

Эти вопросы — это, вообще-то, не вопросы, а мысли, которые возникли при обсуждении фильма и определились то как упрек ему, то как недоумение.

Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревни городу?

Нет. Сколько ни ищу в себе «глухой злобы» к городу, не нахожу. Вызывает злость то, что вызывает ее у любого, самого потомственного горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы, равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях, хулиганье у кинотеатров и т. п. Если есть что-то похожее на неприязнь к городу — ревность: он сманивает из деревни молодежь. Здесь начинается боль и тревога. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь «никого не ищет», ни песен не слышно... Петухи орут, но и то как-то не так, как-то «индивидуально». Не горят за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда? Если в городе появится еще одна хамоватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, метит в какое-нибудь маломальское начальство, если очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдится деревенских родичей, — это явная человеческая потеря.

Если экономист, знаток социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что отток населения из деревни — процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что он — безболезненный, лишенный драматизма. И разве все равно искусству, куда пошагал человек. Да еще таким массовым образом.

Только так и в этом смысле мы касались «проблемы» города и деревни в фильме. И конечно, показывая деревню, старались выявить все в ней прекрасное; если уж ушел, то хоть помни, что оставил!

А нет ли тут желания оставить (остановить) деревенскую жизнь в старых патриархальных формах?

Во-первых: не выйдет, не остановишь. Во-вторых: зачем? Что, плохо, когда есть электричество, телевизоры, мотоциклы, хороший кинотеатр, большая библиотека, школа, больница?.. Дурацкий вопрос. Это и не вопрос — я ищу, как подступиться к одному весьма рискованному рассуждению: грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок — деревня — даже в светлом будущем. Впрочем, если в это понятие — агрогородок — входит электричество, машины, водопровод, техникум и театр в райцентре, телефон, учреждения бытового обслуживания, — пусть будет агрогородок. Но если в это понятие отнести и легкость, положим, с какой горожанин может поменять место работы и жительства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне. Позволительно будет спросить: а куда девать известный идиотизм, оберегая «некую патриархальность»? А никуда. Его не будет. Его нет. Духовная потребность в деревне никогда не была меньше, ниже, чем в городе. Там нет мещанства *. Если молодежь тянется в город, то ведь не оттого, что в деревне есть нечего. Там меньше знают, меньше видели — да. Меньше всего объяснялась там истинная ценность искусства, литературы — да. Но это значит только, что это все надо делать — объяснять, рассказывать, учить. Причем учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали... Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть ученым, конструктором, «большим» человеком и меньше всего готовился стать крестьянином. Да и теперь... И теперь, если он почему-либо остался в деревне,

Когда я погибну,
сделайте мне памятник
(если таковой будет мне
положен по рангу) —
ЗАДУМАЛСЯ (На смерть).

Я воинственно
берегу свою
нежность. А как
больше?

Бернард — хирург,
пересадивший сердце.

Нет —
если уж
надгробие
— то чтоб
было по-
иному —
ВСТАТЬ!

он чувствует себя обойденным. Тут старались в меру сил и кино, и литература, и школа.

Сейчас, наверно, возьмутся за деревню крепко. Но боюсь, что на колхозных и совхозных собраниях опять будут выбирать в президиум одних и тех же людей — передовиков, орденоносцев. Передовики есть передовики, но и им это дело порядком надоело, и они надоели: всегда везде одни и те же, одни и те же. И на доске Почета — они, и в президиуме, и на кустовых совещаниях, и по радио о них говорят, и по телевизору теперь их показывают. Зачем? Неужели есть опасность, что если в президиум выбрать не передовика, а его соседа, не орденоносца, то передовик обидится и станет хуже работать? Какой же он тогда передовик? Где передовик? В чем? Пустяковое вроде бы дело: ну, не меня, опять передовика послали на краевое совещание льноводов, не обо мне по радио рассказали — ерунда. Но если это так из года в год, все время, с меня постепенно снимут всякую ответственность за дела колхозные или совхозные. Есть я и есть — они. Я свое дело знаю, больше мне ничего не надо.

Сельских мальчиков в школе учат вышивать. Смехота. Девочку-школьницу учат доить корову. Что, думаете, она не научится доить, когда это будет ей нужно, когда она станет хозяйкой и у нее будет корова? Свекровь ее за десять минут научит, если она сама собой не научится гораздо раньше. Другое дело, когда ребятишки совершенно серьезно помогают летом на покосе, на прополке хлебов, в уборочную. Да, когда отец с матерью не думают: не его это дело, он у нас учится. Что же, учиться не надо, а давай с тринадцати лет все на пашню? Нет, так все равно не будет. На пашню — значит, на трактор, все равно надо учиться. Что же делать? Учиться. Но не надо, чтобы молодой человек чувствовал себя обойденным, если судьба не сулит ему профессора, героя-летчика, знатного шахтера, знатного полевода — вообще знатного. Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.

Нам хотелось, чтобы фильм наш поняли так. Но фильм фильмом, вопросы вопросами... Вопросы поднимаются и опускаются, а деревня стоит.

Что же все-таки делать, чтобы жизнь в деревне стала живой и полнокровной? Тут, конечно, не фильмами пахнет. Не только фильмами.

Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую

развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки... Мещанин — существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать, беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону «сладкой жизни». Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво. Его обманули. Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в городе. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого «изготовителя», всеми возможными средствами. Изготовителя «ковров-книг», «ковров-фильмов», «ковров-лекций», «ковров-концертов»... А кто бить будет? В городе есть такие люди, в деревне — некому. Мало таких людей в деревне. Книги-уродцы, фильмы-уродцы туда все равно приходят, иногда так же скоро, как и в город, а объяснить, что они уродцы, — некому, и их принимают за красавцев. Как быть? Должны быть в деревне люди, которые понимают искусство. И если в городе бьют тревогу, что родился урод — плохая книга, фильм, — то надо это делать очень громко, чтобы в деревне тоже услышали.

Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города.

О людях, которые приезжают. Это — горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают, грустно, когда, отработав положенные 2—3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним: выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным — квартирами. Если уж решили ломать старинку, надо строить. Нельзя только ломать. Я знаю, не один председатель колхоза, сельсовета, директор совхоза подумает: «Хорошо тебе рассуждать там...» Я могу только ответить:

если бы уход из деревни нужного человека — врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клубного работника — расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом.

Культурный человек в деревне... Господи, как он нужен там! Всегда был нужен, а теперь — особенно. А молодежь уходит. Больше тревоги не за тех, кто ушел, а за тех, кто остался. Кто ушел, тот ушел — не вернешь. Многие, кто хотел уйти, остались. И теперь самая пора громко, на всю страну, заговорить так: если счастье человека есть служение своему народу, если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой Правдой? Не знаю. Эти наши статьи — это «слону дробина». Есть в деревне три могучих авторитета: школа, литература, кино. С них, по-моему, и надо начинать. Школу оставляю в покое — мало смыслю в этом. Хотя не считаю, что какой-нибудь много думающий и понимающий специалист сумел бы убедить меня, что изучение в школе вопросов киноискусства, широкое обсуждение фильмов — дело бесполезное. Он не убедит меня точно так, как не убедит в том, что сельского мальчика необходимо учить в школе вышиванию, а девочку — доить корову.

Кино — это маленький праздник для юной души. Это не надо доказывать — вспомните свои семнадцать лет. А в моем селе, например, этот праздник устраивается... в церкви, которую почему-то называют клубом. Никакой это не клуб — это бывшая церковь, которую построил в начале века какой-то шальной купец. Это все знают. Купец, видно, крепко согрешил — хотел угодить богу. Но купец есть купец — надул и здесь: срубил церковь на скорую руку, тяп-ляп. Она давно пришла в негодность, там сыро, холодно, темно... Ее латают и упорно называют клубом. Праздник сразу подпорчен. Не лежит душа к такому клубу. А село огромное, около трех тысяч человек населения. Киномеханик, Куксин Саша — славный человек, предан кино... Но его задушил план. Если ему объяснить, что вот этот фильм — это прекрасный фильм, он поймет. Он согласен. Но гоняется он за фильмами, которые делают сбор, — план! У него от плана заработок зависит. А ведь он мог бы сам объяснять, рассказывать односельчанам, в чем благородный смысл той или иной картины, но... План! Если он будет «возиться» с каждым «трудным» фильмом, он «прогорит». А у него

Курица над головою.

~~Солдат.~~

(рисунок)

семья. И т. д. и т. п... Интересно получается: с одной стороны, признаем огромное воспитательное значение кино, с другой — вроде как плевать нам, кого воспитывать и как воспитывать.

Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьезный фильм пришел в деревню и нашел там своего зрителя, предположим, Сидорова. Допустим, некий дядя-режиссер сделал в городе хороший фильм. Этого мало. Надо, чтоб другой дядя, умный, распорядился сделать максимальное количество копий. Дальше. Третий дядя посмотрел фильм и сказал: «Сделайте так, чтобы его посмотрели и в деревне тоже». Четвертый написал в газете, что фильм серьезный, хотя там есть кое-какие просчеты, но — серьезный.

Какие-то дяди привезли газету в деревню, чтобы ее прочитал учитель, агроном, врач и наш Сидоров. Учитель, может быть, выписывает газету, Сидоров не выписывает — как-то не принято. Те же дяди должны сказать: «А почему у вас в деревне нет книжного киоска? Ай-яй!» Поставили киоск на углу, у почты. Сидоров шел с работы, купил за две копейки газету. А кто-то из тех же дядей стоял тут же. «Сидоров, — сказал он, — почему бы тебе не подписываться на газету? Ведь удобно!» — «А черт его знает, — признался Сидоров, — както все так, знаете... так как-то все. Забываю». Пришел Сидоров домой, почитал на сон грядущий газетку... А ту статью — про кино — не прочитал. Не все в газете читается.

Прочитал газету учитель... «Эге, — сказал себе учитель, — завтра надо побеседовать с ребятами насчет статьи, обсудить». А через полгодика и фильм этот хороший привезли в деревню. Киномеханик идет в радиоузел и говорит по радио: «Внимание! Товарищи, сегодня в нашем клубе будет демонстрироваться фильм «Гамлет». Это хороший фильм, хоть он про королей». Учитель послушал, усмехнулся... Пошел на радиоузел и сказал: «Давайте я немного расскажу о Шекспире, о его пьесах». Дядя — управляющий радиоузлом подумал и сказал: «Валяйте. Вообще-то не положено, но... надо ведь!» — «В том-то и дело, что надо! — сказал учитель. — Кстати, какой дурак распорядился запретить местное радиовещание?! Три тысячи человек населения, совхоз, школа, библиотека, клуб, больница, сельсовет — сотни вопросов каждодневно самых разнообразных, а радио наше молчит. Давайте напишем тому дяде в город, что нам есть о чем сказать по радио односельчанам, разрешите!»

Послушал Сидоров про Шекспира, взял рубль у жены и пошел к сельмагу «сообразить» с кем-нибудь — опять до него не дошло, что надо посмотреть фильм. А сынишка его пошел и посмотрел. Посмотрел, ничего не понял, пришел домой и говорит: «Гениальный фильм! Ты вот чем пропивать этот рубль-то, сходил бы в кино лучше посмотрел». — «Пошел ты со своим кино, — рассердился Сидоров. — Навыдумывают там, а я смотри».

А жила у них в квартире тетя-аптекарша (дом для работников аптеки еще только строился, у нее не было своей квартиры). Молодая тетя по роду своей работы имела дело с ядами, поэтому очень интересовалась Шекспиром. «Напрасно, — заметила она, — вы не правы». И стала рассказывать про Шекспира. Да так хорошо, понятно! «Допекли вы меня со своим Шекспиром, — сказал Сидоров, — пойду посмотрю». Пошел. Посмотрел и говорит: «Не знаю, как там у королей, а у нас бывает... У нас Гриша Новоскольцев захотел, паразит, бригадиром стать — что он делал!.. А бригадиром молодой парнишка был — школу механизаторов кончил. Так этот преподобный Гриша орет на всех собраниях: «У него, дескать, опыту мало!» А мы шумим: «Вот и хорошо, что мало, — меньше воровать будет».

Трудно, как видите, идет фильм к моему Сидорову.

И все равно не надо смущаться. Капля камень точит. Но упаси бог подлаживаться сейчас под Сидорова. А мы подлаживаемся — в этом все горе. У Сидорова сынишка есть, у сынишки, глядь, свой сынишка, а тот — будущий Курчатов или Суриков. Вот для них и надо делать, писать, играть, петь.

Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхоза теперь почти такая же, что и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, «сработанный еще рабами Рима», диваны — а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? — «ехай в город». Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости и ей хочется угостить их. Как она крутится, бедная! Селедочку бы — селедки доброй нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет — ничего нет. Зло берет. В селе — совхоз, значит, рабочие? Рабочие. А как же так — в магазине ничего нет? Приусадебный участок... Вот куда вольно и невольно обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто — за него. А на кой бы он черт ну-

жен, такой огромный, такой «натуральный», если бы в сельмаге было что купить! Сколько он сил, времени требует, этот огород! Парень на пашне наломается, приедет домой: капусту надо поливать, картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить коровенке...

Ворочает парень и тоскует: в городе отработал человек восемь часов — и вольный казак, а тут как проклятый — ни дня ни ночи. А в селе — молочный совхоз, рядом мясосовхоз, под боком сырзавод, «полеводка» — все есть. А в магазине шаром покати. Э-эх... А ведь парню книгу прочесть хочется, в кино посидеть, вечерняя школа, а то и заочный вуз ждут. Все надо. А время где? Где те дяди, которые бы освободили сельскому парню время для книги, кино, клуба, вечерней школы, заочной учебы? Где те дяди, которые по старинке «куют» для деревни патефоны? Хватит патефонов! Делайте электропроигрыватели. Где те дяди и тети, которые отбирают для села грампластинки? Не надо — все частушки да частушки! Тут и романсы любят, и Райкина, и «голоса писателей», и даже оперетту. Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только «Белая береза», «Алитет уходит в горы», «Записки охотника» и про шпионов? Сейчас, пожалуй, укажут на тиражи вообще. Знаю — большие. Но надо представить себе, какая это зияющая утроба — деревня. Кстати, тираж журнала «Сельская молодежь» смехотворно мал.

В заключение о кино «применительно» к сельскому зрителю: каким оно должно быть? Перефразируя известное выражение: таким же, как в городе, только лучше.

Какой должен быть современный положительный герой? Знают, что он должен быть честный, неглупый, добрый, принципиальный и т. п. Знают больше: у положительного героя могут быть кое-какие и отрицательные стороны, слабости. Вообще о положительном герое знают все — какой он должен быть. И тут, по-моему, кроется ошибка: не надо знать, какой *должен* быть положительный герой, надо знать, какой он *есть* в жизни. Не надо никакого героя предлагать зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье: не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим... Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Если ты посмотрел умный фильм, где радуются,

горюют, любят, страдают, обманываются, обретают себя живые люди, значит, тебе предложили подумать о самом себе. Тебе показали, как живут такие-то и такие-то, а ты задумаешься о себе. Обязательно. В этом сила живого, искреннего реалистического искусства. Если авторы сами радуются хорошему, если ненавидят дурное в людях и если все это — правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает, как тебе только что показали, то не захочешь спрашивать: на кого быть похожим? На себя, только станешь умнее, крепче, отзывчивее. Не мог же ты не радоваться, когда все в зале радовались, что человек в трудную для себя минуту не соврал, не словчил за счет другого... А человек-то, казалось, незаметный, каких много. Радость, какую мы испытываем, глядя, как человек перемог себя и остался человеком, скоро не забудется. Мне кажется, смысл социалистического искусства не в том, чтобы силиться создавать неких идеальных положительных героев (даже в противоположность отрицательным), а находить, обнаруживать положительное — суть качества добрые, человечные — и подавать это как прекрасное в человеке.

И потом мы забываем, что, когда мы очень уж настойчиво начинаем предлагать зрителю образцы для подражания, мы возбуждаем в нем чувство протеста, раздражение. Попробуйте за ребенка сделать какое-нибудь маломальски сложное дело — он заплачет. Он хочет сам. Общение с искусством, когда тому, что мы видим, мы целиком *верим,* приводит нас в редкое и радостное состояние детскости. Ребенок знает, наверно, что отец сделает лучше, но он хочет сам. Зритель тоже хочет сам **. И кто смолоду больше делает и думает *сам,* тот становится потом надежнее, крепче, умнее. Надо только стараться, чтоб мы не врали, не открывали то, что зритель давным-давно знает без нас, не показывали ему — вот это хорошо. Что, он сам не видит, что хорошо, что плохо? Странное дело: зритель приходит к нам из самой гущи жизни, зная о ней гораздо больше нас (в смысле конкретном, реальном), а мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Самое, может быть, дорогое завоевание социалистического реализма — это то, что художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных. Не надо только учить. Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям. Иначе

к чему все? Было время, когда мужика устраивал лубок. Было — и прошло. Он вырос, стал умный, думающий. Бить надо нас по рукам, когда мы вместо правды придумываем для него разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело.

МОНОЛОГ НА ЛЕСТНИЦЕ

Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными *. Разговор был о деревне. А неприятный оттого, что я совсем не умею спорить. А надо было спорить, доказывать свою правоту. Я не сумел, и потом было тяжело.

Поступила записка. Спросили: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» Тут я сбился. Вякнул что-то насчет того, что и им тоже не хотелось бы сейчас от своих атомных котлов — в кузницу. А они и не ратуют за то. Напротив. А у меня получилось, что я для кого-то хотел бы сохранить в деревне «некую патриархальность», а сам со спокойной совестью пристроился жить в столице. На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». Это было совсем глупо.

Между тем мне бы хотелось продолжить тот разговор. Вот каких вопросов касался он:

«Что есть интеллигентный человек?»

«Куда идет деревня?»

«Что погибает в деревне и что стоит жалеть из того, что погибает?»

«Что порождает город и что стоило бы погубить из того, что он порождает?»

«Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он — интеллигент?»

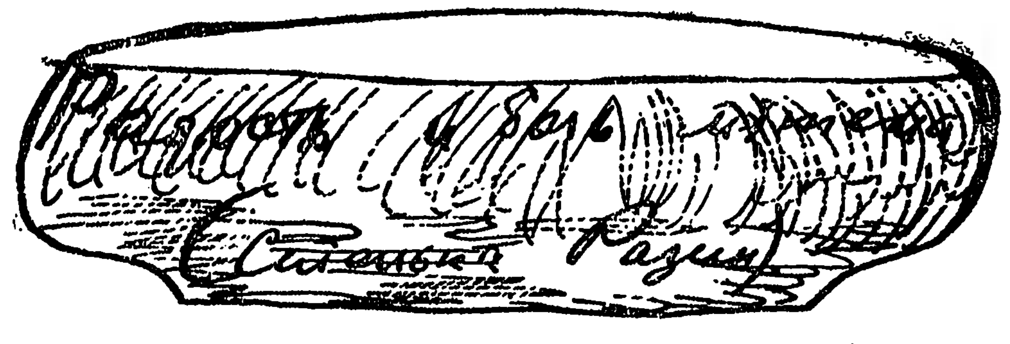
Много было вопросов, но все примерно такого свойства.

Вот как я думаю про все это:

Интеллигентный человек. Это ответственное слово. Это так глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово.

II тетрадь. В. Шукшин.

Стенька Разин.



Литературный сценарий.

19 сентября. 66 г.

Начнем с того, что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — «подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость... И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель.

Конечно же, дело не в шляпе. Но если судить таким судом, очень многим надо «встать и снять шляпу». Отто-

го-то мне и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко кто сдуру напялит на себя личину интеллигентного человека. Это ведь очень противный обман. При всем том уважается интеллигент, его слово, мнение. Искренне уважается. Но, как правило, это человек «залетный» — не свой. И тут тоже то и дело случается обман. Наверно, оттого и живет в народе известная настороженность к «шляпе». Как-то так повелось у нас, что надо еще иметь право надеть эту самую злополучную шляпу. Может быть, тут сказывается та большая совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки... Впрочем, Ванька-то, пожалуй, забывается, и даже имя его — все реже и реже. Все больше Эдуарды, Владики, Рустики. Опять надежда на деревню: может, хоть там не забудут про Ивана. Иван на Руси славные делал дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины изобретал, и города строил. И неплохо.

Двадцатый век, он, конечно, бурный век, стремительный. Ритмы его должны были всколыхнуть спокойную деревню. И всколыхнули. Я видел в Сибири, в деревне, как в клубе наяривают твист. Черт с ним, с твистом, — на здоровье. Но почему возникает при этом сладостное ощущение, что ты таким образом приобщился к современному образу жизни? Не обман ли это? Я ведь не к тому, чтоб запретить. Действительно, охота понять: не обман ли? Не маловато ли? Жалко, когда смолоду обманываются. Жизнь коротка.

Что же такое современность? Машины. Скорости, скорости, скорости. Но даже чтоб рассчитать самую среднюю скорость, надо сидеть и думать. Двадцатый век — это все более сложные задачи, все более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека. Все больше привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая прекрасная часть человека — лоб. (Не к тому опять же, чтоб все взяли и начали наголо бриться, но и прятать-то его зачем же.)

Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше — модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов

(или не захотел разучить), и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?»

Ничего, Ваня! Не робей. Думай.

Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам народ. Только он называет его — хороший человек. Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер.

Господин двадцатый век требует больших знаний. Но умный человек всегда много знал. И потому он и умный, что ему никогда не лень было узнавать все больше и больше.

Человечество ведет с природой вековую изнурительную борьбу, шаг за шагом отвоевывая у нее блага себе, тайны ее и богатства. В этот вечный бой вводятся все новые общества, поколения. Общество распределяет силы: тех, что впереди, на передовых рубежах, поддерживают те, что сзади. На равных. Неразумно бросать всех сразу вперед. Для наглядности грубо предположим, что город наш — впереди, деревня сзади — тыл. Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смалывает человеческие силы особенно заметно. Двадцатый век если и уступает много, то и мстит жестоко. Люди устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце, так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули «здравствуйте!», то ли «караул!». Особенно, конечно, достается городу. Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого резерва в лице деревни?

Я договорился, таким образом, до того, что в деревне надо бы сохранять ту злополучную «некую патриархальность», которая у нас вызывает то снисходительную улыбку, то гневную отповедь. Что я разумею под этой «патриархальностью»? Ничего нового, неожиданного, искусственного. Патриархальность как она есть (и пусть нас не пугает это слово): веками нажитые обычаи, обряды, уважение заветов старины. То есть нельзя, по-моему, насаждать в деревне те достижения города, которые совершенствуют его жизнь, но совершенно чужды деревне. Например:

Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это — зря. С таким же успехом можно прислать туда типовой проект... тюрьмы — так же будет неинтересно, нетворчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна.

Если город способен принять и переварить (он огромный!) «достижение» вроде Дворцов бракосочетаний, то деревня не может вынести «показушную» свадьбу — стыдно, тяжело. Стыдно участникам, стыдно со стороны смотреть. Почему? Не знаю. Ведь и старый обряд свадьбы — это тоже спектакль. А вот поди ж ты!.. Там — ничего, смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе. Законный вопрос мне: где это вы видели сегодня такие «старинные» свадьбы? Сегодня — нигде. К сожалению. А вот лет двенадцать назад я выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца. Это было далеко, в Сибири). По всем правилам (почти по всем) старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово! Мы с женихом — коммунисты, невеста — комсомолка... Немножко с нашей стороны — этакая снисходительность (я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыплют; а так у меня отговорка: «Да я ведь так — нарочно»). Ничего не нарочно, мне все чрезвычайно нравилось. Итак, с нашей стороны — этакое институтское, «из любопытства», со стороны матерей наших, родни — полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было. О церкви почти никто не жалел, что коней не было — малость жаль. Утверждаю: чувство прекрасного, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, — ничто не было утрачено, оттого что жених «выкупа́л» у меня приданое невесты за чарку вина, а когда «сундук с добром» (чемодан с бельем и конспектами) «не пролез» в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы — роднились. Вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни — свадьбу. Не зря, когда хотели сказать: «Я не враг тебе», говорили: «Я ж у тебя на свадьбе гулял».

Клубы в селе... Они, конечно, нужны. Хорошие! Но почему в них, даже в больших и хороших, такая скучная жизнь? Вообще я заметил: где хотят организовать веселье, там его не получается. Не надо все валить на плохих массовиков-затейников. Как во всякой профессии, есть там старательные, есть талантливые. У талантливых тоже не получается. Приходит в голову грустная мысль: а нужна ли она, такая веселая профессия? В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас

не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже — гармонь. Играли в фантики, крутили шестерку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех — обжигало огнем сердце и готов был провалиться сквозь землю. Но — надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу — не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений — она была. Она всегда есть в шестнадцать лет. Было весело — вот что хочется сказать. А кто организовывал? Никто. Лежала на печке бабка и иногда советовала «палачу» с ремнем: «А ты огрей ее хорошенько, раз она капрызничает. Огрей по толстой-то!.. Ишь какая!» И еще подсказывала: «А ишо вот так раньше играли: садитесь-ка все рядком...» И работалось. И ждалось.

К концу войны из церкви выгребли семенной овес, подчистили, сказали: теперь — это клуб. Вечерки стали разгонять. Долго боролись, прятались, но... В общем, пошел — клуб. Стали кино привозить. Редко, правда. Больше — лекции с танцами. Не ходили. Опять рассылали активистов по селу — собирать на лекции и на танцы. А один раз приехала молодежь из ближайшего города помочь в прополке хлебов. После работы организовали в клубе нечто вроде образцово-показательного вечера отдыха. Играл баянист, городские танцевали... Наши деревенские «черти» (так нас тогда называли городские. Еще — «рогалями») стояли вдоль стенки, улыбались и перешептывались. Кончился танец, и наш завклубом вышел на середину зала при всех орденах и в военной форме и строго сказал:

— Было замечено: три пары танцевали «линдой». Предупреждаю!

Что-то убили с вечерками. Не надо меня сейчас ловить на слове: я не за вечерки в 1968 году. Но как придумались когда-то всякого рода вечерки, посиделки, так к 1968 году придумалось бы что-то другое — вместе с лекциями и танцами. Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно.

Хочется еще сказать: всякие пасхи, святки, масленицы — это никакого отношения к богу не имело. Это праздники весны, встречи зимы, прощания с зимой, это — форма выражения радости людской от ближайшего, несколь-

ко зависимого родства с Природой. Более ста лет назад Виссарион Белинский достаточно верно и убедительно сказал, как русский мужик относится к богу: годится так годится, а не годится — тоже не беда.

Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю — упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) — очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои «плюсы» (захотелось вдруг написать — флюсы). От сравнений, от всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» — о России.

Ну, ладно, уходят из деревни, наверно, и впредь будут уходить. Наверно, таков неумолимый закон жизни — двадцатый век! Но надо бы подумать, как встречает город деревенского парня. А идет он оттуда «косяком» — много. Необходимо опять вернуться к разговору об интеллигентном человеке (кстати, чтобы пресечь всякие догадки о моем намерении претенциозного характера, скажу: мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком).

Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» крестьянина: если он поверит, что главное в городе — удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить — если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак, — рубль этот невозможно будет отнять ни за какие «развлечения» города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом — ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: «Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция — мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!»

Это — худший вариант. Есть другой — еще более худший: «выдвинут» его куда-нибудь, честного, простого, а он подумает, что тут самое главное — научиться «выступать». Научится не научится, но попрет тоже по-крестьянски. По себе знаю, как любят иногда «городские»

«побаловаться» в это дело. «Иди выступи. По-своему, как умеешь».

Как же надо встречать городу такого вот доверчивого, простого, здорового «выходца»? Не знаю. Только сразу приходит мысль о вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях. Что по мне, так, возвращаясь к временам, когда я говорил «как умел» — умной книжкой по башке: читай! Слушай умных людей, не болтунов, а — умных. Сумеешь понять, кто умный, «выйдешь в люди», не сумеешь — незачем было ехать семь верст киселя хлебать. Думай! Смотри, слушай — и думай. Тут больше свободного времени, тут библиотеки на каждом шагу, читальные залы, вечерние школы, курсы всякие... «Знай работай да не трусь!» Обрати свое вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека. Интеллигента духа. Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж — и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке». Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает.

Город — это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов... Не могу удержаться, поделюсь одной мыслью, которая поразила меня своей простой правдой: мысль Ю. Тынянова (где-то в его записках). Вот она: только мещанин, обыватель требует, чтобы в художественном произведении

а) порок был обязательно наказан;

б) добродетель восторжествовала;

в) конец был счастливым.

Как верно! В самом деле, ведь это удобно. Это «симметрично» (выражение Тынянова), «красиво», «благородно» — идеал обывателя. Кроме обывателя, этого никто не хочет и не требует. (Дураку все равно.) Это не зло, это хуже. Это смерть от удушья. Как же мы должны быть благодарны им — всей силой души, по-сыновьи, как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительной, опасной кручей шли они. И вся жизнь их — путь в неведомое. И постоянная отчаянная борьба с могучим гадом — мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судь-

бой народа, — Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов... Стоит только забыть их, обыватель тут как тут. О, тогда он наведет порядок! Это будет еще «то» искусство! Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но... в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора — пожать руку. Где он, этот чародей? Где этот душка! Как хорошо-то было! Мы все переволновались, мы уж думали... Но тут встает классик — как тень отца Гамлета, — не дает обывателю пройти к автору. И они начинают бороться. И нелегкая эта борьба. Обыватель жалуется. Автор тоже жалуется. Администрация жалуется. Все жалуются. Негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу! Не дам. Будь человеком.

Город — это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город — это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: «Все люди — братья». В город надо входить, как верующие входят в храм, — верить, а не просить милостыню. Город — это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин.

Ладно, если ты пришел в город и понял все это. Но если ты остался в деревне и не думаешь тайком, что тебя обошла судьба, — это прекрасно. Она не обошла, она придет, ее зарабатывают. Гоняться за ней бессмысленно — она, как красивая птица: отлетит немного, сядет. Побежишь за ней, она опять отлетит и сядет. И близко так! — опять хочется побежать. Она опять отлетит и сядет в двух шагах. Поди сообрази, что она уводит тебя от гнезда.

Труд, труд и раздумья. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий. Везде.

Предположим далее, что разговор у нас пошел так: вопросы — ответы. Вопросы отберу из тех, что мне действительно были заданы в разное время, ответы — тут же, на лестнице, задним числом. Я уже значительно спокойнее — выговорился. Чарующая картина: стою и не смущаюсь, не заикаюсь, смотрю прямо, несколько даже весело. Пожалуйста.

В. Что такое «интеллигент духа»? Как это надо понимать?

О. Сознаю, что выразился несколько красиво и не совсем самостоятельно («аристократы духа» уже были), но как-то не нашлось другого. Вот что это такое: это очень хороший человек. Деревенские старик и мальчик остано-

вились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлебываюсь сразу от восторга: «Вот они, настоящие хорошие люди!» Нет, я поздоровался и — по привычке думать — думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: «Надо здороваться со всеми». А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался — всякое было. Но неистребимо живет в нем вот это бескорыстие — «дай вам бог здоровья!». Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета — человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить все-таки — хорошо. Спасибо. И ты — здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.

В городе, конечно, не наздороваешься с каждым встречным и поперечным. Понимаю.

Не так давно наблюдал сцену.

Метро. Поздно уже, часов двенадцать. Два провинциальных парня (на беду их, слегка под хмельком) интересуются в вагоне, как проехать до станции такой-то. Крупный молодой человек спортивного вида улыбнулся, объясняет:

— Вот остановка — видите? — вы здесь сойдете, сделаете переход, сядете вот тут (показывает по схеме) и поедете во-от так. Значит: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Громко объясняет, чтоб все слышали. Все слушают и улыбаются: парень направляет их по кольцу в обратную сторону (их остановка — следующая). Некоторые даже хихикают. Провинциалы полагают, что смеются над ними оттого, что они — немного выпивши. Оглядываются, тоже улыбаются.

— Далеко, — говорят они.

— За пять копеек-то! — изо всех сил наигрывает красавец парень. — Спасибо скажите! А вы — «далеко».

В вагоне откровенно смеются. Необидно смеются — весело. В конце концов доедут же ведь они до своей станции!

Остановка. Им сходить. Какой-то пожилой человек с седенькой бородкой клинышком (прямо как из банальной пьесы: сельские простаки-парни, городской спортсмен-красавец и старичок-профессор. Но что делать!) поднялся с места, тронул ребят и сказал просто:

— Вам сходить.

Ребята замешкались, не понимают. Им же сказали...

— Сходите! — велел «профессор».

Они сошли.

«Профессор» сел опять на свое место и продолжал читать газету.

Всем стало как-то неловко. И «спортсмену» тоже. Может быть, начни «профессор» упрекать: как вам не стыдно! зачем вы так? — тут бы и облегчение пришло. Заговорили бы: а нечего пить! Нечего вообще до этих пор шляться, если они первый раз в городе! Все учреждения давно закрыты.

Нет, старичок спокойно читал себе газетку. Красивый человек!

А! — противопоставление: в деревне — хорошие, в городе — плохие, за редким исключением. Нет же, нет! И в деревне есть всякие. Есть такие, что не приведи господи! Но и там и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой «одолел» Гегеля, Маркса... Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими, — Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?

В. Так куда же все-таки идет деревня?

О. В светлое будущее. Но... все равно она останется — деревня. И не надо бы насильственно подталкивать ее на путь «малой урбанизации». Понимаю, что характер труда крестьянина будет меняться со временем, совершенствоваться, небольшие промышленные предприятия будут «селиться» ближе к мужику (это хорошо! надо!), но дайте ему возможность и тогда самому срубить себе дом. Дайте ему отвести душу — вырезать узоры на карнизе, расписать ставни, посадить под окном березу, «присобачить» на крышу какую-нибудь такую штуку, что все ахнут! А он будет доволен.

В связи с этим позвольте не поверить в искренность таких вот слов: «Доходы колхозников позволяют им строить дома, которые по красоте и удобству не уступали бы хорошей городской квартире. *Но где взять такие проекты?»* (курсив мой. — *В. Ш.).* Это сказал председатель колхоза имени Кирова Слуцкого района С. Д. Лемещенко на совещании по сельскому строительству в Белоруссии.

Грешным делом, подозреваю, что это — модный «крик души». Не хочется верить вам, тов. Лемещенко. Это смахивает на прием «выступальщиков» — «так давайте же нам!», «помогите же нам!». А если у вас это искренне, тогда уж совсем плохо. Это уж черт знает что. Дайте проект: как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Было бы из чего — построят без городского проекта. И будет удобно, красиво, будет лучше городской квартиры.

Молодой, полный выучки и энергии выпускник краевой культпросветшколы приезжает в «глубинку» и начинает «разворачиваться». Набрал энтузиастов — и пошли чесать. «Под Мордасову». С хором. Под баян. С приплясом. И голос подобрали «похожий» и приплясывать научились — довольны. Похоже! И в районе довольны. А то, глядишь, и в область попадут — на смотр. Но там уж из «похожих» выбирают самых «похожих». Какая досада! Село двести лет стоит, здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село), здесь даже былины знают... Здесь на каждой улице — своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо? Несовременно? Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле, если, будучи молодым человеком, просил Арину Родионовну, старушку, спеть ему, «как синица тихо за морем жила». Значит, все, что нажил народ веками, сберег, — все побоку, даешь Мордасову! (Думаю, нет надобности заявлять тут, что я не имею ничего против этой славной исполнительницы веселых куплетов.)

Спохватились, губим архитектурные памятники старины. Так давайте пожалеем (взвоем, охота сказать), что мы забываем! Мне по фильму «Ваш сын и брат» понадобилось набрать в сибирском селе, где мы снимали, человек десять-пятнадцать, которые бы спели старинную сибирскую песню «Глухой, неведомой тайгою». Мы должны были записать ее на магнитофон и потом в Москве в павильоне дать актерам послушать, чтоб у них получилось «похоже». Ассистенты бегали по всему селу и едва-едва набрали двенадцать человек, которые согласились спеть. (Почему-то им было неудобно.) Спели с грехом пополам. Все оглядывались, улыбались смущенно и просили:

— Может, мы какую-нибудь другую? «Мой костер в тумане светит»?

Дали им выпить немного — раскачались. Но все рав-

но, когда потом пошли домой, запели «Мой костер». Запевал местный счетовод, с дрожью в голосе, «красиво». Оглядывались. Ушли с убеждением, что я человек отсталый, не совсем понятно только, почему мне доверили такое ответственное дело — снимать кино.

Это — к вопросу, что мы забываем, и с какой легкостью! И даже вспоминать стыдимся. Кстати, никак не могу понять, что значит: русская народная песня в обработке... Кто кого «обрабатывает»? Зачем? Или вот еще: современная русская народная песня! Подчеркнуто — народная. Современная. И — «Полюшко колхозное, мил на тракторе, а я на мотоцикле за ним...» Бросьте вы! Обыкновенная плохая стилизация.

В. Что можно было бы пожелать молодым в деревне и в городе?

О. Сейчас идеалом жизни сельской молодежи, даже если судьба не сулит ей (значительной части) в ближайшее время город, все равно — городская жизнь. Тут начинается самое сложное. Сразу легко напрашивается вывод: так давайте активнее насаждать там «городскую жизнь»! Давайте.

— Ну?

— Что? Давайте!

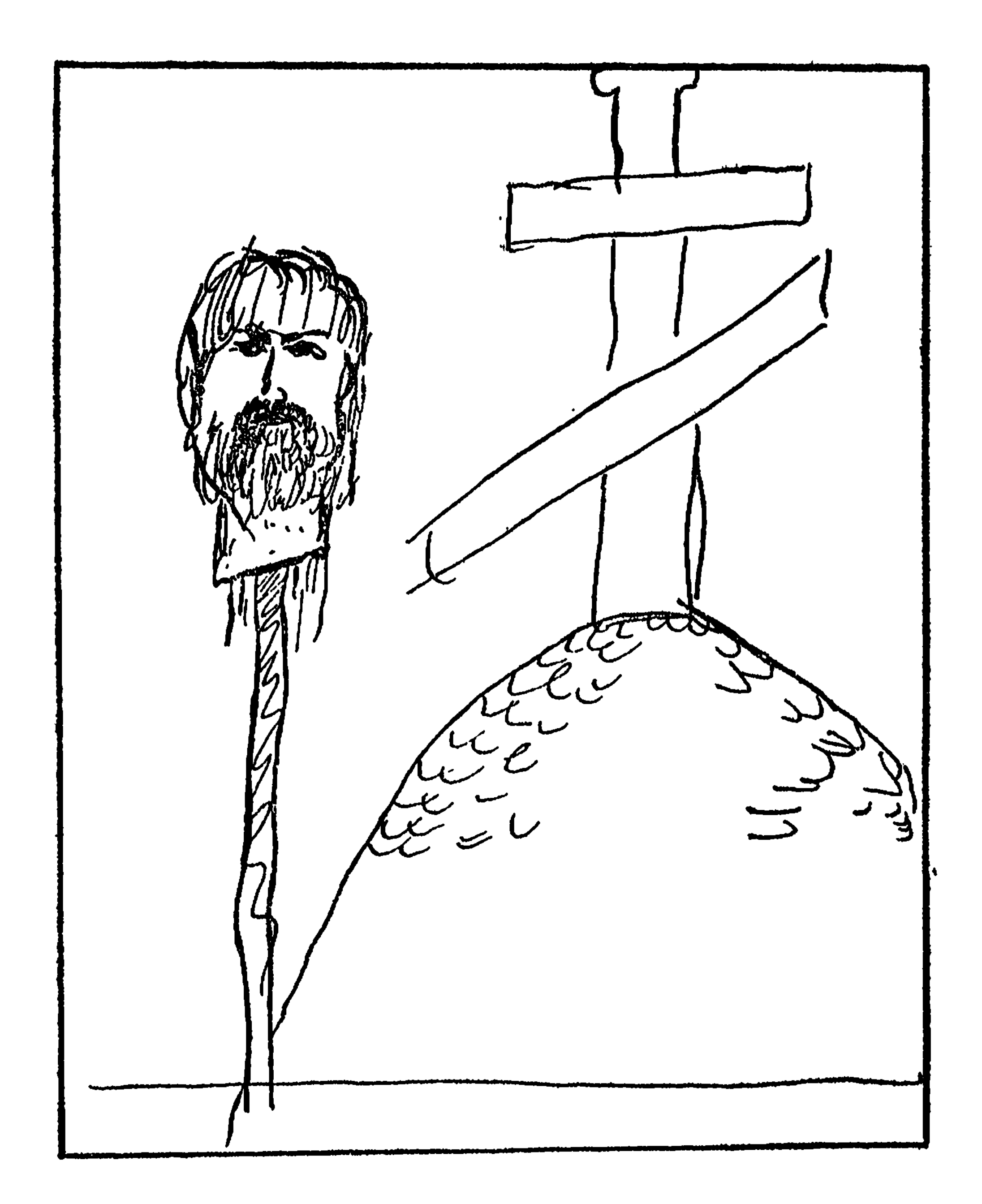
— Так что же вы в открытую дверь ломитесь!

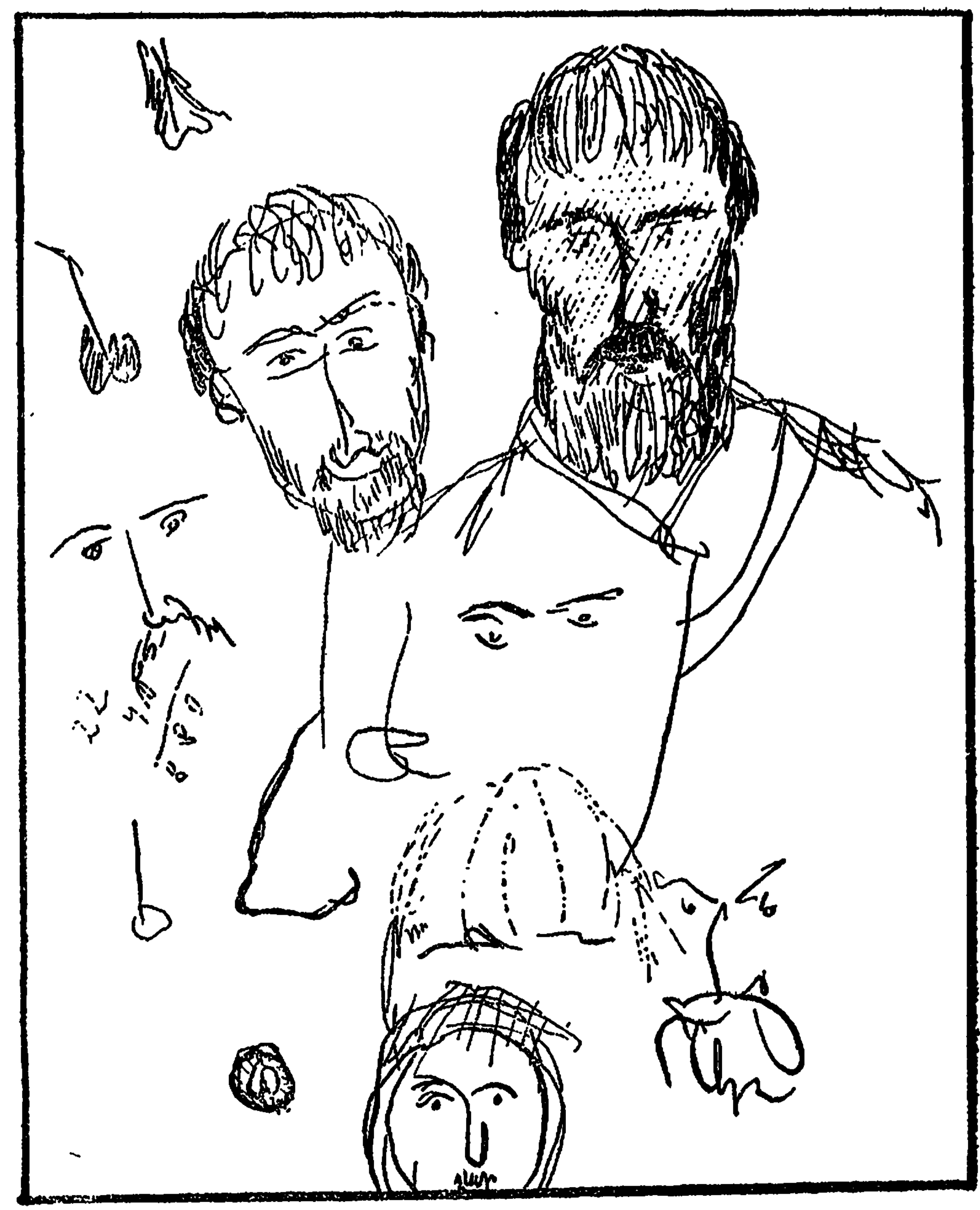
— Почему же, давайте — только не с бухты-барахты, а подумав. Я помню, несколько лет назад к нам в село в парикмахерскую прислали женского парикмахера. Молодая такая, хорошенькая женщина...

— Ходили к ней?

— Ходили. Мужчины — посмотреть на нее. Парикмахерша поскучала недельку и уехала.

Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне. Он знает (приблизительно, конечно, — по кино, по книжкам, по рассказам) про городскую жизнь и стремится, сколько возможно, подражать городским (прическа, одежда, транзистор, словечки разные, попытки несколько упростить отношения с девушкой, вообще — стремление попорхать малость). Он не догадывается, что он смешон. Он все принял за чистую монету. Но если бы от моей головы сейчас пошло сияние — такой бы я вдруг сделался умный, — я бы и тогда не сумел убедить его, что то, к чему он стремится, не есть городская жизнь. Он прочитает и подумает: «Это мы знаем, это — чтоб успокоить нас». Я мог бы долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из





зрительного зала, — их таких в жизни нет. Это — плохое кино. Но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж все славно, легко, красиво у молодых в городе, как показывают, но... Но что-то ведь все-таки есть! Есть, но совсем, совсем другое. Есть труд, все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством.

В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу, разум, нежность — и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот — счастье, по-моему. Можно, конечно, принять восемнадцать лет как дар Жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку чувств, небольших, легко исполнимых желаний — так тоже можно, тоже будет что вспомнить, даже интересно будет... Только жалко. Ведь это единственный раз! Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро — не успеешь оглянуться, уже сорок... Вернуться бы! Но... Хорошо сказано: близок локоть, да не укусишь.

Вернуться нельзя. Можно — не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь (помимо своих прямых обязанностей по долгу работы, службы). Приходит на память одно тоже старомодное слово — «подвижничество». Я знаю, «проходил» в институте, что «хождение в народ» — это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа. Но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям. И бросал все и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты! Интеллигенты самой высокой организации.

У нас сложилась традиция: в страдную пору в хлебородные районы страны выезжает огромная армия студенчества и молодых рабочих. Они делают хорошее дело — помогают убрать хлеб. Что, если бы это были не только «рабочие руки», а еще молодые, умные, образованные люди, с которыми страсть как интересно поговорить, послушать их — в клубе ли, у себя ли дома за чашкой чаю, — что они собираются делать в жизни? Как понимают то или иное явление общественной, политической, культурной жизни в стране? Да мало ли о чем захочется поговорить с умным человеком! Это были бы дорогие гости. Только надо бы поначалу похоронить, забыть и никогда не вспоминать ту казенную манеру — скучно, нудно,

длинно читать лекции, которые до того учены, что уж и не трогают никого. Я легко могу представить себе очень горячий спор, где-нибудь в клубе или в избе-читальне людей сельских и городских на такую примерно тему: «Ну, хорошо: понастроим мы всяческих машин, создадим города-гиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать, сверкать, — а не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона... Или это смешной страх?»

Еще одно обстоятельство: едут в те районы будущие филологи, историки, литераторы, художники, журналисты, адвокаты, то есть те, кому по роду будущей работы надо знать народные обычаи, особенности говоров, психологию сельского человека... Там, беседуя с мужиком, можно много узнать такого, чего не знает профессор в университете.

Образовалась бы вдруг такая своеобразная «целина»: молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность — «сейте разумное, доброе, вечное» в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом.

Сколько хороших, умных книг не прочитано! Сколько открытий человечества неизвестно! Сколько радости «недополучили» люди оттого, что не готовы понимать большое серьезное искусство! И сколько дряни, халтуры, пустозвонства обрушено было в разное время на их головы! Пора бы и разобраться! В деревне такая нужда особенно вопиет. Это понятно. Это отрадно. Грустно только, что в поисках этого «разумного, вечного» надо подниматься и уходить с земли отцов и дедов.

Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.

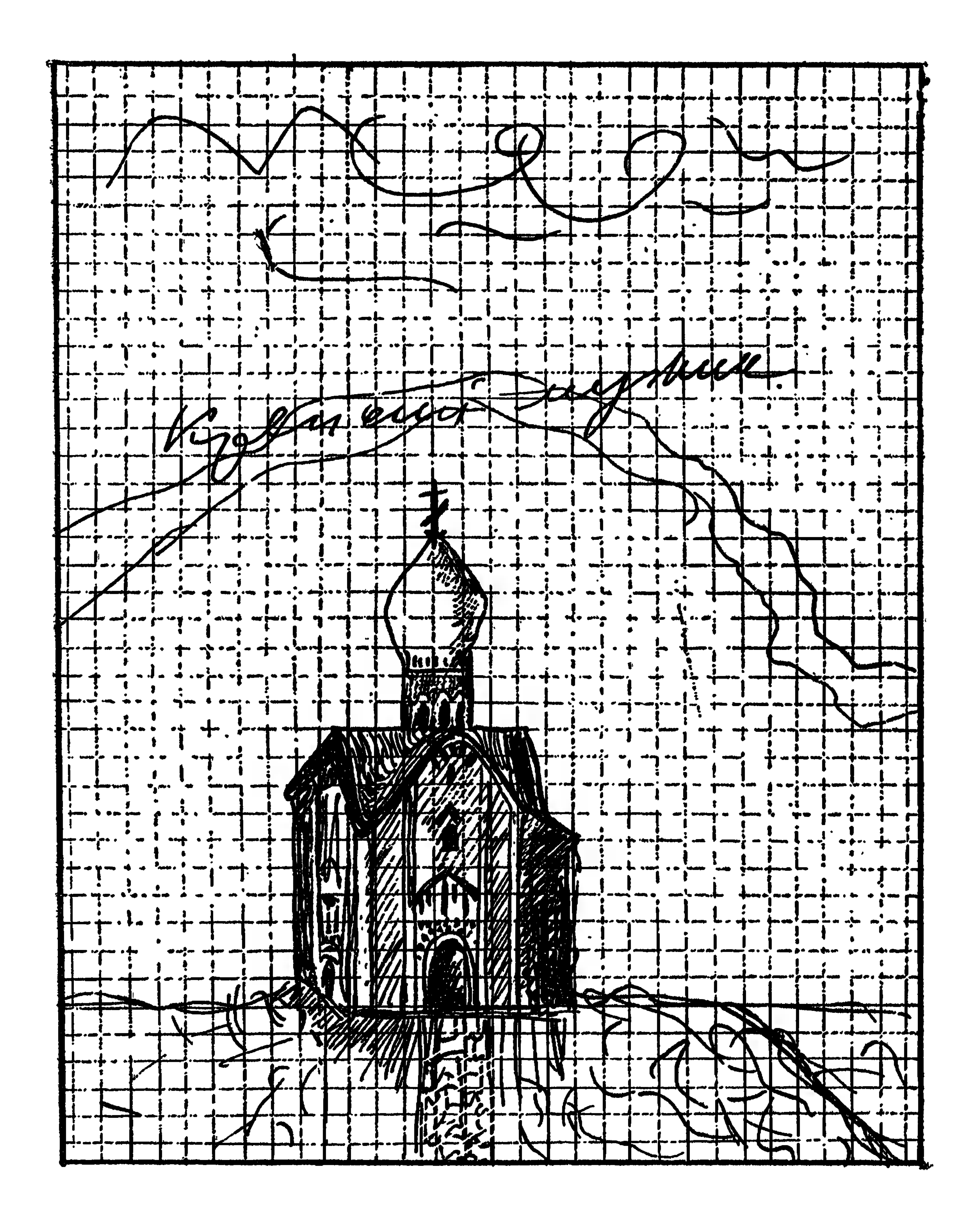
СРЕДСТВА ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА КИНО

За экранизацию литературы чаще ругают, чем хвалят, или снисходительно молчат. И правильно делают. Мало того, иногда надо по рукам бить — за спекуляцию. Но если забыть, что есть в искусстве нечестные люди, а думать: все, кто обратился к классике, желая «переселить» живых строптивых героев прославленных книг на экран, раскрывают те книги с благоговением и знанием дела, — если даже так думать, — поуменьшится ли недоумение, боль, неподдельное раздражение тех, кто, предчувствуя скорую радость, торопился в кинотеатр на встречу со своими давними друзьями? Так, самую малость. Тоска и недоумение всегда будут сопровождать даже самые добросовестные фильмы, как только они осмелятся назваться дорогим именем той или иной повести или романа, того или иного дорогого нам писателя. (Ну и что с того, что есть удачные примеры экранизации? Оттого, что они редки, они лишь подтверждают, что нет правил без исключения.) Дело в том, что *нельзя* сделать фильм во всех отношениях равный произведению литературы, которое остается жить во времени, в душах людей. (Странно, но так: чем хуже литература, тем лучше можно сделать фильм.)

Средства литературы и средства кино не равны. Различны. Средства литературы — неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет — вечно умирая и возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления, больно сталкиваясь в противоречиях — живая Жизнь. Кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу... Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки.

Если я и хватил через край, то в том направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось: сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя «толстый» или «тонкий» журнал станет печатать сценарий наравне с «обычной» прозой. Это делает «Искусство кино» — двенадцать раз в год. (На сто двадцать фильмов!)

Я написал сценарий о Степане Разине, у меня вышло



триста страниц. Казалось бы, ну и что? Это же *литературный* сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, по тому, удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине... Наконец, можно ли по нему поставить фильм? Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно сто пятьдесят — двести страниц. (Для двух серий.) Сколько я ни упрашивал, сколько ни распинался, что и мне, и тем, кто будет со мной работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие

документы, то почему же те сто страниц — «лишние» — будут лежать у меня в столе? Я готов понять требование того же «Искусства кино» — сократить: там журнальная площадь, которую не могу занимать я один. Но ведь тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте. Ничуть не бывало! Один из начальников заявил, что он даже читать не будет «такую махину». С кровью сердца выдрал сто страниц. Зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только две серии? Мне самому больше не надо. А с трибун взываем и жалуемся: почему писатели так неохотно идут работать в кино! А как же они — охотно! — если с ними будут так вот поступать. Это только я, «киношник», позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарий два года, отступать некуда. И теперь болит душа: читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут! Ладно бы, читали и говорили: «Вам не кажется, что здесь затянуто?» Нет, говорят, хорошо, но это же на четыре серии! «Да ведь будет режиссерский сценарий!» — «А вы там будете метраж занижать». При чем тут литература? Литературный сценарий... Надо, видно, писать так: «Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков». Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут! Пишут пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются и жалуются, когда им говорят, что это плохо.

Вернемся, однако, к начатому разговору: о природе литературы и кино. Хоть я и жалуюсь тут, что в кино-инстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время — топором — висело законное требование: все должно быть «видно». Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем «казаки оживлены». Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове.

Нет, должна быть — кинолитература, пусть — сценарий, но без претензии на «тоже литературу». А уж это дело сценаристов — стать вровень с писателями, но по-своему. И дело, наверно, творческой общественности — писательской и кинематографической — помочь молодому

кровному брату — сценарию — выйти на свою собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом.

Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии *. Почти уж написал. Прочитал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы «камера выхватывала лица», но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто — «свое на уме», а и найдется какой — не так поймет, скажет: вот тут изменить бы... И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают — может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? «Искусство кино»... Не беспределен и этот журнал; и потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее. Обидно! Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю, этой необычной комедией, но... каждый ходит уже с замыслом, или работает с писателем, или сам пишет. Иначе и быть не может.

Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература.

Есть у Льва Толстого рассказ «Три смерти». Гениальный рассказ с огромной мыслью: все вечно живет и вечно умирает — по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки — поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что, приблизительно, будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко: пять разных режиссеров сделают пять разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот, неплохой, — сколько нас хватит, — и будем оглядываться.

В карете едет смертельно больная госпожа, с ней — горничная Матрена, «глянцевито-румяная и полная». Сзади, в коляске, едут: муж больной и доктор. Лакей, ямщики.

Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она «была бы со-

всем здорова». И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж (а ему убедительно советует доктор) робко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки теперь, в сырость и бездорожье, но тщетно. Больная раздражается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас, для нее сейчас не существуют ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что они все здоровы («Дети здоровы, а я нет». «А сам ест» — о муже), что ямщики переговариваются «сильными, веселыми голосами». Сам Толстой так говорит о ней в письме к А. А. Толстой от 1 мая 1858 года: «Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью».

Толстой не боится посадить рядом с худой и бледной госпожой полнотелую, крепкую Матрешу, чья «высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем». Мы бы теперь убоялись лобовой контрастности, а он эту контрастность, где можно, всячески подчеркивает. И у него это — так и надо.

Полная Матрена старается как можно меньше занимать места в карете, жмется в угол, подобрала ноги... Чутьем здорового, но забитого и темного существа она угадывает, что злит своим здоровьем больную барыню. Та действительно злится. «Опять, — сказала она, первически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся». Толстой исподволь, но откровенно восстанавливает нас против барыни. Мы на экране должны делать то же самое. Я говорил о резкой контрастности фигур, сидящих в карете, которая не мешает Толстому. Посмотрим, как они будут выглядеть у нас. Вот — появились. Минута-две, и зритель понял: одна больна, другая здорова, одна — госпожа, другая — ее служанка. Барыня нервничает — понятно: больна. Все. Надо, чтобы они что-то делали, а то скучно. Ну, еще раз покажем на общем плане карету. Тут опять странность: казалось бы, кинематографу и карты в руки, чтобы создать иллюзию движения. Столько возможностей, столько всяких способов! У писателя — слово, предложение: «Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги». Как ни изворачивайся — залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогатого — такого движения, какое всем нутром ощущается

в рассказе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись. В рассказе — это плавное, сильное (четверка), *здоровое* движение — сытые, ямские кони, молодой ямщик, лакей, которому от избытка душевного спокойствия сладко дремлется на козлах. И здесь опять невольная мысль: все это мощное, скорое движение возникло от того, что в центре его — властное, умирающее, обозленное существо. Все, стало быть, можно подчинить себе, заставить сильные силы «шибко» нести себя, а... и т. д. Точное, горькое столкновение сил жизни.

Итак:

И в рассказе и в фильме мы пока что только внешне познакомились с действующими лицами. Они еще молчат — едут. Но в фильме мы так и остались с этим. Ну, бледно загримированная актриса еще раз поморщится, вздохнет. Ну, еще раз отодвинется в угол полная Матрена... (Кстати, полная молодая актриса на экране — это совсем не то, что полная, «глянцевито-румяная» Матрена в рассказе. Для Толстого она — здоровый, естественный человек, который не виноват в том, что он здоров. Полная актриса на экране — это опасно.) Будем считать, что полная Матрена на экране не вызовет у нас усмешки, не исказит глубокой, горькой, гневной философии Толстого.

Толстой рисует портреты обеих женщин (страница в книге!) и в то же самое время налаживает мощный подводный ток своей мысли. Когда барыней произносится первое слово «Опять!» — мы уже вовлечены в движение толстовской мысли, мы уже участники его могучего мыслительного процесса. На экране это «Опять!» будет маленьким дополнением к страдальческим гримасам актрисы.

Попробуем, однако, вырваться из этого тесного круга — снимем, например, деталь, которую предлагает Толстой: легкое прикосновение салопа Матреши к ноге больной, чем вызвала ее раздражение. В кино деталь — сильно действующее средство. Она обязательно обращает на себя внимание и требует разгадки: «Зачем?» Мы отвлекаемся на деталь и потом, возвращаясь к общему действию, лучше понимаем происходящее. Сняли деталь: салоп чуть-чуть прислонился к ноге барыни и вызвал у той новый всплеск раздражения — «Опять!». Деталь могла быть иной: чуть коснулась нога ноги, локоть Матрены мог

слегка потревожить барыню и т. п. Толстой говорит — «конец салопа». Это неспроста. Запомним пока.

Что дала деталь в кино, что прибавила она к тому, что мы уже знаем, поняли? Мало, почти ничего: такая мелочь, пустяк, а раздражает больную. Ей плохо. Все.

Толстой нас привел к другому. Во-первых, почему не рука, не нога Матреши коснулась барыни? Потому, что ноги и руки свои она усиленно «сторожит» — не приведи господи как-нибудь потревожить больную, которую она, видно, жалеет. А край салопа просмотрела. Неглупая барыня могла бы это понять, только она не хочет это понимать, она словно ждала этого прикосновения, чтобы сказать с раздражением: «Опять!» И мы не заметили, как, когда, каким образом писатель сместил к этому времени наше сочувствие с больной, смертельно больной, все еще, пожалуй, красивой женщины на здоровую, простодушную девку (что вроде бы даже и нехорошо)? Но это так; мы, в свою очередь, тоже уже накопили немножко раздражения: «При чем же тут горничная-то, если тебе плохо? Ты ведь умна, образованна, нежна, это твое первое страшное — горе, ты еще в смерть-то не веришь — и уж так тихо, с таким отчаянием ненавидеть все живое и здоровое!» Это то, что требуется Толстому.

А в кино пока что продолжают покачиваться в карете две женщины: одна больна, другая здорова: салоп здоровой нечаянно коснулся больной, она с раздражением сказала: «Опять!» Здоровая отодвинулась в угол. Больная посмотрела на нее долгим взглядом. Здоровая покраснела.

У Толстого в этом «опять» и в том, как «прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной», сквозит, пожалуй, искреннее недоумение: почему она, дворянка, красивая, которой открыты все радости и красоты мира, которую окружает блестящее общество, — почему она больна, а вот это примитивное существо полно сил и здоровья? Ей, барыне, более необходимо здоровье, чем ее горничной. Барыне это представляется чудовищной несправедливостью, и она свой упрек прямехонько возносит туда, кверху: «Боже мой! За что же?» «Лжет!» — гневно заявляет Толстой. Здесь вековая, освященная попами и законами привычка думать: я, крепостник, барин, — человек, ты, слуга мой и мой раб, — скотина. За что же — тебе здоровье, мне — чахотка! «Лжет», — говорит Толстой, лжет перед людьми и богом, «и лжет перед смертью».

Ну и так далее. Еще там короткий разговор барыни с горничной, разговор мужа больной, доктора и самой больной на станции, и там Толстой тонко, немилосердно, чуть не злорадно добивает барыньку, вконец парализует наше к ней сострадание, совсем раздевает ее, притворную, злую, трусливую, с холодным камешком в больной груди.

Потом две другие смерти — старого ямщика Федора и дерева.

Ну и пора уж меня и спросить: а как же все-таки сделать так, чтобы рассказ этот, глыбистый, мудрый, обрел свою жизнь на экране? И я тоже, пользуясь правом спросить, спрашиваю: а зачем? (Кроме того, я не знаю, как рассказ этот можно перенести на экран, не умертвив его.) А главное, зачем? Ведь будет хуже, если не совсем пошло. Лучше или так же — не будет. Будет только вред: в наше суетливое время, которое мы совсем напрасно всегда называем бурным, да еще с нашим-то — погонять иногда лодыря, проторчать лучше у телевизора, — мы посмотрим картину и не прочитаем рассказ.

Вот другой рассказ, другого великого писателя, Достоевского: «Мужик Марей». Рассказ, где колыхнулось такое глубокое страдание, где вместилось столько русского горя, молчаливого, мучительного... Где как бы вскипела волна горького гнева и, прокатившись из края в край изболевшей души мученика, омыв ее, нежданно высветила душу эту такой неподдельной любовью к своему страдальцу-народу. Сколько ни погружайся в целительные родниковые струи, бьющие откуда-то со дна — этого, небольшого по объему, произведения, дна не достать — это история народа и его будущее. Вечен великий народ, и он вечно будет выводить вперед своих мыслителей, страдальцев, заступников, творцов. Нет, такое кинематографу пока не по плечу. И в этом нет беды.

Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет *свою* литературу, не будет на плоский экран проецировать объемные фигуры, созданные магией *слова*. Этот волшебник многому уже научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее и порой перестают быть фокусами, становятся чудом. Он молод и силен, всегда на виду — он еще развернется, заставит уважать себя.

Теперь что касается моего небольшого опыта в кино и в литературе. Грешно мне было бы жаловаться на «киношную» судьбу, но — тут надо преодолеть большую не-

ловкость — рассказы, по которым я поставил оба фильма, — лучше. Никто, кроме меня, так не думает. (Разве только критик Генрих Митин.) **

Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино (когда — для кино). Может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться. Но тогда она потребует: режиссер, исполнители должны быть — художники. И так и надо.

Что мы делаем, когда экранизируем произведение литературы? Мы мучаемся, добиваясь, чтоб было, как у писателя, потому что у писателя — хорошо. У писателя хорошо, потому что он *так* думает и чувствует. Даже если мы найдем средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату, о которой говорилось выше, мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны *так же* думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя «под автора». Бывает — похоже. Но пропадет почти все, пропадет живое тепло первозданности, потому что для нас — это не наше, не свое. Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя создания единого сплава из индивидуальностей автора, режиссера, актера, оператора, художника, композитора, звукооператора, гримера и т. п. Писатели не позволяют разрушать свое произведение, известно, как они отстаивают каждое свое слово. Они правы. Для чего же убирать или менять то, что нашлось так нелегко и точно встало на свое место. Сценарист может приветствовать разрушение своего сочинения, может быть тут же, где сочинение разрушают, и помогать разрушению и созданию. Писатель пишет за столом, вычеркивает, переписывает, меняет... Фильм «пишется» на съемочной площадке, почему же там мастера не могут ничего «вычеркнуть», переделать? Они обязаны это делать. Никакой гений не работал одним махом.

Была у меня, к примеру, в фильме «Ваш сын и брат» сцена встречи старшего сына Игната с отцом и матерью. Весьма житейская сцена, всем знакомая... Актеры великолепные, знали, что им делать. Я полагался на них, но... между нами лежал сценарий. Где-то я допускал, чтобы они привносили в сцену свой собственный опыт, радовал-

ся удачно найденному слову, правдивой интонации, жесту, взгляду, «не запрограммированным» в моей режиссерской голове, но не больше. Надо было перешагнуть через сценарий (сценарий мой) и «сотворить» со всеми вместе сцену встречи. (С Толстым или Достоевским этого нельзя делать. Со мной можно.) Пять человек перед камерой да за камерой пятнадцать... А кто-то помнит случай из своей жизни, когда он «тоже приехал...». Кому-то припомнилась шутка, вроде: «А то письмо, в котором вы просили денег, я не получил...» В конце концов, все мы когда-нибудь уезжали из дома и приезжали домой. Разогреть бы товарищей моих, попросить: «А как ты сам приезжал? Покажи». Но все положились на сценарий и на меня. А меня влекла губительная сила инерции — так все работают. Вышла «проходная» сцена. А могла быть живая и увлекательная, не свяжи нас сценарий по рукам и ногам. Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано или что он прочитал, как сыграет то, что помнит, знает, сам прожил. А мы же не о марсианах делаем фильмы.

Сценарий должен быть руководством к действию, а сценарист — сорежиссером. Я, может быть, говорю о так называемом авторском фильме, но кинематограф, по-моему, туда именно и идет. Это совсем не значит, что режиссер должен всегда сам себе писать сценарий. Но люди, которые собрались вместе, чтобы сделать фильм, должны действовать как заговорщики: неважно, кто будет стрелять в принца, отвечают все одинаково, и всем одинаково необходимо убить принца.

То есть, таким образом, сценарист не тогда сценарист (хороший или плохой), когда написал в своем сочинении: «Конец», а когда будет написано: «Конец фильма». До этого он может написать сочинение, равное по объему роману, может, сочинение это будет в размер повести и меньше — не суть дела, все должно однажды послужить будущему фильму и умереть как самостоятельная художественная ценность.

Кинематограф требует действия, поступков людей, разговора. В известном смысле это облегчает задачу писателя-сценариста: авторские размышления, подсказка, оценка — очень и очень рискованное дело. Но это же делает его задачу и крайне нелегкой: поступки людей должны быть вызваны к жизни авторским размышлением, и размышления эти должны стать достоянием людей. Ка-

кие же мысли и чувства должны терзать сценариста, чтобы, оставаясь «безмолвным» (авторско-дикторский текст — это почти всегда плохо, кроме необходимого комментария к документу), заставить людей мыслить и волноваться своими мыслями и чувствами! Авторская подсказка в теперешнем кино, вложенная в уста действующих лиц, — это тоже никуда не годится. Не проходит. Раздражает. Предполагает в зрителе дурака, на что он справедливо обижается.

Но кто должен сделать так, чтобы праздник состоялся? К кому идет автор-сценарист и выкладывает свои сокровенные думы? К режиссеру. Вот тот, кто двинет на зрителя всю громаду (если таковая имеется: а не имеется — не берись) мыслей и чувствований, кто «растолмачит» зрителю сценарный «бред». Без него нет сценариста, писателя, автора, без него нет произведения искусства. Он — художник. Вот во что надо, наконец, искренне поверить. Мы верим не до конца. Если режиссер говорит, что вот по такому-то сценарию я хочу сделать фильм, ему не верят, что он сделает хороший фильм. Сценарий читают еще 20—30 человек, потом не раз, не два — много раз собираются и решают: сделает режиссер по этому сценарию хороший фильм или не сделает? Одни говорят — сделает, другие говорят — не сделает. И он сидит слушает. То есть разговор-то вроде бы идет о сценарии — можно ли по нему сделать хороший фильм? Но ведь сидит живой человек, который сказал: «Я сделаю». А ему как бы говорят: «А вы помолчите пока, не ваше дело. Вот мы решим, тогда уж принимайтесь делать. Или ищите другой сценарий».

Если уж случилось так, что два человека решают судьбу фильма — сценарист и режиссер, — то и верить им надо. Не спрашивают же композитора, живописца, писателя, скульптора, когда они еще не начинали работать: а вы сможете сделать? Режиссера спрашивают. Да если бы спрашивали? Сомневаются и советуют, советуют и снова сомневаются. Так работать трудно. Самого крепкого человека можно пошатнуть.

Наверно, придет время, когда эти двое — сценарист и режиссер — станут действительно хозяевами своей судьбы и работы. Для этого один должен перестать «повторять» литературу, другого должны перестать бесконечно опекать и контролировать. Придет такое время. Туда идем.

НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА

Человек трезвый, разумный, конечно же, — везде, всегда — до конца понимает свое время, знает правду, и если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помолчать, он молчит. Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду. Хоть намеком, хоть полусловом — иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую. Гений обрушит всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские. Обстоятельства, может быть, убьют его, но он сделает свое дело. Человек просто талантливый — этот совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным.

Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном... Человек этот — дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего — много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках), и не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет.

Был у нас в селе (в тридцатые годы) Вася-дурачок... Не боялся ни буранов, ни морозов (зимой мог босиком ходить), не боялся строгого председателя сельсовета, не боялся даже нас, мальчишек, но... до поры.

Он был парень сильный, перекидывал большие камни на тот берег довольно широкой протоки Катуни. Это было и наше любимое занятие. Мы с Васей подолгу и мирно состязались — кто бросит дальше. Вася, редкой доброты человек, забывал обиды, какие мы ему причиняли, чувствовал себя славно, нисколько не гордился, что бросает камни дальше нас... Но в нас уже назревало злое желание — «завести» Васю. Кто-нибудь доставал из кармана лист бумаги, карандаш и вдруг кричал:

— Вася, в коммуну запишу!

Тут — все мы — дай бог ноги! Вася хватал что ни попадя и гнался за нами. Камни свистели над нашими головами. Могла быть беда. А когда Вася оставался один, он садился на дорогу и горько плакал.

Вот: лет уж семь-восемь, как была коллективизация

(а попытки с коммунами еще раньше), крестьянство претерпело невиданные изменения в своей жизни: была вера, был фанатизм, был страх, были радость и горе, и все это на доверчивую душу мужика, и душа эта содрогнулась. И это болезненное движение народной души, этот крутой излом в его судьбе печальным образом навсегда остался жить в одном человеке.

Позже была — война. Может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки. Больше — дурочки. Была Поля-дурочка. (Народ ласково называет их — Поля, Вася, Ваня...) Поля была раньше учительницей, проводила единственного сына на войну, и его вскоре у б и л о. (Я вот почему подчеркнул это слово: ведь правильно — убили, а говорят — убило. Войну народ воспринимает как напасть, бедствие. «Громом убило...») Поля свихнулась от горя, ходила в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием... Плохо ей было, куда уж хуже! А она брала откуда-то непонятную жизнерадостную силу, трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: «Вставай, страна огромная!»

Теперь предстоит самое странное и рискованное: провести параллель. Герой нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда этого времени. Давайте представим, что это не так. Идет война, народ напрягает все силы в борьбе с врагом, шлет и шлет лучших своих сынов на поля сражений, и они гибнут тысячами, поливая родную землю молодой кровью. Страшное время! И вот появляется повесть, роман, где героем выведен этакий философствующий нытик, эгоист с душой паралитика, которая вся мучительно — *только хочет жить!* Это будет — про дезертира, предателя. И пусть он будет вовсе не глуп, иногда и не трус, и любить может, и не обжирается, как свинья, когда кругом голод... Пусть — тем хуже: значит, он не только дезертир, а — еще сволочь. В другое время — что ж, что человек безнадежно смотрит на окружающую его действительность, что он любит и хочет жить — что? Ну, есть такие. Были. Будут. То есть в другое время он-то как раз и может быть героем, и вовсе не сволочью. Я не говорю о герое положительном, а о таком, который — состоянием души, характером, взглядами — выражает то, чем живет с ним вместе его народ, о типичном, что ли.

Когда герой не выдуман, он не может быть только

безнравственным или только нравственным. А вот когда он выдуман в угоду кому-то, тут он, герой, — явление что ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу... В делах материальных, так сказать, за это судят. В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный.

Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения «интимные» — письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т. п. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда — шумно), бывает, ссорится с женой... В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой. Есть «культурная» тетя у меня в деревне, та все возмущается: «Одна ругань! Писатель...» Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть тети в штанах: «грубый мужик». А невдомек им: если бы мои «мужики» не были бы грубыми, они не были бы нежными.

В общем, требуют нравственного героя. В меру моих сил я и пекусь об этом. Но только для меня нравственность — не совсем герой. И герой, конечно, но — живой, из нравственного искусства, а не глянцевитый манекен, гладкий и мертвый, от которого хочется отдернуть руку. Чем больше такой манекен «похож» на живого человека (есть большие мастера этого дела), тем неприятнее. Попробуйте долго смотреть ему (манекену) в глаза, станет не по себе.

Философия, которая — вот уж скоро сорок лет — норма моей жизни, есть философия мужественная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе в счастье — прямо смотреть в глаза правде? Разве не смогу я отличить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда хотят зачем-то обмануть? Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как

художник я не могу обманывать свой народ — показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я ее буду скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно, то в конце концов я и партию свою подведу. Там, где люди ее должны были бы задуматься, сосредоточить силы и устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойны. Это не по-хозяйски. Я б хотел помогать партии. Хотел бы показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю Родину — я не отчаиваюсь. Напротив. Но когда мне возвращают рассказ — не из-за его низкого художественного качества (это дают понять), по другим причинам — неловко, стыдно.

Нравственность есть Правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду.

Положим, общество живет в лихое безвременье. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум — сильные мира идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть — грубая ладонь жандарма сразу закроет его. (Хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет.) И вот в такое тяжкое для народа и его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый. На правду он махнул рукой — она противна ему, восстать сил нет. Что, он безнравственен? Печорин безнравственен? Обломов безнравственен? Нет, тут что-то другое. Они — правдивы. Они так же правдивы и небезнравственны, как правдивы и небезнравственны мятежники-декабристы. «Плохая им досталась доля» — и тем и другим. Царизм убил их. Но не для того же сегодня не перестают читать «Героя нашего времени» и «Обломова», чтобы учиться нравственности у Печорина или у Ильи Обломова. Они отразили свое время, а мы, их соотечественники, хотим знать то время. Лермонтов и Гончаров сделали свое дело: они рассказали Правду. Теперь мы ее познаем. Познавали ее и тогда. И появлялись другие герои — способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы. И только так оно движется вперед.

Теперь хочется порассуждать об «устоявшемся» положительном герое наших рассказов, повестей и романов. И особенно фильмов.

Сразу признаюсь: я не уважаю его, «устоявшегося». Такой он положительный, совершенный, нравственный,

трезвый, целеустремленный, что тоска берет: никогда таким не стать! Он — этакий непоседа, ему бы все у костров, да по тропинкам, по тропинкам!.. (Кстати, на какие деньги он так много путешествует?) И что делать тем, кто не может так много «бродить» с гитарой, кто не может «рвануть» в тайгу (а семью куда?), у кого только месяц в году — отпуск, а родных много в разных местах и хочется к ним поехать... Завидовать? И завидовали бы, если бы верили. Я подозреваю, никто в таких героев не верит. Зачем же они кочуют из книги в книгу, из фильма в фильм? Зачем они все совершенствуются и совершенствуются — чтобы служить примером? Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта «агитация положительным героем» бьет нас другим концом! И как еще бьет!

Как-то я смотрел передачу по телевидению. Выступала женщина-адвокат. Она задалась целью проследить причину одного преступления. Преступление никакое нельзя назвать — «небольшое», но здесь оно было не такое уж большое: ребята-рабочие подрались в пьяном виде, и одному досталось основательно. (Повторяю, я не собираюсь их оправдывать, этих молодых рабочих.) Словом, их судили и приговорили к разным срокам заключения. Почему, спросила себя женщина-адвокат, это случилось? И стала исследовать. Пошла по людям, которые общались с этими ребятами (соседи, рабочие, мастера тех предприятий, где они работали). И всем задавала примерно такие вопросы:

1. Вы знали их. Чем они жили? О чем мечтали?

2. Вот вы играли с ними в домино. А какие у них были цели в жизни? Чего они хотели добиться в жизни?

3. Вы стояли рядом у станка. Вы знали, как они проводят свободное время? Ходят ли в театр, в кино? Сколько раз в месяц, если ходят?

И т. п.

Ребята не частили, как выяснилось, в театры и кино, мало читали — адвоката это не удивило: она ждала этого. Но вот что ее неприятно удивило: и соседи, и товарищи по работе, и друзья осужденных *тоже* не слишком увлекаются искусством, тоже зачастую предпочитают лучше «забить козла», чем сходить в театр или в кино. Не хотят также посидеть над интересной книгой. И она горько поведала об этом с экрана телевизора. Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что — вот пришел чело-

век в этот мир... Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО, И МЫСЛЬ тоже несет прекрасное. Мысль — это тоже нечто законченное. Вот вас и поразило: как люди так легко, сами отказывают себе в прекрасном!

Вы выступили хорошо.

Но что, если бы кто-нибудь из опрашиваемых вами ответил так:

«Мне скучно ходить в кино. Там много вранья, неправды. А мне отец с детства привил ремнем привычку: чтоб я сам никогда не врал и чтоб презирал людей, которые врут».

И ведь он доказал бы Вам (сославшись на какой-нибудь недавно виденный им фильм), что там — врут.

Стало быть, я так думаю, призывать людей к общению с *искусством* надо всегда, но всегда надо и художников призывать тоже к *искусству*. А то можно оказаться в смешном положении: будешь ратовать, прослывешь культурным человеком, а какой-нибудь «некультурный» возьмет и посадит тебя в калошу.

Мы часто употребляем выражения: «плохой фильм», «слабый роман», «середняк», «пошлость» и т. п. Почему мы не говорим: «лживый фильм», «лживый роман»? Ведь именно это качество — ложь — и составляет в них пошлость, слабость. Еще пишут иногда в рецензиях: «Авторы руководствовались добрыми намерениями, но...» Господи, да кто же, приступая к работе над книгой, фильмом, руководствуется дурными намерениями? Какими, например? Заработать деньги? Но всякий художник хочет заработать деньги — они нужны ему. Но, скажут, есть халтурщики, которым... Речь идет о художниках. Тогда еще один вопрос: способен ли художник врать? Способен. Итак, речь идет о художниках. И весь призыв к ним: смелее насчет правды! Единственно дурное намерение — сознательно не сказать правду.

А что, собственно, смелее-то? Смелее постигать глубину жизни, не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. Тогда это будет — борьба за человека. А как же иначе? Иначе будет, как парадный подъезд главного здания Мосфильма: огромный, прекрасный и... И вечно закрыт. Люди проходят на работу через проходную и весь день потом снуют из здания в здание, пользуясь обычными дверьми. Жизнь студии — внутри ее, рабочая. Па-

радный подъезд не нужен. Даже из архитектурных соображений — он тяжелый, зимой завален снегом и только на грусть наводит: запустение какое-то.

В своем фильме «Живет такой парень» я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на своем «газике» доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души — большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило. Ну и делай — не кричи об этом, рассказывай... Нет, мне надо было подмахнуть парню «геройский поступок» — он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработала проклятая, въедливая привычка: много видел подобных «поступков» у других авторов и сам «поступил» так же. Тут-то у меня и не вышло разговора с тем парнем, таким же шофером, может быть, как мой герой, с которым — ах как хотелось! — надо бы поговорить. Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора — чтобы «уличные» мальчишки не подействовали на него дурно: дитятко исключительное, на «фортепьянах» учится. Мое дитятко тоже оказалось исключительным: я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию.

Чувствую необходимость оговорить одно обстоятельство. А как быть со всякого рода шкурниками, бюрократами, если они изображены предельно правдиво? Они что, нравственные герои? Нет. Но они не безнравственны. Они есть та правда, которую заключает в себе всякое время (и время социализма тоже), которую *необходимо* знать. Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла — это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства. И это есть высшая Нравственность, которая есть Правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герои. Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые — и «положительные», и «отрицательные» (если их можно назвать образами). Говорить в таком случае о нравственности или безнравственности нелепо. Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу: это — «бяка», а это — «мня-

мня» — лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с наклонностью к паразитическому образу жизни. Потому что нет ничего легче: не самому решить трудную задачу, а списать с доски. Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут — в «соответствии»... В заключение хочу показать на примере, как создается фальшивое произведение, способное запутать и обмануть. Пример мой собственный. Буду, сколько меня хватит, правдивым. Пример, мне кажется, тем более поучительный, что я все-таки врать и придумывать не хотел.

Задумал такой сценарий:

Живет на свете (в далекой глухой деревне) обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает: парнишкой еще уснул на прицепе, свалился, и ему шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался: тракторист случайно оглянулся, дал тормоз. А то бы перепахало всего.

Так вот, не повезло парню. Наверно, от этого он стал пронзительно-дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться. Таких — всерьез — не любят, но охотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки.

Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты (надо думать, немалый) — восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил радовался: задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его. Но еще держал себя, не начинал писать: рано. По некоторому опыту знаю: надо довести себя до почти мучительного нетерпения.

Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя. И вот:

С Минькой живет безнадежно больной отец. (Фильм должен был с того начаться: отец умирает.)

Есть у Миньки старший брат Илья, который живет в большом городе, работает прорабом на стройке. Илье за тридцать, среднего роста, широк и надежен в плечах, красив, взгляд прямой, твердый, несколько угрюмый, тяжелый. Нравится женщинам. Знает это. Немногословен.

Есть по соседству с Минькой девушка Валя, красивая, крупная, очень неглупая. Минька болезненно любит ее, она — нет, конечно. Ей весело с Минькой, но ей тоже охота любить — пора. Некого. Парни разъехались из де-

~~Страсть вечная.~~

Танцующий Шива.

Смелые Сильные идут дальше.

ревни, а те, что остались, переженились или совсем не пара красавице Вале.

Есть еще сосед Миньки, огромный Мыкола, великий молчун и недалекий человек. Он тоже влюблен в Валю.

Эту незатейливую ситуацию (даже не треугольник) Минька объясняет брату так:

— Вот она — рядом живет, Валька-то... Помнишь? Ковалевых...

— Так она же маленькая!

— Маленькая! С Петра Первого. Пожалуйста: хоть завтра женился бы — не хочет! Что я сделаю?! Люблю ее, как это... как не знаю. Прямо задушил бы, гадину! — Минька выпил еще рюмку. Спялся с места, заходил по избе, горестно размахивая руками. Походил он на птицу, подбитую камнем. — Но я ее допеку, душа с меня вон. Нет таких крепостей...

— Красивая девка?

— На 37 сантиметров выше меня. Вот здесь — во! — полна пазуха. Глаза горят, как у ведьмы, вся гладкая... Как увижу ее, так полдня хвораю.

— Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

— Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна поселилась, на 48 сантиметров выше меня. Мыкола, твою мать-то...

— Чей?

— Ты их не знаешь, приезжие. Он тоже втюрился в нее. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит тоже и сидит. Веришь-нет, может три часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит, и все — специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

— Поговорил бы с ним.

— Говорил! Он только мычит. Говорю, если ты — бугай, жердь, оглобля, так в этом и все? Тут вот что требуется! — Минька постучал себя по лбу. — Говорю, я — талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня не получается. Куда ты лезешь?

— А она что?

— Валька-то? Она не переваривает его. Но он упрямый, бугай. Я опасаюсь, что он сидит-сидит, да чего-нибудь все же высидит. Парней-то в деревне я да еще несколько.

— Трепешься много, Минька, поэтому к тебе серьезно не относятся. Надо хитрей быть.

— А что мне остается делать?! Что я — витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. Было бы образование, я бы в артисты пошел, а так... ну чем больше?

И т. д.

Пришло время, сел писать. Писалось легко, податливо. Навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то! А что? — не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех, вину, беду. Приехал, перечитал — так и есть: все написанное (а это почти весь сценарий) — ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах.

Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае очень уж удобная схема. Добрый, обойденный судьбой парень, его не любят, смеются над ним, стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден — «за боль годов». Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не перевариваю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов — столько приезжают, что скулы воротит. И еще: я тут же выдал свое сочувствие герою — зачем сразу заставать его в таком горе, от которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь: не утруждая себя особенно, заявил: «Смотрите, какой он непосредственный, милый и как изболела его душа!» Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты: и он тоже поверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее — очерствел в городе, прихватил жестокой житейской «мудрости» современного городского мещанства («надо хитрей быть», «не откры-

вай всем свою душу — ткнут пальцем, сделают больно»). Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет (современно!). Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья (поначалу, по крайней мере) понравился Вале, а ему — умная, гордая, красивая Валя. И он (с первых страниц сценария известно: у него в городе не сложилась семья), научившийся брать у жизни крепкой рукой сколько подвернется, отнимет у нищих суму, лишит их всякой надежды на будущее — увезет Валю в город. Точно. На большее меня не хватило. Я только малость пококетничал: Илья отнимает у Миньки и у Мыколы Валю-надежду не без некоторой внутренней борьбы — ему все-таки жалко их. Но...

Название сценария было под стать содержанию: «Враг мой» — усеченное: «Брат мой — враг мой»!

Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощетинился: «А что, так не бывает в жизни?» Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самовыявления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь — так легче остаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня, почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное. Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите: родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жестокости, скрытности — это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший... Ну, и так далее. Всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы... Но, господи! Как он выдуман! Как все удобно там, как все хорошо и ясно. И вот: Минька — нравственный, Илья — безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок *. (Это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлость и недомыслие не отравили его еще в утробе.) Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях. Какую знаю, живя с ними в одно время.

Ну и, как говорится, дай мне бог здоровья!

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...

Вот моя деревня...

Вот мой дом родной...

А вот моя мать... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 1942 г. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы.

Вот тетки мои:

Авдотья Сергеевна. Вдова. Вырастила двоих детей.

Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей.

Вера Сергеевна. Вдова. Один сын.

Вдовы образца 1941—1945 гг.

Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил — не могут.

Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.

Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них... И о них, и о других людях моей деревни.

Сюжета в этой картине нет. Впрочем, если мысль авторская может быть сюжетом, а так бывает, то пусть будет сюжет. Мысль же такова: это прекрасные люди. Красивые люди. Добрые люди. Трудолюбивые. И я всей силой души, по-сыновьи, хочу им счастья. Это моя родина, как же мне не хотеть этого.

Можно спросить их самих: какой фильм они хотели бы увидеть о себе? Они расскажут.

И дед Николай Петрович расскажет... Как себя помню, так помню, что он уже был стариком. А мне уже — сорок. А он все старик. Сколько же он — все старик и старик! В семьдесят три года еще женился. Когда шел сговор, старуха-невеста сказала так: «Я так скажу, Маня (сватала их моя мать, Мария Сергеевна): если приставать по ночам не будет, пойду». Пошла — старик дал слово.

Вот — живут.

Интересно, какой бы он фильм попросил сделать... Он расскажет.

И вот она расскажет, сверстница моя...

И председатель сельсовета...

И вот он, тракторист... Помню его еще пацаном сопливым.

И вот он...

И он... Этих я уже не знаю.

Я же бы начал наш фильм так:

Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище... И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку:

Буркин Илья...

Козлов Иван...

Куксины: Степан и Павел...

Пономарев Константин...

Пономаревы, Емельяновичи:

Иван, Степан, Михаил, Василий...

Поповы...

Длинный это список. Скорбный.

Слушают... Молча плачут.

Тут есть еще матери, отцы.

Но мало уже. Больше — жены, сестры, братья, дети. Тут — все село.

Тихо слушают... И тот, кто читает, невольно делает это тоже негромко. Иногда, когда он зачитывает какую-нибудь фамилию, а потом пойдут: Егор, Кузьма, Иван, Василий, Михаил — братья, то он приостанавливается на некоторое время, стискивает зубы, моргает... И слышно, как плачут, шепотом как-то плачут.

А с кладбища, с горы, далеко-далеко видно окрест. С юга — горы, а к северу пошла степь. Необозримая. Земля этих людей, имена которых зачитывают. Они родились здесь, пахали эту землю.

Зиновьев Михаил...

Куликов Борис...

Думновы: Николай и Федор...

Докучаев Егор...

Сибиряки. В основном из села полегли под Москвой и на Курской дуге.

Есть даже один из двадцати восьми панфиловцев — Трофимов. Он остался жив. Он стоит здесь же... Его мож-

но потом попросить рассказать о великой битве за столицу.

Он расскажет...

Но вернулось мало. Эти, в списке...

Они теперь на фотографиях в домах. На видном месте.

И если слышать негромкий голос, зачитывающий имена погибших...

И разглядывать их фотографии — каждого названного в списке, то удивит и резанет по сердцу мысль: «Какие они были молодые».

Можно, когда потом разойдутся с кладбища, попросить двух-трех вдов рассказать, как они провожали своих мужей на войну. Какие сны вещие видели...

Мать моя рассказывает, что приснился ей такой сон:

— Приехали мы в Бийск-то, а их там — видимо-невидимо. И вот их всех выкликают. А мы, бабы-то, собрались все в садочке, у вокзала-та, да и ждем. Ждем-пождем, а их все выкликают. Я и задремала, на скамеечке-то сидя. До этого-то не спали две ночи, ну, меня и сморило. И только я задремала, вижу такой сон. Вот захотела же я пить. Да так захотела — душа горит. И вижу будто чайник какой-то. А где это я? — я что-то не соображу. Ну, взяла я тот чайник да как хлебну с жадностью-то — там кипяток. И проснулась. Проснулась, рассказываю этот сон бабам, а те говорят: «Э-е, матушка, худо: обожгесся». Вот и обожглась: в 42-м похоронную получила.

Еще другие сны видели — причудливые, вещие... И очень уж какие-то... точные, что ли, пророческие. То ли правда такие снились, то ли потом додумалось и поверилось.

Говорят, правда.

Но это они потом расскажут.

А сейчас звучит все тот же голос на кладбище, называет фамилии...

И учительница тоже называет фамилии — те же, только имена другие.

Это — в школе.

Это уже внуки тех...

Встают — мальчишки, девчонки. Какие-то все рослые! Седьмой или восьмой класс, а девчата уже невесты целые. А парням бриться впору.

Это — внуки. Как-то трудно совместить эти понятия... Только что поразила молодость тех, на фотографиях, а это уже — их внуки. Но это так.

Сидят, делают вид, что слушают учителя. А сами думают: «Скорей бы кончались эти бесконечные уроки! Скорей бы каникулы!» Знаем мы это... Крестики где-нибудь дома ставят — сколько дней осталось.

Вот сидит явная отличница.

Вот — так себе, но все же ничего, терпимо. Будет плановиком в *райфо*.

А этот балбес... смотрит в книгу, а видит, конечно... все, что угодно, только не формулу. Улица на уме! Хватишься потом! Близко локоть, да не укусишь. Куда она уйдет от тебя, эта улица?! Никуда не уйдет! Будешь потом лес ворочать... без образования-то...

Ах, легко ругать! Правда, ужасно легко. То есть горько, конечно, что сын или дочь плохо учатся, но все равно ругать не составляет никакого труда. Это я ни к чему не клоню и никаких выводов не делаю. Просто говорю, что — легко.

Что же тут поделаешь, когда на улице-то, правда, так хорошо!

А на реке что делается!

Нет, учиться, конечно, надо. Хорошо надо учиться. Но и реку вот эту, и острова, и околок, и согра — это ты только теперь и вберешь в сердце. И всю жизнь потом будешь помнить и любить... А если тебя судьба занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то так будешь их любить, что и заплачешь один ночью, когда никто не видит. С этим тоже ничего не поделаешь. Так что учись, конечно, сынок, но покрепче и запомни вот все это...

Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку... Натопчешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная — дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь — другая. Придет. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь — из далекого далека — и этот тополек поцелуешь. Оглянешься — никого — и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то — вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Проверено.

А еще, парень, погляди на эту дорогу...

Погляди, погляди... Внимательно погляди. Это — из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу... А теперь погляди на меня. В глаза мне...

Не торопись. Может, и уйдешь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет — это не сегодня сказали. Здесь тоже неплохо.

Вот — покос.

В мое время это было так. (Тут уж дай мне повспоминать. Да и ты посмотри.)

Ни для чего я тебе это показываю, а просто — дорого мне все это, дороже потом ничего не было. Ну и — делюсь. У тебя будет другое дорогое, у меня — это. А земля-то у нас одна. Ты тоже потом расскажи детям твоим или внукам, что запомнишь хорошее, светлое. Не утерпишь, расскажешь.

Покос.

Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора.

О ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой — до иллюзии — вдруг пахнет на тебя банным духом... «По всей бане так ароматы и пойдут!» — не много сказал вологодский расторопный мужик, а — вкусно сказал! Дальше он же добавил: «Зато и жили по девяносто годов». И вот — что тут случается? — вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть — Федулович, и, хочешь, говори с ним: «Да будет хвастать-то! — «по девяносто годов». Так через одного по девяносто и жили?» Кинется, небось, доказывать, что жили! А хочешь, следи дальше, как он на полке разворачивается: «Кха! Едрена Олена!.. В такую бы баньку да потолстее Параньку. А ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус?» Я невольно улыбаюсь... Я понимаю, автор не ставил себе такой задачи — чтоб я, читатель, улыбался. Но тут какая-то такая свобода, такая вольность, правда, точность, что уж и смешно. Может, я, по родству занятий с писателем, и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости... Но и, по родству же занятий, совершенно отчетливо понимаю: одной памяти тут мало, будь она еще совершенней. Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность — все хорошо, все

к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные... Свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься — что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются — получается порой правдиво, и так и пишут критики: «правдивый рассказ», «правдивый роман». Только... Как бы это сказать? Может, правда и правдивость суть понятия вовсе несхожие? Во всяком случае то, что я сейчас разумею под «правдивостью» — хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни, — прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют. Работа их в литературе, в искусстве значит много; талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков.

А где же сама-то, душа эта, берет целебные силы?

Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольно свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери... Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными — не пишет, совсем забыла... И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш» (она как-то произносила: «аньдели») сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что... О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла — отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало быть, двоюродная его сестрица — отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет — чужая. А вот — принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых слов? От людей же... И людям же и отдается.

ОН УЧИЛ РАБОТАТЬ

Есть несколько человек на земле, голоса которых я могу легко «услышать» — они каким-то непостижимым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно — до иллюзии — их слышу. Они мне очень нужны и дороги.

Михаил Ильич Ромм. Голос его — глуховатый, несколько как бы удивленный, терпеливый, часто с легкой, необидной усмешкой, голос человека доброго, но который устал твердить людям простые истины. Устал, но не перестает твердить. Две из них — необходимость добра и знаний — имелось в виду усвоить как главную тему искусства.

Он был очень терпелив. Когда я пришел к нему учиться, то не стеснялся его, не стыдился отнимать его время. Он был очень добр ко мне, я думал, что это так и должно быть и всегда бывало в Москве в искусстве. Потом, когда пришли ясность и трезвость, я поразился его терпению. И совестно стало, например, давать ему читать свои плохие рассказы. Но тогда удивился он: «А где же рассказы-то? Бросил писать, что ли?» Писать я не бросил, стал даже соваться по редакциям. А он же и подсказал, как это лучше делать. Я решил, что буду теперь приходить к нему, когда удастся сделать что-нибудь хорошо — порадовать его, показать, что не зря возился со мной и терпел. Но так получалось, что сделать что-нибудь очень хорошо — бесспорно хорошо, — все как-то не удавалось. Я заходил попроведать, а все было неловко, все думалось: «Что расселся-то!»

Он учил работать. Много работать. Всю жизнь. Он и начал с того свою учебу — рассказал нам, как много и трудно работал Лев Толстой. И все пять лет потом повторял: «Надо работать, ребятки». И так это и засело во мне — что надо работать, работать и работать: до чего-нибудь все же можно доработаться. «Надо читать», «подумайте» — это все тоже приглашение работать. «Пробуйте еще» — это все работать и работать.

Он и сам работал до последнего дня. Так только и живут в искусстве — это я теперь до конца знаю. Знаю особенно отчетливо, особенно непреклонно, когда думаю о всей его жизни. И что главная тема искусства есть необходимость добра и знаний среди людей — это тоже как-то особенно понятно.

ЗАВИДУЮ ТЕБЕ...

У меня есть мечта: стать комбайнером. Смотрю, как комбайн идет по полю, сердце петухом поет! Я уже думаю, как сяду за штурвал...

Но у нас есть учительница, которая дразнится: «Колхозники вы, больше никто!» Однажды, когда была линейка и директор называл учителей, им ребята хлопали и даже «ура» кричали, а ей никто не хлопал.

Когда я рассказал про эту учительницу маме, она долго молчала, а потом сказала, что хлеб — самое главное, без него все бы умерли.

Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по радио: «Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб». А может, хлебороб и колхозник — разница? Может, колхозником стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, через газету, правильно ли я мечтаю, чтобы я больше не сомневался.

Называть мою фамилию не надо.

(Письмо в редакцию)

Мне дали прочитать твое письмо, и захотелось с тобой поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет.

Я начну с того, с чего начал и ты, — с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько (чуть-чуть) хвалишься своей мечтой, и я даже уловил в твоих словах нотку угрозы: вот возьму и перестану мечтать! Словом, ты мечтаешь, я — отмечтался. У обоих у нас есть на то основание: ты начал жить, я отшагал уже изрядно. Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты, если б даже и захотел для чего-то, это не в моей власти и ни в чьей власти), я только хочу, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал это и скривишь недовольно лицо, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем эти два: разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, всуе, притворно, «ради хорошей отметки» или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение... Слова не виноваты, они говорят правду, они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже — деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать), то он

тоже в этом: главная сила на земле — разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни, ты мог это заметить, но за мной право утверждать, что — все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего, ты тут должен согласиться.

Что касается мечты... Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно — это подороже всякой мечты. И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше.

И еще совет: не обижайся на учительницу. Она тоже человек, она ошибается, не все еще до конца поняла. Почему она должна знать все?! Вообще, меньше обижайся на людей и не отчаивайся. Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше (видишь, и у меня вышло красиво, к сожалению, красиво легче говорить). А кто больше? Ну, подумай, кто? Никто. Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны — таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник, — живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. А когда будешь таким, — помоги другим. Я знаю, как это нелегко, я, может быть, тоже размечтался... Очень хочется, чтобы это так и было. Завидую тебе, твоим четырнадцати годам, — ты начинаешь, может быть, начинаешь хорошо, по крайней мере есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много можно сделать! Еще: читай больше. Гони — в будущем — мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано начал делать — худое дело. Помни, что тебе надо много успеть сделать для своего народа. И все, что будет мешать этому — вино, табак (надо быть здоровым человеком), лень, непомерное честолюбие, — гони все прочь от себя.

Всего доброго!

«КНИГИ ВЫСТРАИВАЮТ ЦЕЛЫЕ СУДЬБЫ»

Ответы на вопросы корреспондента «Комсомольской правды»

[1] Один из первых вопросов... о так называемой «проблеме второй книги». В последние годы мы становились свидетелями многих удачных литературных дебютов. Потом проходило время, появлялись вторые и третьи книги вчерашних дебютантов и нередко разочаровывали: повторение самих себя... Высказывалось мнение, что одна из причин этого — ранняя профессионализация писателя... Не мешает ли она?

— Не только не мешает, но — с грустью это осознаю — не хватает профессионализма. Всякая профессия предполагает прежде всего дисциплину труда, и писательского тоже. У меня этой дисциплины нет. За тринадцать лет профессиональной работы вышло 4 книги, общий листаж которых — 50 авторских листов. Это — в четыре рабочих дня одна страница машинописного текста. О профессионализме в строгом смысле тут говорить невозможно. Если уж нельзя «ни дня без строчки», то и в день по строчке тоже нельзя. Какая бы причина столь малой продуктивности ни была, в любом случае это не вполне профессионально. Далее, если говорить о профессии писателя, — она — природой своей — немедленно ставит вопрос о культуре писателя и сама же отвечает на этот вопрос: то есть имеем мы дело с профессиональным писателем или с человеком, который написал книгу, две книги... пусть пять книг, но не сообщил ничего нового о жизни. В наши дни писательская профессионализация — поздняя (прозаиков особенно). Это нормально. Если мы заговорим об интеллигентности писателя, то это и о культуре его. То есть если к тридцати годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел этой интеллигентности, общей необходимой культуры, не вкусил от хлеба писательского, который — вот это как-то с трудом доходит до сознания, — очень труден и черств, не преодолел (или не видно, что преодолеет) чужое влияние, не подчинил всю жизнь целиком одному делу, писательскому, не уверовал в могущество литературы в жизни — если все это еще не живет в человеке, говорить о нем как о писателе рано, он еще не писатель, или, скажем так, не настоящий писатель. Потому что писатель, кроме всего прочего, еще и найдет манеру, одному ему свойственную. Ведь на самом деле подлинно нехоженых

троп в литературе не бесконечно много, до нас накоплено огромное богатство, и если оно тебе в какой-то мере доступно, скорей осмелишься ступить на свою дорогу. Она тем не менее должна быть. Жизненный опыт, да, только... Кому же его не хватает? Просиди ты сиднем тридцать лет — и это жизненный опыт: как сидел тридцать лет. Это вон как интересно может быть, напиши-ка об этом талантливо, умело, справедливо! Ведь и такой «опыт» может сослужить службу.

[2] Путь к культуре сегодня — со всеми нашими библиотеками, музеями, кино, радио, телевидением — бывает нелегок и непрост?

— Очень и очень непрост. Нужна помощь на первых порах. Формы такой помощи необозримы, но суть всегда одна: умная, добрая, бескорыстная. Так у меня случилось, что лет с двенадцати мне стали помогать выбирать, что читать. Сперва это была ленинградская учительница, которая в войну оказалась в нашей деревне, преподавала в школе. У меня обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению, а учился я плохо, мать этого не могла понять. Пошла к учительнице. Та пришла, расспросила, что я читаю... И составила список книг, какие надо читать. Сказала, когда это прочтешь, я еще составлю. Еще помню библиотеку в Севастополе... Служил матросом и ходил в офицерскую библиотеку. И там пожилая библиотекарша опять чуть не со списком...

Наконец, список же был составлен и Михаилом Ильичом Роммом, к которому я пришел учиться во ВГИК. Это был последний список. Почти все книги из этих списков я помню, многие повторялись... Я бы теперь и сам составил кому-нибудь список — так я в них уверовал, так им благодарен, и книгам и людям. Не без того, что и я много палил впустую, возникали же они, эти списки! — но все же, наверно, меньше. Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море — тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! Не говоря уж об ответственности писателя, совести его перед молодой жизнью: трудно и слова найти, столь она велика, эта ответственность. Книги выстраивают целые судьбы... или не выстраивают.

[3] В одном из последних Ваших рассказов, «Медик-Володя», герой — студент медицинского института... едет на каникулы в родную деревню, он хочет казаться цивилизованным горожанином

и усвоил необходимый для этого нехитрый набор штампов поведения... Здесь ясно видна псевдоинтеллигентность. А как человек становится интеллигентом?

— Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал...» Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение: «академиев не кончал» — наш, генералов бьет — это, значит, мы в состоянии их бить, без «академиев». Попробуйте сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «я академиев не кончал» — восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта «гордость низов» исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, народилась другая опасность: щеголяние эрудицией, показная осведомленность, особенно в вопросах искусства... Ну, может, не опасность: болтуны и трепачи во все времена были. Но если не опасность, то постыдная легкомысленность. Не нам бы этим заниматься, не нам бы. Это еще не интеллигентность — много и без толку говорить, так и сорока на колу умеет. Интеллигентность — это мудрость и совестливость, я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность и тактичность. Мне один человек посылает письма со сценариями и пишет: «Ну, Васька, ты даешь: на три письма не ответил!» Не буду отвечать: от такого «родного», «нашенского» меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать — мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к сорокалетнему человеку — «Васька». Это уж и себя тоже не уважать. Человеческое достоинство прямо относится к интеллигентности.

СЛОВО О «МАЛОЙ РОДИНЕ»

Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: «Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразова-

ний, какие произошли в его родном селе... И еще отзыв с родины: в газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом... Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце, — вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: «Я задумался... Я спросил себя: может быть, они правы — я оторвался от родины?..» Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее, — тоже не стану, это никому не нужно. Но о родине сказать готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.

Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую «малую родину»), — а таких много, — невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших «центров» в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я — уехал, а теперь, видите ли, — приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нету? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я — взял и уехал, когда-то, куда-то... И вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда

случается трудно и горько... Я не выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками — оно мое, оно — я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я — есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.

Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни... Трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая... Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки, — с Алтая, вообще что родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал «ясность поднебесная», но и поднебесная, и земная, распахнутая, — ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выра-

зиться громоздко и несколько неопределенно, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.

Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений — от первоначального замысла в городском кабинете, — обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.

У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода. В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической... Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах,

но — учили... Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, маломальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка — она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть — нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон — соблюдение правды — вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что — надо есть.

Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма «Печки-лавочки».

Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь... Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чув-

ство справедливости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь — купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас воп как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это — справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но... но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие — в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения «правила передвижения пассажиров» — правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими «правилами», но лишенный совести, — пустой человек, если не хуже.

Родина... Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.

Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — и дальше, в жизни — заметил: чем откры-

тее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «вяцкий». И с него взятки гладки. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут — говорю прямо.

Родина... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.

«Заведующей редакцией современной
советской прозы изд-ва «Молодая гвардия»
Яхонтовой З. Н.
От писателя Шукшина
Василия Макаровича.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в план 1975 г. мою новую книгу «Калина красная» (повесть и рассказы) объемом в 15 листов. В книгу будут включены повесть «Калина красная» и рассказы последних лет, опубликованные в журналах «Наш современник», «Звезда», газете «Литературная Россия» и др. Суть их, говоря принятым языком, не строго «деревенская», хотя и повесть, и рассказы исследуют судьбу выходцев из села. Путь их сложный, нелегкий, но все же ведет он к Человеку. Герои мои, когда я смотрю на них «со стороны», — хотят найти дорогое интересное дело в жизни, не истратить совести, не обозлиться, не иссушить душу. То есть и я хочу им этого же.

Рукопись обязуюсь представить в июле 1974 г.

26 февраля 73 г.

В. Шукшин».

Авторская аннотация сборника, написанная по просьбе издательства:

«Сборник рассказов и повестей»
(Изд-во «Молодая гвардия»).

Если бы можно и нужно было поделить все собранное здесь тематически, то сборник более или менее четко разделился бы на две части:

1. Деревенские люди у себя дома, в деревне.

2. Деревенские люди, уехавшие из деревни (то ли на жительство в город, то ли в отпуск к родным, то ли в гости — в город же).

При таком построении сборника, мне кажется, он даст больше возможности для исследования всего огромного процесса миграции сельского населения, для всестороннего изучения современного крестьянства.

Я никак «не разлюбил» сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город, но всей силой души охота предостеречь его и напутствовать, если он поехал или собрался ехать: не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался, не принимай суетливость и ловкость некоторых городских жителей за культурность, за более умный способ жизни — он, может быть, и дает выгоды, но он бессовестный. Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами — стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый «городской язык», коим владеют все те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания — не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.

21 авг. 1974 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. М. ШУКШИНА

1929, 25 июля — родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края.

1943 — окончил сельскую семилетнюю школу в Сростках. Поступил в Бийский автомобильный техникум. Техникум не закончил.

1945 — принят в колхоз в селе Сростки.

1946 — покидает родное село.

«Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село... села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть... на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел». (Шукшин В. Вопросы самому себе. М., «Молодая гвардия», 1981, с. 28.)

1947—1948, май—январь — поступил на работу в трест Союзпроммеханизация (Москонтора) и был направлен в г. Калугу на турбинный завод. Здесь работал слесарем-такелажником.

1948, январь—апрель — от той же организации направлен в г. Владимир, где работал на Тракторном заводе имени Жданова.

«В 1948 г. ... я... был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы... повез сам. И потерял их дорогой. В училище явиться не посмел и во Владимир тоже не вернулся — там, в военкомате, были добрые люди, и мне было больно огорчить их, что я такая «шляпа». Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых людей.

И еще раз, из-под Москвы, посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут провалился на экзаменах. По математике». (Шукшин В. Вопросы..., с. 97.)

1948—1949, апрель—август — слесарь, разнорабочий Головного ремонтно-восстановительного поезда № 5. На станции Щербинка Московско-Курской железной дороги Шукшин участвует в строительстве электростанции, на станции Голицыно Белорусской железной дороги — в строительстве железнодорожного моста.

1949, 29 октября — Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную службу в Военно-Морской Флот СССР. Начал служить на Балтийском флоте.

1950—1952 — Шукшин переведен с Балтийского флота на Черноморский. Воинское звание — старший матрос, военная специальность — радист особого назначения. Во время службы посещал Севастопольскую морскую библиотеку.

1953, январь — решением медицинской комиссии Главного военно-морского госпиталя Черноморского флота (в Севастополе) досрочно демобилизован с язвенной болезнью желудка. Вернулся в село Сростки.

Весной — сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном в сросткинской средней школе № 32.

«Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал... Считаю это своим маленьким подвигом — аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал». (Шукшин В. Вопросы..., с. 97.)

1953—1954, октябрь—июнь — преподает русский язык, литературу, историю в Сросткинской школе сельской молодежи, одновременно — директор школы.

«Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно... Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье» (Шукшин В. Вопросы..., с. 45.)

1954, май — принят кандидатом в члены КПСС.

Июнь — уезжает в Москву, сдает вступительные экзамены во Всесоюзный институт кинематографии.

25 августа — зачислен студентом режиссерского отделения.

1954—1960 — учеба во ВГИКе.

1955 — принят в члены КПСС.

1958 — В. Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме М. Хуциева «Два Федора».

1958, август — в журнале «Смена», № 15 напечатан рассказ «Двое на телеге» — первая публикация В. Шукшина в центральной печати.

1963 — в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские жители».

С 1963 г. — В. Шукшин — режиссер киностудии имени М. Горького. Снимает по своему сценарию первый фильм «Живет такой парень».

1965 — вышел фильм В. Шукшина «Ваш сын и брат».

1967, ноябрь — Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Декабрь — В. Шукшин удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».

1968 — в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там вдали».

1968—1969 — В. Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Странные люди».

1969 — за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

1971 — за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» удостоен Государственной премии СССР.

1972 — вышел фильм В. Шукшина «Печки-лавочки».

1973 — в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов «Характеры».

1974, январь — вышел фильм «Калина красная»; в издательстве «Советская Россия» вышла книга «Беседы при ясной луне».

Конец мая — на Дону начались съемки фильма С. Бондарчука «Они сражались за Родину», куда Шукшин приглашен на роль Петра Лопахина.

Июнь — в издательстве «Советский писатель» сдан в набор роман «Я пришел дать вам волю».

2 октября — Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съемок фильма «Они сражались за Родину», на теплоходе «Дунай».

Посмертно В. М. Шукшину присуждена Ленинская премия.

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ 1972—1974 годов

Беседы при ясной луне. Первоначально: «Природа человеческая». Рассказ написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Переиздан семь раз. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ходит старик к сторожихе, плетет некий мистический невод. А раз увидел около сельмага человека поздно ночью и заорал: — Стреляй!»

Беспалый. Первоначально: «Отец Сергий». Написан весной 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в «Беседах при ясной луне» (1974) и «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Около десяти переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Жил мужик. И была у него жена дура. Злая, капризная. Серега очень ее любил и жалел. Не раз дрался всерьез с мужиками, когда указывали ему на ее глупость. Но раз она так довела его, что он не сдержался и вмазал ей по уху. Она заревела, Серега пошел и отрубил себе на правой руке 2 пальца. Его в деревне прозвали «Отец Сергий».

Мнение. Первоначально: «Ложь». Написан летом 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Переиздан дважды. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Где-то кто-то очень много врал днем. Да так много, подло, гадко (вынужден, что ли, был?), что когда пришел домой вечером, вспомнил все, и его вырвало».

Страдания молодого Ваганова. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1972, № 10), затем в книгах «Беседы при ясной луне» (1974), «Брат мой» (1975) и «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Переиздан около десяти раз, в том числе в книге «Наш современник». Избранная проза журнала, 1964—1974». М., 1975. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Муж, в связи с разводом, дает жене убийственную характеристику. «Лентяйка, грязнуля, спит с другими мужиками...» И некто, кто только выскочил судить и рядить, краснобай и щеголь, говорит с притворным возмущением:

— Как вы можете так о женщине?!

— Но — правда же!

А ведь и то — правда».

Наказ. Первоначально: «Ну, теперь посылай всех...», «Наказ дяди Максима». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1972, № 12), а затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Переиздан шесть раз, в том числе в репертуарно-тематическом сборнике «Дорогу осилит идущий». М., 1976. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Выбрали человека на некую должность (предколхоза), к нему приходит друг и начинает упорно его учить теперь жить:

— Теперь — посылай всех к... матери!

— Зачем?

— А как же?! Вот те раз!.. Теперь никого не бойся — посылай всех к...»

«Появился на робкой окраине плотный, щербатый парнишка. Окраинку вечно били другие края, более сильные. Этот, щербатый, с выдвинутой челюстью продумал план, как избить других, что били постоянно эту слабую окраинку. Продумал, осуществил. (При помощи камней.) Камни только свистели на всем пути отступающего неприятеля. Парнишка только покрикивал: «Камни!» Парнишка жестокий и талантливый. Куда потом двинет в жизни? Кто будет?»

Медик Володя. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1972, № 12), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Переиздан четырежды. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Вовсе мальчишка — едет домой на каникулы. Девушка — землячка. Вдруг — запели не своими голосами — фальшиво».

Как зайка летал на воздушных шариках. Рассказ написан в 1972 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 27 октября 1972 года, затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Около десяти переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Девочка заболела... И вспомнила, что ее дядя рассказывал ей про Красную Шапочку. Попросила папу, чтоб дядя ей опять рассказал. Папа — телеграмму брату. Брат долго добирался... Приехал. Стал рассказывать, да забыл. Девочка плакать — не так. А потом и померла.

Дубулты. 20 июля 1972 г.».

Версия. Рассказ написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1973, № 2), затем в книге «Беседы при ясной луне» (1974) и «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Пять переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Поехал Ванька Пузырь в город... Зашел в ресторашку. А там есть одна стеклянная стена. Ванька шагнул через нее. Ему сказали: «Три зарплаты». Но пришла директриса... И... Жил с ней Ванька неделю, пил, гулял и — спал. В деревне не понимают: правда это или нет? На всякий случай — не верят».

Ванька Тепляшин. Первоначально: «Ванька-дурак», с эпиграфом: «Ванька Тепляшин, давай с тобой попляшем — так Ваньку дразнили маленького». Рассказ написан в мае 1972 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1973, № 2), за-

тем в книге «Беседы при ясной луне» (1974). Семь переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ванька-дурак устроил скандал, что к нему не пустили мать (в больницу). Вылетел в пижаме, сторож хотел схватить его, он мотанул сторожа. Его стали ловить — шум, гам, неумность русская. Поймали.

— Все равно из окна выпрыгну, — сказал Ванька.

Сторож в отчаянии: — Дурак, ты ба меня по-хорошему попросил, я б ее пустил... — Ты должен быть человек! — на это напирал Ванька-дурак».

Гена Пройдисвет. Первоначально: «Антихрист 666». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Звезда» (1973, № 2), затем в книге В. М. Шукшина «Брат мой» (1975). В дальнейшем не переиздавался. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Придет владыка (их сперва будет 4, потом станет один — он-то и есть АНТИХРИСТ 666). Будет владычить 3,5 года, но законы его будут действовать *только 3 года.* Тут же образ: человек — это киноаппарат с пленкой, прожил жизнь, как отснял всю пленку, какая была, умер, аппарат (тело) за ненадобностью выкинули, а пленку (душу) проявили и узнали, как же ты жил. Вдруг вывод: *за все надо платить.*

Или вот — чудо. Говорят: чудес нет. Как нет? На огороде полно чудес».

«С гитарой (с гармошкой) пошел... работать массовиком... пошел и прыгнул в воду и продолжал играть. Он-то и схватился спорить с новообращенным верующим (антихрист 666). Новообращенный говорит о чуде (они есть, много — в огороде) — серьезно. И тут же — об антихристе».

«Был гитарист... Странный человек. Работал массовиком-затейником. Выгнали за то, что однажды, выпивши, с гитарой прыгнул в бассейн с вышки».

Пьедестал. Первоначально: «Странности Константина Смородина», «Жена Константина Смородина». Написан летом 1972 года в Дубултах. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (1973, № 5). В подготовленные В. М. Шукшиным сборники не включался. Пять переизданий.

Упорный. Написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 2 марта 1973 года, затем в «Беседах при ясной луне» (1974) и «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Десять переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Да что трение!.. Весьма русское решение проблем: при чем тут трение! При чем здесь закон!»

Алеша Бесконвойный. Написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 19 января 1973 года. Вошел в книгу «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранные произведения» (1975). Двенадцать переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Жизнь души. Странный человек: хороший работник, но выступать не любит, в президиумы на собраниях не садится, и сами собрания не любит. Любит в субботу топить баню. Топит ее весь день с чувством, с толком, не торопясь — с большим наслаждением. И это — радость».

Осенью. Первоначально: «Один день». Рассказ написан в декабре 1972 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (1973, № 7). Включен в книгу «Беседы при ясной луне» (1974) и в «Избранные произведения» (1975). Около двадцати изданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Один день паромщика. Начался он рано — темно еще. А после — покатился: 1) Свадьба переезжала. 2) Высокий начальник проследовал. 3) Старый человек переправился. Паромщик долго вспоминал, где он его видел, вспомнил — а тот уже далеко. А был это... (?). 4) Невеста бывшая — уже под вечер. С тем и ушел домой — спать. А долго не спалось — невеста растревожила».

Выбираю деревню на жительство. Написан в феврале 1973 года. Впервые опубликован в газете «Неделя» (1973, № 19). Включен в книгу «Беседы при ясной луне» (1974). Семь переизданий. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях: «Как мужик нанимался на работу. Некий маленький делопроизводитель, который протер на работе не одну пару штанов, раз в неделю, в субботу, приходил на вокзал и там, где курят случайные люди, искал работу где-нибудь в деревне. Проезжих много, начинают советовать, предлагать... Хвалят свои места. Причем из загнанных пассажириков, которых толпами гоняют туда-сюда по вокзалу, люди становятся высокомерными. Особенно охотно берутся устроить судьбу человека люди подвыпившие. Делопроизводитель всерьез волнуется, записывает адреса... До следующей субботы».

«А я погляжу... Как человек долго мыкался в жизни, мучился, неустроенный. Потом возымел желание устроиться куда-нибудь на вокзал и смотреть, как люди не могут достать билет, стоят сутками в очередях, спят на полу, опаздывают на поезд... Какая-то холодная мстительная ярость и злое удовлетворение».

Штрихи к портрету. Первоначально: «Центробежная сила», «В райгородке Н. Разные случаи из жизни Николая Николаевича Князева». Написан в январе 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1973, № 9), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Семь переизданий. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях:

«Приехал в село гонщик. Пришел к нему парень, стал спрашивать, как это ему удается?.. Гонщик вдруг заважничал, заважничал перед простодушием-то. Стал противный, маленький сразу... даже жена его не узнала и обиделась».

«Человек, который всех учит... Жил человек, который учил всех подряд. Не мог утерпеть. От секретаря обкома до портного и парикмахера. И получал за это одни неприятности».

«Мессия. Начал вдруг человек на селе прописные истины проповедовать:

Люди должны быть честными;
должны честно трудиться;
не обманывать никого;
не воровать...

Им заинтересовались сельсоветские. Вечерний разговор, очевидно:

1. Кто разрешил?
2. Зачем?
3. К чему?

Запретили».

«В зоопарке. У этого длинного, с раскроенной шкурой (жираф). Езда на пони. Взрослые — 20 к., дети — по 10 к.

А смотрит на все это некий доморощенный философ и приходит к открытию:

— А звери-то... это... умней нас.

— При детях не говори так!

— Почему? Вот — люди: сели на карусель и машут руками — «До свиданья!» А сами — на месте. Так ведь и вся наша жизнь.

Помолчи при детях, идиот!

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина».

Внезапные рассказы. Первоначальное название: «Больничные рассказы». Мечты. На кладбище. Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту. Боря. (Первоначально: «В больнице. Зарисовка».) Петька Краснов рассказывает. (Первоначально: «Как Петька Краснов рассказывал о своем пребывании на курорте».) Сны матери. (Первоначально: «Сны моей матери».) Рассказы впервые опубликованы в «Сибирских огнях» (1973, № 11). «На кладбище» включен в книги «Беседы при ясной луне» (1974) и «Избранные произведения» (1975); рассказы «Как мужик переплавлял...», «Боря» и «Сны матери» — в сборник «Брат мой» (1975). «Боря» переиздавался один раз, «Петька Краснов...» — пять раз. «На кладбище» — восемь раз. Наброски цикла в рабочих тетрадях:

«Карманные рассказы.

Очень-очень коротенькие рассказы — крохотули. Сценки. Должен быть цикл. Надо набирать!

«Боря», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Петька Краснов рассказывает».

«Внезапные рассказы.

Цикл рассказов, нечаянно рассказанных людьми. Вовсе не придуманных, и рассказанных случайно, в самых неподходящих условиях».

«Мечты». Знал одного парня в бытность в Калуге. Тот мечтал стать официантом. Через двадцать лет встретил его — в Москве, официант. Да еще такой... лощеный».

«Рас-з нигде не берут. Нет! «Сибогни» родные — взяли».

«Мечта.

Знал одного парня в Калуге, который мечтал стать официантом. Давно это было, нам в ту пору едва ли было по семнадцать. Не было. А потом, лет через пятнадцать, встретил его в Москве, в ресторане, официант. Ничего, прекрасно выглядит. Я не признался».

«Земная Божья мать. Стоял солдат на посту. Слышит: на кладбище плачет женщина. Сказал сменщику. Тот тоже слышал — сказали командиру. Командир кликнул храбрецов. Один поехал на коне.

— Кто тут живой?!

— Я живая.

Женщина... Рядом стоит.

— Чего ты плачешь?

— О молодом поколении плачу. Я Земная Божья мать. И плачу о молодом поколении...

— Вот скажу так — мне не поверят.

— Поверят. — И коснулась солдата ладонью — спины.

И когда солдат приехал, у него обнаружили на спине образ Божьей матери. Поверили...»

«Разговор на кладбище:

— Ничего, бабушка, на звезду-то крестишься?

— А чего? Ничего.

— Ничего, мол, что звезда-то?

— Дак а чего?.. Он у меня не хуже других был. Чего же? Не последний был человек».

«Странности Петра Краснова.

Это у Петьки — как болезнь стала: день ходит, смотрит, слушает, соглашается, а дома, вечером... все начинает ругать и весьма ядовито критиковать».

«Сны моей матери».

1. Как она водила ослика. «А на ослике сидел святой с бородкой. «Поводи, поводи меня». Она догадайся спросить: «А что мне будет на том свете?» Старичок подал бумажку, а там написано... «И буковки-то все наши, и написано много, а ничего не могу понять». Ну ладно, думаю, я еще в избе почитаю. Покатаю еще немного старичка и пойду в избу читать. И проснулась».

2. У сестры матери померли от скарлатины две девочки. 7-ми и 5-летнего возраста. «И вот лежу я на печке... А боялась, боялась, всего боялась, как Макара-то взяли... И тут кто-то с улицы постучался... И уж я будто бы ничего не боюсь сроду, слезаю будто с печки, открыла избную дверь. — Кто? — Мы — отроки. С того света. — А чего вы ко мне-то? Идите вон к Николаю Погодину, он мужик... — Нет, нам к тебе надо. ...Открыла им... Зашли два мальчика в сутанках. А меня всюё опахнуло приятным таким духом. Сели они. — Чего жэ ко мне пришли-то? — У тебя есть сестра, у нее померли две девочки. Она сильно по ним плачет. — Да, плачет — жалко. — Скажи ей, чтоб не плакала, а то девочкам-то — хуже. Плохо. Не надо плакать. — Ладно, скажу. И отроки ушли. И опять всюё меня опахнуло приятным запахом».

3. Те же девочки тети Дуни: Валя и Нюра. Мать рассказывает:

— Хвораю лежу: в тятином доме. Си-ильно хворала. А вскинула глаза-то — а они — две — стоят. В чем их положили в гробики, в том и стоят. Ой, Валенька, Нюронька, миленькие мои... Да вы откуда же? — Оттуда. — Ну, как вы там? — Хорошо. Ой, нам там хорошо!

Ну, знамо, безгрешные душеньки. А потом Валя-то, постарше которая, вот так вот погрозила пальцем и говорит: — А куклу-то нам посулила, а сама не сделала.

Купила потом (сделала) куклу да подарила соседской девочке.

4. Приласкала мать девушку-сиротку. В больнице вместе лежали.

— Она ко мне ночевать ходила. Потом померла. Плеврит, а от плеврита занялась печень. И вот вижу раз сон:

Вышла я на речку, а на той стороне, где Гилев остров, — город. Большой-большой, да красивый, да весь в садах, и цветы так колышутся... Я села в речку-то да поплыла — сидя, только руками перебираю, а сама сижу и плыву. И так переплыла. И никого нету, и я не знаю, куда идти. И тут выходит эта девушка. Обрадовалась, обняла меня, прилюбила.

— Куда же мне идти-то!
— А во-он туда...
А там вроде окраина такая, похуже место, победней.
— А ты где?
— А я, говорит, вот здесь — в центре».

Психопат. Рассказ написан в 1973 году. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 28 декабря 1973 года, затем в журнале «В мире книг» (1975, № 8) и в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Два переиздания. Набросок рассказа в рабочих тетрадях: «Возмутился человек фельдшерицей, которая не умеет делать уколы. Тихая, скромная, милая девушка и... ничего не умеет делать. Все вены исколола. Ну, и уж — обобщение справедливое, впрочем».

Кляуза. Рассказ написан 2 декабря 1973 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора» (1974, № 8), затем перепечатан «Литературной газетой» 4 сентября 1974 года с подзаголовком «Опыт документального рассказа». Вышел в сборнике «Шаги», вып. 2. М., 1976. Выходил еще трижды. Рассказ вызвал большую читательскую почту, проанализированную критиком Вл. Канторовичем (см. «Сибирские огни», 1975, № 9; а также в кн.: Канторович В. Литература и читатель. М., 1976).

Мужик Дерябин. Рассказ написан в 1974 году. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Переиздан трижды. Запись в рабочих тетрадях: «Здесь жил Дерябин. (Надпись на стене. И — характер)».

Рыжий. Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Аврора», (1974, № 7), затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина (1975). Переиздан четырежды.

Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Ехал я мальчиком по Чуйскому тракту с рыжим шофером, нас задел по борту встречный грузовик. Рыжий шофер вышел, посмотрел на поломанный борт... Потом сел, развернулся и стал догонять того, который нас повредил. Догнал, умело прижал его к обочине и шваркнул тоже по борту. Подождал с рукояткой — не остановится ли тот, — развернулся и поехал, как ехали. Все это — молча».

Вечно недовольный Яковлев. Рассказ написан в январе 1974 года. Впервые опубликован в газете «Неделя» от 18—24 марта 1974 года, в подготовленные В. М. Шукшиным сборники не входил. Впоследствии — пять переизданий. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Один Некто приехал из города, обозленный в душе, опустошенный, наученный драться... Пошел (выпивши) избил по старой памяти бывшего школьного друга, потом не может толком сказать — за что. Говорит: в детстве дрались, я запомнил. Боксер. И жесток».

Други игрищ и забав. Рассказ начат в апреле 1972 года, прерван и закончен в феврале 1974 года в больнице. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 23 августа 1974 года,

затем в журнале «Наш современник» (1974, № 9). Вошел в книгу «Брат мой» (1975). Переиздан дважды. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Родился у сестры незаконный ребенок — отец не объявился, не захотел. Брат сестры, маленький, нервный человечек, пошел к отцу (как-то узнал, кто он такой и где живет) ребенка, которого очень полюбил, стал требовать справедливости... И получил по зубам».

Жил человек... Написан в феврале 1974 года. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в книге «Брат мой» (1975). Одно переиздание. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях:

«Жил человек... Хворал часто. Рассказывал, как после войны — на костылях — колол лед на реке. «Костыли зажму под мышкой и топором... Одна нога совсем болтается. Потом комнату дали в общежитии.

Любил рассказывать анекдоты, а не умел. «Ворона достала сыр, к ней лиса — спой. — А ху-ху не хо-хо? — Зажала сыр под крыло и говорит: вот теперь потолкуем...» А дальше не успел рассказать — помер».

Ночью в бойлерной. Написан в марте 1974 года в больнице. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 22 марта 1974 года, затем в книге «Брат мой» (1975). Одно переиздание. Мотивы использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «В бойлерной. Это — внизу, в подвале, туда «опускаются» люди после своих катастроф. А там сидит дядя Вася — мудрый и хитрый».

Привет Сивому. Написан в марте 1974 года в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник» (1974, № 9), а затем в «Избранных произведениях» В. М. Шукшина. Переиздан дважды. Мотивы использованы в повести для театра «А поутру они проснулись...». Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Очкарика, умного русского человека, избил «современный» горилла».

Чужие. Последний рассказ Шукшина. Написан в марте 1974 года в больнице. Впервые напечатан в журнале «Наш современник» (1974, № 9), затем в книге «Брат мой» (1975). Одно переиздание. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Про великого князя Алексея и дядю Емельяна, бывшего матроса. Богатырь. Лоцман. Не знает, куда девать силу.

1. Ругается с бабами, когда проплывает мимо баб, полощущих белье.

2. В месте на реке, где гуляет кто, кричит: «Кто украл хомуты!» Эхо: «Ты! ты! ты!» Он: «Не видал, а обвиняет».

Ничего про себя не рассказывает. Пристает к учительнице.

Однажды дрался в деревне всю ночь, а когда у него перерубили канаты, которыми был причален плот, бежал за плотом 5 км. На все хватало силы».

ПОВЕСТИ

Повести В. М. Шукшина — явление, не вполне традиционное с точки зрения жанра и не совсем обычное на фоне творческой истории других шукшинских произведений.

Если рассказы В. М. Шукшина создавались и задумывались именно как произведения п р о з ы, то повести с т а н о в и л и с ь произведениями прозы, задумывались же и создавались они в расчете на экранное или сценическое воплощение.

Повести В. М. Шукшина и по теме, и по стилю — плоть от плоти его рассказов, это важнейший элемент созданной им художественной картины мира, и это абсолютно органичный для него этап социального и психологического обобщения; крепко связанные с непосредственным опытом, повести выходят к широкой философской проблематике; художественная целостность большинства шукшинских повестей делает их явлениями большой русской прозы, хотя и рождаются эти явления на стыке с театром и кино и даже воспринимаются нередко как нечто, сравнительно с рассказами В. М. Шукшина, «вторичное». До некоторой степени этим объясняется и тот факт, что ч и т а т е л ь с к и й резонанс повестей В. М. Шукшина первоначально заглушается резонансом з р и т е л ь с к и м, отклик на спектакли и особенно на кинофильмы превалирует над осмыслением прозаических текстов. Однако собранные в книгах, поставленные в общий контекст все сильнее действующей на людей шукшинской «легенды», эти повести становятся сегодня заметным фактором в развитии современной прозы, они оказывают воздействие на литературный процесс и на читателя.

Точка зрения. *Повесть-сказка.* Варианты подзаголовков, сохранившиеся в бумагах В. М. Шукшина: «Сказка для детей старше школьного возраста»; «фарсовое представление в 4 сценах»; «опыт современной сказки»; «опыт современной сценической сказки»; «опыт современной кинематографической сказки».

Замысел повести относится к середине 60-х годов и связан с замыслом одноименного фильма, о котором В. М. Шукшин, отвечая на вопрос корреспондента «Московской кинонедели» о ближайших творческих планах, рассказывал следующее:

«Свой новый фильм мне хотелось бы посвятить нравственным и философским проблемам наших дней. Я надеюсь осуществить эту постановку по собственному сценарию, который условно называется «Точка зрения». Это будет современная сказка-притча.

Действие сценария происходит «в некотором царстве, в некотором государстве», где живут два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Один утверждает, что в жизни все плохо и неинтересно, нет хороших людей — их выдумывают писатели. Другой привык воспринимать жизнь через розовые очки, считает, что трудности и невзгоды преодолевать так же легко, как стометровку.

Не сумев разрешить спор, Пессимист и Оптимист обращаются за помощью к Мудрому человеку. Мудрец направляет молодых людей в дом девушки, которую вечером должны прийти сватать, и предлагает каждому по-своему описать все, что они там увидят.

О том, что увидели в чужом доме и как рассказали об этом Пессимист и Оптимист, — мой будущий фильм.

Воплощая свой замысел в сценарии, я поставил перед собой задачу показать вред и опасность двух крайностей — огульного очернительства жизни, беспросветного пессимизма и, с другой стороны, беспочвенного оптимизма, своеобразной «маниловщины».

Будущий фильм должен звучать пламенным призывом к активному участию в строительстве новой жизни». («Московская кинонеделя», 24 января 1966 г.)

В феврале 1967 года В. М. Шукшин читал «Точку зрения» в Центральном Доме литераторов на творческом объединении прозаиков; состоялось обсуждение рукописи (информация — в еженедельнике «Литературная Россия», 1967, 17 февраля); все это свидетельствует о том, что сценарий уже был переработан в повесть.

Кинофильм «Точка зрения» так и не был поставлен В. М. Шукшиным. Повесть-сказка под этим названием впервые опубликована в журнале «Звезда» (1974, № 7). Впоследствии неоднократно переиздавалась и инсценировалась.

Печки-лавочки. *Киноповесть.* Первоначально — это литературный сценарий одноименного фильма. Сценарий написан в 1969 году в селе Сростки. В 1971 году доработан в повесть. Варианты заглавия: «Ехал Ванька», «История одной поездки».

Фильм «Печки-лавочки» был снят В. М. Шукшиным в 1972 году, вышел на экраны и имел большой резонанс в зрительской аудитории и в критике. Повесть «Печки-лавочки» впервые опубликована посмертно в книге: В. М. Шукшин. Киноповести. Изд-во «Искусство». М., 1975. Неоднократно переиздавалась.

Калина красная. *Киноповесть.* Первоначально — литературный сценарий одноименного фильма. Сценарий написан осенью 1972 года в Москве, в больнице.

Из статьи Л. Сидоровского «Сердце Шукшина»: «Как-то Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина. — *Ред.*) с дочками пришла к мужу в больницу, а у него в глазах, глубоко-глубоко, — слезы.

— Что случилось?

Подает «амбарную книгу»:

— На вот, написал... Только не надо сейчас... Потом, дома...

Читала, плакала...

...Поверху написано: «Калина красная», а пониже: «Писал сценарий 27 октября — 15 ноября 1972 года. Москва (больница)». («Смена», Ленинград, 1979, 24 июля).

Сценарий, переработанный в повесть, появился в журнале «Наш современник», (1973, № 4). Откликов публикация не вызвала. Впоследствии повесть была издана в «Избранных произведениях» (1975), неоднократно переиздавалась.

Кинофильм, завершенный к началу 1974 года, вышел на экраны весной того же года и вызвал поистине всенародный отклик. Ныне он признан самой важной кинокартиной В. М. Шукшина, его творческим завещанием. Главный приз VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку в 1974 году, огромное количество рецензий (число их уже в 1974 году приблизилось к полутораста), поток зрительских писем, хлынувший сразу после премьеры, — это лишь самое начало того признания, которое вывело фильм «Калина красная» на уровень советской киноклассики, — начало это В. М. Шукшин успел увидеть.

Киноповесть оказалась, таким образом, в тени кинофильма. Пытаясь проанализировать эту ситуацию и, в частности, понять тот факт, что публикация повести не вызвала откликов, тогда как фильм мгновенно оказался в центре внимания, журнал «Вопросы литературы» провел по обоим произведениям дискуссию, пригласив выступить в ней преимущественно писателей и литературных критиков. В дискуссии участвовали Б. Рунин, Г. Бакланов, С. Залыгин, В. Баранов, Л. Аннинский, К. Ваншенкин и В. Кисунько. У фильма, как и у повести, нашлись противники: К. Ваншенкин говорил о «просчетах», о «сентиментальности многих эпизодов», о «банальности персонажей», об «умозрительности концепции». В. Баранов упрекал автора за «театральные эффекты», за «мелодраматизм» мотивировок и за то, что «сентиментально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека-труженика на земле».

С. Залыгин, отвечая критикам, сказал: «...нам пора уже отдать себе отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего искусства... Нужно об этом помнить при оценке и изучении его творчества... Без этого неизбежно возникает ошибка: произведение отнюдь не рядовое, выдающееся мы оцениваем по меркам, к которым привыкли, рассматривая вещи проходные, стандартные. Шукшин в отличие от всех нас дает нам образ, обладающий своею собственной, а не нашей логикой, своими, а не нашими понятиями, — в этом и заключается его большое художественное открытие...»

Материалы дискуссии были показаны В. М. Шукшину, и он написал по ним статью «Возражения по существу», которая была опубликована вместе с другими материалами дискуссии в июльском номере «Вопросов литературы» за 1974 год. Из тактических соображений В. М. Шукшин говорит в статье «только о фильме», а киноповесть желает «оставить в покое», однако речь идет, по существу, о жизненной концепции автора, очень важной для понимания его замысла в обоих случаях. Приводим этот автокомментарий:

«Думаю, мне стоит говорить только о фильме, а киноповесть оставить в покое, потому что путь от литературы в кино — путь необратимый. Неважно, случилась тут потеря или обнаружены новые ценности, — нельзя от фильма вернуться к литературе и получить то же самое, что было сперва. Пусть попробует самый что ни на есть опытный и талантливый литератор записать фильмы Чаплина, и пусть это будет так же смешно и умно, как смешны и умны фильмы, — не будет так. Это разные вещи, как и разные средства. Литература богаче в средствах, но только как литература; кино — особый вид искусства и потому требует своего суда. Что касается моего случая, то, насколько мне известно, киноповесть в свое время не вызвала никаких споров, споры вызвал фильм — есть смысл на нем и остановиться.

Меня, конечно, встревожила оценка фильма К. Ваншенкиным и В. Барановым, но не убила. Я остановился, подумал — не нашел, что здесь следует приходить в отчаяние. Допустим, упрек в сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем сокровенном у другого. Тут ничего

обидного нет, можно жить вполне мирно, и я сейчас очень осторожно выбираю слова, чтобы не показалось, что я обиделся или что хочу обидеть за «несправедливое» истолкование моей работы. Но все же мысленно я адресовался к другим людям. Я думал так, и думал, что это-то и составит другую сторону жизни характера героя, скрытую.

Если герой гладит березки и ласково говорит с ними, то он всегда делает это *через думу,* никогда бы он не подошел только приласкать березку. Как крестьянин, мужик, он — трезвого ума человек, просто и реально понимает мир вокруг, но его в эти дни очень влечет побыть одному, подумать. А думая, он поглаживает березку (он и правда их любит), ему при этом как-то спокойнее, он и поглаживает, и говорит всякие необязательные слова, но для того, чтобы — подумать. Есть особенность у людей, и поразному мы думаем: лишь тогда хорошо и глубоко думают, когда что-то делают или говорят. Но говорят-то вовсе не про то, что можно объяснить какой-нибудь потребностью, потребность же тут — подумать. Но и к чему попало человек не подойдет, а подойдет, где ему привычно, понятно... Где как раз не надо ни на что другое отвлекаться мыслью, кроме как решить что-то главное, что теперь тревожит. Но оттого, что выбор этого «отвлекающего» дела есть шаг бессознательный, «врожденный», опять же ясен становится сам человек (это уж мне надо, автору) — к чему подошел, что сделал невзначай, какие слова сказал, пока думал. Увидел березку: подошел, погладил, сказал, какая она красивая стоит — маленько один побыл, вдумался... Такая уж привычка, но привычка человека изначально доброго, чья душа не хочет войны с окружающим миром, а когда не так, то душа — скорбит. Но надо же и скорбь понять, и надо понять, как обрести покой.

Я и думал, что зритель поймет, что березки — это так, «к слову», увидит же он, зритель, как важно решить Егору, куда теперь ступить, где приклонить голову, ведь это не просто, это мучительно. Может, оттого и березки-то, что с ними не так страшно. А страшно это — и это-то и дико — уверовать, что отныне, до конца дней, одна стезя — пахать и сеять, для Егора, быть может, страшней тюрьмы, потому что — непривычно.

Ну, с березками — так.

Теперь истерика после сцены с матерью — мелодрама? Тут не знаю, что и говорить. Разве мелодрама? А как же, неужели не кричат и не плачут даже сильные, когда только криком и можно что-нибудь сделать, иначе сердце лопнет.

Как только принимаюсь работать — писать рассказ, снимать фильм, — тотчас предо мной являются две трудности: жизнь человека внешняя (поступок, слова, жесты) и жизнь души человека (потаенная дума его, боль, надежда); то и другое вполне конкретно, реально, но трудно все собрать вместе, обнаружить тут логику да еще и «прийти к выводу». Я пока не сдаюсь, но изворачиваюсь. Меня больше интересует «история души», и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует. Иногда применительно к моим работам читаю: «бытописатель». Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом. Я не к тому, что я — кто-то другой, а не бытописатель (я, кстати, не знаю, кто я), но не бытописатель же, это же тоже надо, за ради правды дела, оставить в покое. И кстати, не думаю, что бытопи-

сатель — это ругательство. Где есть правда, там она и нужна. Но есть она и в душах наших, и там она порой недоступна.

Егор Прокудин, несомненно, человек сильный. Мне нравятся сильные люди, я в киноповести не без удовлетворения написал, что в минуту наивысшей боли он только стиснул зубы и проклинает себя, что не может — не умеет — заплакать: может, легче бы стало. Когда я стал день за днем разматывать жизнь этого человека, то понял, что в литературной части рассказа о нем я сфальшивил, отбоярился общим представлением, но еще не показал всей правды его души. Я не думаю, что потом показал всю эту правду, но что ушел от штампа, которым обозначают сильного человека, — я думаю.

Как всякий одаренный человек, Егор самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но явиться к ней вот так вот — стриженому, нищему — это выше его сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, может быть, он явится, но только не так. Там, где он родился и рос, там тюрьма — последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, только не тюрьма. И принести с собой, что он — из тюрьмы, — нет, только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. «Завязать», замести следы — и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой позор и горе. Ну а деньги? Неужели не мог ни разу послать матери, сам их разбрасывал... Не мог. Как раз особенность такого характера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся жизнь пошла дико, вбок, вся жизнь — загул. Маленькие справедливые нормы В. Баранова тут ни при чем. Вся драма жизни Прокудина, я думаю, в том и состоит, что он не хочет маленьких норм. Он, наголодавшись, настрадавшись в детстве, думал, что деньги — это и есть праздник души, но он же и понял, что это не так. А как — он не знает и так и не узнал. Но он требовал в жизни много — праздника, мира, покоя, за это кладут целые жизни. И это еще не все, но очень дорого, потому что обнаружить согласие свое с миром — это редкость, это или нормальная глупость, или большая мудрость. Мудрости Егору недостало, а глупцом он не хотел быть. И думаю, что когда он увидел мать, то в эту-то минуту понял: не найти ему в жизни этого праздника — покоя, никак теперь не замолить свой грех перед матерью — вечно будет убивать совесть... Скажу еще более странное: полагаю, что он своей смерти искал сам. У меня просто не хватило смелости сделать это недвусмысленно, я оставлял за собой право на нелепый случай, на злую мстительность отпетых людей... Я предугадывал недовольство таким финалом и обставлял его всякими возможностями как-нибудь это потом «объяснить». Объяснять тут нечего: дальше — в силу собственных законов данной конкретной души — жизнь теряет смысл. Впредь надо быть смелее. Наша художественная догадка тоже чего-нибудь стоит.

Говорю тут, а понимаю: это ведь, в сущности, третье осмысление жизни и характера Егора Прокудина, два было — в повести и в фильме. Теперь, по третьему кругу, я свободнее и смелее, но позиция моя крайне уязвима: я должен защищаться и объяснять. Я допускаю, что этого могло не быть, будь я недвусмысленней, точнее и глубже в фильме, например. Остается выразить сожаление, что так вышло. Но мне хочется возыметь мужество и сказать: я с волнением и внимательно следил за ходом мыслей тех, кто нашел фильм произведением искусства. Я должен перешагнуть через стыд и неловкость и сказать, что мне

это крайне дорого и важно. Тогда это другая мера отсчета и весь отсчет — в другую сторону. Под конец, вовсе обнажаясь, скажу, что сам я редко испытываю желание много и подробно говорить о чем-то прочитанном теперь или увиденном — нет желания, и все, и потому вправе был ждать — и ждал — и к себе такого же отношения. И то, что разговор этот случился, и случился он доброжелательный, участливый, — я за это благодарен».

22 мая 1974 года в «Правде» появилась подготовленная Г. П. Кожуховой беседа с В. М. Шукшиным — «Самое дорогое открытие» — где, в частности, о «Калине красной» говорилось следующее: «Перед нами — человек умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьезная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства — предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным. Разве не самое интересное и не самое поучительное обнаружить, вскрыть законы, по которым строилась (и разрушалась) эта неудавшаяся жизнь? Вызывает недоумение, когда иные критики требуют показа в пьесе «благополучной» жизни: не противоречит ли это самому слову — драма?.. В постижении сложности — и внутреннего мира человека, и его взаимодействия с окружающей действительностью — обретается опыт и разум человечества. Не случайно искусство во все века пристально рассматривало смятение души и — обязательно — поиски выхода из этих смятений, этих сомнений. В избранном нами случае только развернутая картина драмы одной жизни — с ее началом и концом — может потрясти, убедить. Вся судьба Егора погибла — в этом все дело, и неважно, умирает ли он физически. Другой крах страшнее — нравственный, духовный. Необходимо было довести судьбу до конца. До самого конца.

И дело не в одном авторском намерении. К гибели вела вся логика и судьбы и характера. Если хотите, он сам неосознанно (а может, и осознанно) ищет смерти...

То же обстоятельство, что убивают его мстительные нелюди, а не что-нибудь другое, может быть, мой авторский просчет, ибо у смерти появляется и другой, поверхностный смысл. «Что же, — возмущенно спрашивают некоторые, — у таких людей нет другого выхода?!» Как нет? Мы же сами видели непоказную доброжелательность многих и многих славных людей, протянувших ему бескорыстную руку помощи. Это ведь он не сумел воспользоваться, застраховать себя от трагической случайности».

Энергичные люди. *Сатирическая повесть для театра.* Закончена 1 января 1974 года в Москве, в больнице. Впервые опубликована с подзаголовком «сатирическая повесть» в еженедельнике «Литературная Россия», 1974, 7, 14 и 21 июня. Неоднократно переиздавалась. Летом 1974 года поставлена Г. А. Товстоноговым на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького; В. М. Шукшин участвовал в инсценировке (записал «Голос автора»). В том же сезоне «Энергичные люди» поставлены Омским драматическим театром. Это первые постановки произведений В. М. Шукшина на театральной сцене.

До третьих петухов. *Повесть-сказка.* Написана в первой половине 1974 года: в феврале В. Шукшин показал артисту М. Ульяно-

ву начало ее. Закончена повесть 26 июля 1974 года на Дону. Первоначальный заголовок (продиктованный Л. Н. Федосеевой-Шукшиной): «Ванька, смотри». Подзаголовок (сохранившийся в черновиках): «Сказка про Иванушку-дурачка, как ходил он за тридевять земель добывать справку, что он умный и современный. Окончательные заглавие и подзаголовок найдены совместно с редакцией журнала «Наш современник», для которой повесть предназначалась. Опубликована посмертно в «Нашем современнике», (1975, № 1) (публикация Л. Н. Федосеевой-Шукшиной). Неоднократно переиздавалась.

А поутру они проснулись... *Повесть для театра.* Начата в декабре 1973 года в Москве, в больнице. Не закончена: В. М. Шукшин продолжал работать над текстом летом 1974 года на Дону, во время съемок фильма «Они сражались за Родину», до самой смерти. Впервые опубликована Л. Н. Федосеевой-Шукшиной в журнале «Наш современник» (1975, № 1) с предисловием С. Залыгина. Заглавие дано редакцией. Повесть предназначалась для Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького. Впервые поставлена в 1978 году московским театром «Современник». Подготовленный «Современником» сценический вариант текста тогда же издан для театров (М., ВААП, 1978). Повесть неоднократно переиздавалась.

ПУБЛИЦИСТИКА

Публицистические выступления В. М. Шукшина сравнительно поздно стали объектом внимания исследователей. Впервые эти тексты были собраны авторами настоящего комментария и изданы через шесть лет после смерти Шукшина в книге «Нравственность есть Правда» (издательство «Советская Россия», М., 1980); дополненное издание этой книги вышло год спустя (В. Шукшин. Вопросы самому себе. Издательство «Молодая гвардия», М., 1981). Читательские и критические отклики на два эти выпуска показали, что публицистика В. М. Шукшина — живая и важная часть его творческого наследия и что суждения его сохраняют жгучую актуальность. Сегодня общепризнано, что В. М. Шукшин — одно из ярчайших имен не только в истории русской прозы, но и в истории русской мысли 60—70-х годов, хотя под привычные мерки его публицистика не подходит.

Суждения В. Шукшина полны открытых и осознанных противоречий, и оттого может показаться, что в статьях его нет того главного, что мы привычно ждем от публицистики: системности. На самом деле это не так, но сам Шукшин, пожалуй, легко согласился бы с такой оценкой — и по его всегдашней склонности сосредоточиваться на собственных слабостях, и потому, что его публицистика внешними признаками действительно напоминает мозаику: это либо статьи, написанные по заказам редакций (а значит, и каждый раз по новому, извне продиктованному поводу), либо беседы, когда вопросы интервьюеров тоже попадают к тебе извне. Высказывания Шукшина исходят не из системы внеш-

него изучения того или иного вопроса, а из живой ситуации: обсуждается фильм, попалась книжка, пришел корреспондент, прислали письмо или записку... Поэтому статьи Василия Шукшина не содержат легких ответов на вопросы, которые ставит современный человек самому себе. Рецептов тут нет. Юноше, обдумывающему житье, не найти в этих статьях ни назиданий, ни нравоучений, ни прописной морали. В публицистическом наследии Шукшина содержится куда более важный и ценный материал: опыт жизни, прожитой трудно и осмысленной с предельной искренностью. Шукшин — это прежде всего обнаженность боли. Он сказал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной». Он не «осмыслял» проблемы — он перебаливал ими.

Как я понимаю рассказ. Написано в 1964 году для еженедельника «Литературная Россия» и опубликовано там 20 ноября 1964 года.

Вопросы самому себе. Написано в 1966 году для журнала «Сельская молодежь», где и опубликовано в № 11 за 1966 год. Перепечатано в газете «Советская культура» 15 ноября 1966 года.

* *Там (в деревне. — Ред.) нет мещанства.* Это утверждение, вызвавшее в свое время полемику и, безусловно, дискуссионное, характерно для темперамента В. М. Шукшина, втянутого в 1966—1967 годах в критические споры о деревенском и городском героях. Отдавая себе отчет в том, что от «мещанства» как бездуховности ни место жительства, ни профессия не страхуют, Шукшин тем не менее склонен в тот период к полемически крайним формулировкам, которые он постоянно смягчает оговорками («Я нарочно упрощаю» и т. д.).

** *Зритель тоже хочет сам.* В первоначальном варианте статьи это рассуждение о положительном герое было значительно обширнее: «Герой. Герой — это, по-моему, сам художник, его произведение. Бывали в российской жизни самые разные условия для творчества: выгодные, не очень; а бывали на редкость плохие. Но даже при совсем уж «выгодных» обстоятельствах, когда кажется — героями хоть пруд пруди, хватай первого попавшегося и тащи в роман или фильм, только бы они не стеснялись и про свое геройство не молчали — и даже тогда почему-то появлялись плохие книги, фильмы, произведения живописи. И сколько! У одного автора самый расхороший герой, «наблюденный», «увиденный», «подсмотренный» в жизни, начинает вдруг так кривляться, такие шутки начинает выделывать, что хоть святых выноси — смешит, дьявол; у другого — тоже «выхваченный» из жизни — ходит в фильме, как кол проглотил, ходит и учит жить; у третьего — как андаксина наглотался: любит, поет, бегает в березовой роще. В общем — «солнцем полна голова». У четвертого — хоть и в ухо даст, но это ничего, он о-б-я-з-а-н дать в ухо.

Есть герои отрицательные, но тех сразу по походке видно, не о них речь.

Критики сами требуют и подучивают зрителя требовать от художников кино положительного героя типа «Х»... Много образцов предлагается. И пишут и жалуются — не с кого брать пример.

Жалуемся, что иногда плохие фильмы, фильмы-уродцы находят себе массового зрителя. Что делать? Делать фильмы с глубокой мыслью, идейные...» (Архив В. М. Шукшина.)

Монолог на лестнице. Написано в 1967 году для сборника статей «Культура чувств». (М., «Искусство». 1968).

* *«Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными».* Речь идет об обсуждении фильма В. Шукшина «Ваш сын и брат» среди научных работников в Обнинске весной 1966 года. Обостренная реакция В. М. Шукшина на крайние мнения, высказывавшиеся в связи с этим фильмом, видна также из выступления В. М. Шукшина на обсуждении фильма в Союзе кинематографистов СССР 8 апреля 1966 года (неправленая стенограмма): «Тут умнее говорили, чем я могу сказать... О противопоставлении города деревне. И вопрос об интеллигенции. Начнем с того, что я всем обязан интеллигенции, да и нет оснований почему-то видеть в интеллигенции какое-то нехорошее начало нашей современной жизни, к которому надо внимательно присмотреться... Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти? Человека тут же вбирает та подавляющая масса недоделанных «интеллигентов», которая имеется в городе. Это первое, что его хватает, — по себе знаю. Городские жители начинают по образу и подобию своему приготовлять человека, а потом начинают немножко глумиться, что такой фанфарон и дурак вырос... Статей Л. Крячко и В. Орлова я не понимаю (авторы статей обвиняли авторов фильма «Ваш сын и брат» в апологии «дикой, злой «самобытности». — «Литературная газета», 1966, 10 марта. — *Ред.*). Меня начинает мутить от злости, и ничего сделать я не могу. Выходит, что они более высокие, чем... те люди, которые работали над картиной, понимая до конца ее замысел. Ведь никто вслепую не работал. Все понимали, что речь идет о хороших людях... Критики говорят, что тут погоня за самобытностью. За какой самобытностью? Конечно, у деревенского человека есть какая-то робость, растерянность перед такой командой, какая наваливается на него. У этого парня ранено сердце (речь идет о герое фильма. — *Ред.*), когда он получил известие, что мать больна, а он встречает такое равнодушие. А кто они, эти продавцы?.. Они ведь тоже деревенские люди. Они тоже приехали сюда. Тут страшно то, что они научились выполнять самую примитивную работу и возгордились этим, начали презирать то, что оставили там... Если бы так начали думать деревенские — разве это к лицу? Важнее всего, наверное, тот конкретный человек, который нам на сегодняшний отрезок времени интересен. А городской он или сельский — нет этого вопроса. И никогда по-настоящему, наверное, в русском реалистическом искусстве не было такого... не отыскивали здесь знак вражды или признак недовольства друг другом». (Архив В. М. Шукшина.)

Средства литературы и средства кино. Написано в 1967 году. При жизни не печаталось. Опубликовано в журнале «Искусство кино», (1979, № 7) к 50-летию В. М. Шукшина. Печатается по рукописи.

* *«Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он за-*

думал сценарий кинокомедии». Имеется в виду киноповесть Василия Белова «Целуются зори».

** *«...Рассказы, по которым я поставил оба фильма, — лучше. Никто, кроме меня, так не думает. (Разве только критик Генрих Митин)».* Речь идет о фильмах «Живет такой парень» и «Странные люди». Г. Митин писал: «Шукшин, используя материал, хорошо ему знакомый, свободно и как бы играючи создает свою особенную, «шукшинскую жизнь». Особенно это удается ему в рассказах, хуже — в кинофильмах». (Г. Митин. С чем пришел Шукшин. — «Московский комсомолец», 1967, 13 сентября.)

«Нравственность есть Правда». Написано в 1968 году для сборника статей «Искусство нравственное и безнравственное» (М., «Искусство», 1969), где и опубликовано впервые.

* *«Название сценария было под стать содержанию: «Враг мой...» Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок».* Сценарий «Брат мой...» опубликован в журнале «Искусство кино» (1974, № 7). По этому сценарию режиссер В. Виноградов в том же году поставил одноименный фильм.

Вот моя деревня... Написано в январе 1970 года. Озаглавлено составителем по первой строке текста. На титульном листе рукописи два подзаголовка: «Документальная поэма. Литературный сценарий». При жизни не публиковалось. Впервые напечатано в «Комсомольской правде» 17 июня 1979 года.

О творчестве Василия Белова. Написано в 1970 году в качестве предисловия к одной из книг Василия Белова. При жизни В. М. Шукшина не публиковалось. Впервые напечатано в книге: Василий Шукшин. Нравственность есть Правда. М., «Советская Россия», 1979.

Он учил работать. Написано в 1972 году как отклик на смерть Михаила Ромма. Впервые опубликовано в журнале «Искусство кино», (1972, № 2).

Завидую тебе. Написано в 1973 году для газеты «Пионерская правда», опубликовано в газете с незначительными сокращениями 6 марта 1973 года.

Книги выстраивают целые судьбы. Написано весной 1973 года. Впервые опубликовано в «Комсомольской правде» 27 апреля 1973 года под заголовком «Судьбу выстраивает книга...» в виде беседы В. М. Шукшина с корреспондентом газеты Ю. Смелковым. Предварительно Ю. Смелков прислал вопросы, на которые В. М. Шукшин подготовил ответы, частично использованные в беседе. Полностью впервые опубликовано в книге В. Шукшина «Нравственность есть Правда». Озаглавлено составителем по одной из строчек текста.

Слово о «малой родине». Написано в 1973 году для «сибирского» номера журнала «Смена», где и опубликовано впервые с сокращениями (1974, № 2), полностью — в «Литературном обозрении» (1975, № 12).

Заявка в издательство «Молодая гвардия». В заявке В. М. Шукшина речь идет об однотомнике. Впоследствии издательство «Молодая гвардия» приняло решение о выпуске двухтомного собрания произведений В. М. Шукшина; оно вышло в 1975 году, уже после смерти писателя. В качестве эпиграфа к изданию взяты из аннотации В. М. Шукшина слова о русском народе.

Рисунки и автографы В. М. Шукшина, воспроизведенные в этом томе, «сняты с полей» его рабочих тетрадей. Они помогают точнее представить себе работу авторского воображения при создании того или иного произведения, а также свидетельствуют о фантазии и юморе В. М. Шукшина.

Л. Аннинский,
Л. Федосеева-Шукшина

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1972—1974 годов

ПОВЕСТИ

ПУБЛИЦИСТИКА

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 3. Рассказы 1972—1974 годов. Повести. Публицистика / Сост. Л. Федосеева-Шукшина; Коммент. Л. Аннинского, Л. Федосеевой-Шукшиной. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 671 с.

В пер.: 2 р. 60 к. 150 000 экз.

В 3-й том собрания сочинений известного советского писателя, лауреата Ленинской премии Василия Шукшина вошли рассказы, написанные им в последние годы жизни — 1972—1974 гг., повести: «Калина красная», «Точка зрения», «Печки-лавочки», «Энергичные люди», «А поутру они проснулись...», повесть-сказка «До третьих петухов», публицистика.

Ш $\frac{4702010200-313}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985 — ББК 84Р7 Р2

ИБ № 4247

Василий Макарович Шукшин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 3.

Редактор
Г. Кострова

Художники
А. Озеровская, А. Яковлев

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Г. Прохорова

Корректоры
И. Ларина, Т. Крысанова,
В. Авдеева

Сдано в набор 09.01.85. Подписано в печать 18.10.85. А00936. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 35,70. Учетно-изд. л. 38,3. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.). Цена 2 р. 60 к. Заказ 2302.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.





